

ЭРНСТ ЭКШТЕЙН

НЕРОН



Annotation

«Рука, держащая скипетр, не создана для перебирания струн», — так считала мать Нерона, пытавшаяся во всем контролировать будущего императора. Но юноша не слушался. Он любил петь и сочинять стихи, ему больше нравилось прощать преступников, чем их казнить. Что же так изменило душу философа, художника и поэта, толкнув его самого на преступления? Почему все, кто хоть что-то значил для Нерона, вмиг оказались его противниками и заклятыми врагами? Эта книга о противоречивой натуре императора, оставшегося в памяти потомков сентиментальным тираном и поджигателем Рима.

Эрнст Экштейн

Нерон

Часть первая

Глава I

Три солдата римской городской префектуры вели по Кипрской улице пленника. Молодому человеку двадцати трех лет был вынесен смертный приговор: рука палача должна была обезглавить его, а затем закопать на выгоне, где погребали преступников.

Прохожие, встречавшие конвоиров и их жертву, останавливались и смотрели им вслед. Бледное, но, однако, решительное лицо несчастного возбуждало участие к нему даже в легкомысленных римлянах. Казалось, внезапное сострадание овладело этим народом, на глазах которых каждый год тысячи гладиаторов истекали кровью и умирали на арене цирка и который считал лучшей на свете музыкой предсмертные хрипы жертв. Женщины особенно сокрушались о красивом Артемидоре. Правильные, словно высеченные из мрамора черты лица, темные, мечтательные глаза с черными ресницами, благородный лоб и роскошные волосы — все в нем напоминало величавого Нехо, жреца бога Пта, очаровывавшего знатных римлянок как своим прорицательским искусством, так и своей привлекательной наружностью.

Артемидор был также уроженец Востока. Он родился в далеком Дамаске, был куплен в Иерусалиме сенатором Флавием Сцевином и вместе с ним прибыл в семихолмный город. Скоро получив свободу, он служил своему бывшему господину казначеем, чтецом и библиотекарем и сделался уже почти его доверенным во всем, когда внезапно неожиданный переворот разрушил мирное течение его жизни и бросил его во власть ищеек.

Чем ближе становилась плаха, к которой солдаты вели юношу, тем медленнее и тяжелее двигался он, и начальник конвоя должен был не раз обращаться к нему со строгими упреками.

Был чудный октябрьский день. Рим казался плавающим в жидком золоте. Красная листва винограда, с видневшимися из-под нее темными гроздьями, одевала стены садов или вилась вокруг развесистых вязов. Улицы дышали весельем и свежестью. Мужчины, прибодрясь, расправляли плечи, а женские лица сияли особенной красотой и привлекательностью.

Так по крайней мере казалось бедному осужденному, который скоро должен был расстаться с этим прекрасным миром.

Куда девалось его равнодушие к смерти, еще так недавно наполнявшее его сердце, подобно предвкушению лучшего, недоступного человеку бытия?

Взглянув на колеблющиеся от ветерка пурпурные лозы, он вспомнил красивую девушку, стыдливо зардевшуюся, когда однажды он украшал ее таким венком в блаженном уединении тенистого парка, принадлежавшего его господину.

— Хлорис! Хлорис! — со страстной мукой вздохнул он.

Какое несчастье, что образ возлюбленной предстал перед ним как раз в то мгновение, когда он

нуждался в непреодолимой силе духа и презрении к жизни, чтобы показать, с какой радостью и светлой надеждой последователь Сына назарянского плотника идет по стопам своего Спасителя.

Как ни старался он забыть о прошлом, оно вставало перед ним во всем блеске минувшего счастья.

Он увидел Хлорис лишь несколько недель тому назад в доме Кая Кальпурния Пизо, где она играла на девятиструнной гитаре и пела радостную любовную песнь Алкея. Это было ее первое появление в полной опасных соблазнов столице и в то же время ее первый триумф. Все рукоплескали ее мастерской игре и чудному голосу.

Находившийся в свите своего господина, Флавия Сцевина, Артемидор был очарован и с этого мига мысль о ее любви не покидала его.

Но рядом с этой мыслью, у него возникла другая, более возвышенная: спасение ее души! После незабвенного мгновения, когда он впервые поцеловал ее уста, в нем возгорелось страстное желание спасти погибавшую. В глазах верующего юноши она должна была погибнуть, если ему не удастся просветить ее небесной истиной, открытой Иисусом Христом.

И Артемидор с таким же рвением старался овладеть ее душой, с каким он раньше добивался ее сердца.

К сожалению, его усилия были напрасны.

Хлорис знала жизнь только с ее лучшей стороны. Мир представлялся ей душистым увеселительным садом, предназначенным исключительно для счастья и наслаждений. Верная своей природе, гречанка пугалась всего сурового и мрачного; учение Христа, требовавшее воздержания, отречения от земных благ, было недоступно ей, проникнутой лучезарным культом древнегреческих богов. Прекрасная певица пожимала плечами, улыбалась, наконец, объявила Артемидору, что он ей надоел и, после долгого неприятного спора, на все его доводы решительно произнесла с насмешкой: «Никогда!»

После этого «никогда», он в гневе оставил возлюбленную. Гнев его был направлен не на нее, — ведь она неповинна в том, что злой дух так опутал ее безрассудное сердце, — но на коварство старых богов, сохранивших еще такую власть даже над самыми чистыми и благороднейшими из смертных, несмотря на пришествие Спасителя.

Вот что было причиной его осуждения на позорную смерть: обвинение в хуле на государственную религию...

Но, быть может, постигшее его несчастье было наказанием, ниспосланным на него единым истинным Богом? Быть может, Он хотел уничтожить его за упорство в любви к насмешливой Хлорис?

Все эти мысли беспорядочно толпились в его мозгу и, задыхаясь, он боролся с охватившими его чувствами. Он попытался молиться.

— Блаженны гибнущие за учение Христа, — дрожащими губами прошептал он и замолк.

Солнечные лучи золотым потоком заливали дорогу, в лицо ему пахнул благоуханный ветерок и, громче всяких спасительных истин, в замиравшем от страха сердце его раздался вопль:

— Горе твоей цветущей юности!

Сияющая вокруг него теплом и жизнью природа еще сильнее обостряла сознание грядущей участью.

«Умереть так, вдали от нее!.. — беспрерывно проносилось в его пылающей голове. — Вдали от нее, вдали от нее!..»

Да, неумолимое Божество осудило его на величайшую из земных мук — глубокое отчаяние. Если бы

он мог взглянуть в последнюю минуту в глаза возлюбленной, какое это было бы утешение! Но умереть так, — значило умереть еще заживо!

«Вдали от нее! — звучало кругом него. — Вдали от нее!» Колени его подкосились и в глазах потемнело.

— Не шатайся! — сказал начальник конвоя. — Если уж ты должен умереть, то умри как мужчина!

Артемидор взял себя в руки. Слабость его прошла. Он перевел дух и спокойно и твердо пошел дальше.

Конвой свернул влево, по юго-восточному направлению от Кипрской улицы, и здесь их окружила такая густая толпа мужчин и женщин, по большей части бедно одетых, что стражники вынуждены были остановиться на несколько минут.

— Артемидор! — со всех сторон раздались голоса. — Будь тверд, Артемидор! Прощай, Артемидор! Не забывай твоих друзей! Молись за нас перед престолом Всевышнего!

Иные хватали связанные руки юноши и целовали их, другие торжественно затягивали жалобные гимны, в которых имя Иисус произносилось с особенным чувством.

Сквозь толпу протеснился высокий и худой пятидесятилетний человек, широкое, блестящее золотое кольцо которого выдавало его принадлежность к благородному сословию.

— Позволишь ли ты мне, — обратился он к старшему конвойному, — прежде чем свершится судьба, еще раз обнять осужденного?

Солдат нахмурился. Такое множество сочувствующих Артемидору, очевидно, внушило ему некоторое сомнение, и он не осмеливался грубо отказать этому мрачному человеку с величаво и грозно закинутой за плечо тогой.

— Поторопись! — нерешительно отвечал он. — Хотя я сотворен не из камня и железа, но если префект узнает об этом, мне будет худо.

— Никодим! — прошептал Артемидор, в то время как друг целовал его в лоб. — Какая страшная участь!

— Мужайся, сын мой! Будь тверд до конца! Твой поступок, может быть, безрассуден и опрометчив, но он тем не менее благороден. Счастливая юность не знает, что спокойная рассудительность ведет к цели гораздо вернее, нежели гнев и увлечение!

— Ты прав, — отвечал Артемидор. — Вы все смотрели в будущее с такими радостными надеждами, что, быть может, мне, как одному из младших, не подобало это... Но Хлорис, заслуживающая ненависти, возлюбленная Хлорис всему виной с ее ужасным неверием. Я почти лишился рассудка. Все мои убеждения были тщетны! И когда, возвращаясь от нее, я увидел в атриуме отвратительных идолов с их насмешливыми улыбками...

— Молчи! Ты бездумно раздражал римское общество. Здесь никого не оскорбляют за веру. Мы можем и будем тихо и осторожно следовать по пути, ясному для последователей Евангелия. Только без бурь, без насилия! И ты, дорогой Артемидор, был бы участником с таким трудом составленного мной союза. Я не могу утешиться, теряя тебя.

Юноша выпрямился.

— Как? Ты сожалешь обо мне? Но разве это не высшая божественная милость — победоносно умереть за учение Назарянина?

— Твой пример не пройдет бесследно, Артемидор, — успокоительно прошептал Никодим. — Но ты мог бы жить, жить...

Слова Никодима были прерваны внезапным смятением среди народа.

— Император! — раздались тысячи голосов, и все взоры обратились по направлению Porta Querquetulana, откуда медленно приближались роскошные носилки с пурпуровым балдахином. Их несли на шестах из позолоченного кедрового дерева шестеро рослых, белокурых сигамбров в ярко-красных одеждах.

Широкие занавеси были отдернуты. На подушках восседала гордая, величественная женщина — Агриппина, мать императора, а возле нее юноша поразительной красоты, с большими, мечтательными глазами и полным, выразительным ртом.

Начальник конвоя вздрогнул, увидев его. Он знал, как неприятны были императору напоминания о всем том, что шло вразрез с его спокойным, ясным характером и в особенности, как его волновали суды и их жестокие последствия.

«Фаракс, ты попался! — сказал себе солдат. — Если префект узнает об этом, твоей спине придется испробовать лозы центуриона! Конечно, это только случайность, но слуга префекта расплачивается и за капризы судьбы...»

— Император! — вскричал Никодим. — Он пройдет в двух шагах от тебя! Проси помилования, Артемидор!

Толпа раздвинулась. Никодим схватил за руку молодую блондинку, с глубоким состраданием смотревшую на осужденного. Девушка вопросительно взглянула на него. В уме Никодима, должно быть, пронеслась блестящая мысль, потому что лицо его озарилось неожиданной радостью, а почти торжествующее выражение губ, казалось, говорило: «Это удастся!»

Наклонившись к девушке, он быстро прошептал:

— Актэ, ты видишь! Само небо указывает нам путь! Если ты еще сомневалась в том, что план мой приятен Господу Иисусу Христу, то эта чудесная встреча должна убедить тебя. Слушай, чего я требую от тебя! По моему знаку ты выйдешь вперед, бросишься императору в ноги и спасешь отважного Артемидора!

— Я сделаю это! — отвечала Актэ. — Молись, чтобы цезарь внял мне!

— Надеюсь на это, — прошептал Никодим. — Только говори так же горячо и искренно, как ты чувствуешь! Ведь тебе жаль цветущей юности, которую безжалостно погубит топор палача?

Актэ молча вздохнула, пристально и робко смотрела она в пеструю толпу.

«Как она прекрасна и молода! — подумал взволнованный Никодим. — Другой такой нет в целом Риме... Это должно удался, непременно должно!»

— Да здравствует император! — раздавалось все ближе и ближе. К этим крикам теперь присоединились звучные голоса конвойных, римлян и большей части назарян. — Честь и слава императору! Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!

Император сделал знак своим сигамбрам, и носилки остановились. После бури приветственных криков, на которые Нерон отвечал приветливым движением руки, наступило полное безмолвие.

— Вот несчастный! — обратился он к Агриппине. — Позволишь ли, дорогая мать, спросить у солдат, какое его преступление?

— Делай, как желаешь, — отвечала императрица. — Властителю мира несомненно подобает вникать даже в мелочи, встречающиеся на его пути.

— Мелочи? — усмехнулся Нерон, смотря в глаза матери. — Человек в цепях; на его лице отразились страдание и отчаяние... Нет, дорогая мать, ты говоришь так не от сердца! Неужели достоинство императора требует такого же невнимания к несчастью его подданных, какое можно оказать участи вот этой розы, падающей из твоих прекрасных волос?

И изящным жестом он поправил цветок, выскользнувший из-под блестящей диадемы, которая удерживала огненно-красное покрывало Агриппины.

— Кого ведете вы и в чем провинился он? — благосклонно продолжал Нерон, обращаясь к начальнику конвоя.

— Повелитель, — ответил солдат, — это отпущенник Флавия Сцевина.

— Как? Нашего друга, вечно юного сенатора?

— Его самого.

Нерон пристально посмотрел на юношу, стоявшего с опущенными глазами.

— В самом деле, я узнаю его... Это Артемидор, который однажды в парке развертывал перед нами рукописи Энния... Флавий Сцевин так расхваливал тебя, твои качества и ум. А теперь я не понимаю!

— Повелитель, — снова заговорил солдат, — он осужден законом. Один из рабов застал его поносящим домашних богов и затем свергнувшим их с цоколей.

— Артемидор, — обратился Нерон к юноше, — правда это?

Осужденный поднял свое прекрасное, бледное лицо с лучезарным взглядом.

— Да, повелитель, — твердо отвечал он.

— Знал ли ты, — со спокойной строгостью продолжал император, — что оскорбление домашней святыни наказуется смертью?

— Смертью, в смысле закона — да!

— Что же побудило тебя презреть этот закон?

— Любовь к истине.

— Каким образом?

— Ваши лары и пенаты ложные божества, я же верую в истинного Бога, о котором учил Иисус Христос.

— Ты назарянин?

— Да, повелитель!

— Это было известно твоему высокому покровителю Флавию Сцевину?

— Да, повелитель!

— Он преследовал тебя за это?

— Нет, повелитель.

— Так веруй во что ты хочешь и предоставь другим веровать, во что они хотят. Согласен ты со справедливостью этого требования?

— Иисус Христос завещал нам распространять спасительное Учение и бороться против ложных богов.

— Пусть так! Борись — но только духом! Можно ли убеждать поднятыми кулаками? И разве брань — философский аргумент? Поистине, ты заслужил твое наказание, Артемидор...

Лицо старшего конвойного выразило огорчение. Он был почти уверен, что Клавдий Нерон своей императорской властью отменит исполнение приговора. В этом случае, лоза центуриона, естественно, должна была спокойно оставаться в шкафу. Вместо этого, против всякого ожидания, цезарь одобрял и находил заслуженной казнь, казавшуюся варварской и устарелой даже самому Фараксу и его товарищам! Дело принимало неприятный оборот.

Между тем, повинуясь знаку Никодима, из толпы стремительно выбежала Актэ и упала на колени перед носилками императора. С невыразимой грацией подняв цветущее личико к властителю мира, она воскликнула, вложив в свою мольбу все чары женского обаяния:

— Помилования, повелитель! Помилования моему брату!

Молодой император с изумлением и удовольствием смотрел на стройную фигуру девушки, устремившей на него страстно молящий взгляд. Сама императрица-мать не могла подавить мимолетного сочувствия к ней, и на суровом, гордом лице ее мелькнула мягкая улыбка.

— Я так и думал, — сказал тронутый император. — Тот, у кого есть такая прелестная сестра, может поступать дурно вследствие необдуманности или заблуждения, но не может быть дурным человеком.

Он забылся на несколько мгновений, наслаждаясь ее красотой, а потом, схватив руку Агриппины, заговорил с пафосом театрального актера:

— Третьего дня был день твоего рождения! Я обыскал всех ювелиров среди двух миллионов населения этого города, чтобы создать нечто, достойное тебя! Но нашел одну лишь эту жалкую диадему. Драгоценная сама по себе, она все-таки давит твою божественную голову подобно обручу из коринфского металла. Теперь судьба посылает мне высший дар! Во славу твоего дорогого имени, возлюбленная мать, я пользуюсь своим правом освобождения и прощения.

Он приказал конвойным подвести осужденного к носилкам, между тем как Актэ удалилась, бросив на императора горящий, полный признательности взгляд.

— Ты слышал, — произнес Нерон, — я дарю тебе помилование! Отведите его обратно в дом Флавия Сцевина и передайте о происшедшем моему превосходному другу! Скажите, что я прошу его посадить преступника в заключение на восемь дней. Тебе же, юноша, советую быть благоразумнее и осторожнее! Повторяю: если римские боги кажутся тебе призраками, то поклоняйся Изиде или Гору, или кому знаешь, но обуздай твой невоздержный язык и не оскорбляй чувств квиритов!

Губы юноши дрогнули, будто, несмотря на милость императора, он все-таки хотел возражать ему, но сдержавшись, он скрестил на груди руки и едва слышно произнес:

— Благодарю, повелитель.

Солдаты префекта с обрадованным Фараксом во главе, тотчас сняли с него цепи. С этой минуты с ним начали обращаться вежливо и почтительно, и Фаракс поздравил его крепким рукопожатием.

В доме Флавия Сцевина освобожденный встретил восторженный прием: весть о милости к нему императора еще раньше долетела сюда. Сцевин лично принял его в остиуме. Раб же, с такой поспешностью донесший о неосторожном поступке Артемидора, уже за несколько дней перед тем был подарен кому-то впавшим в глубокое огорчение сенатором.

Глава II

Императорские носилки двинулись дальше среди восторженных криков толпы.

Нерон и Агриппина возвращались из дома Афрания Бурра, начальника преторианской гвардии, некоторое время страдавшего лихорадкой. По отзыву врача, болезнь была не опасна, но влиятельному префекту гвардии следовало оказывать особенное внимание.

Когда носилки и их военная свита покинули Кипрскую улицу, мысли императрицы снова обратились к больному Бурру.

Ее мучило тайное недовольство: чем более она убеждалась в народной любви к некогда обожаемому ею сыну, тем сильнее пробуждалась в ней ревность к столь опасному сопернику. Она старалась освободиться от гнета опасений, думая лишь о том, что могло бы вернуть ей обычную самоуверенность. Начальник гвардии Бурр и бывший воспитатель Нерона Сенека до сих пор с непоколебимой верностью поддерживали ее, когда дело шло о руководстве молодым императором, о ведении государственных дел в ее духе и о внушении ее сыну, что она, Агриппина, есть первое лицо империи, он же, — только второстепенное, на основании естественного закона сыновнего долга.

И если, таким образом, Бурр был ее мечом, а Люций Анней Сенека — щитом, то к чему ей тревожиться из-за ропота или одобрения народа? Что ей за дело до темных, тайных слухов, которые, — она чувствовала это так же, как чувствуют взор враждебного наблюдателя, — повсюду переходили из уст в уста? Лучшего префекта, чем Бурр, она не могла желать: он восторгался ее красотой, был признателен за каждую милостивую улыбку, ибо более всего был поглощен сознанием своего долга и заботами о общем благе. При этом, он понимал, что опытная, способная женщина принесет государству больше пользы, чем едва созревший, мечтательный юноша...

— О чем ты задумалась, мать? — спросил император по-гречески. — Ты не примечаешь поклонов сенаторов...

— В самом деле? Я не видала никого...

— Нам встретился Тразея Пэт со многими клиентами. Я кивнул ему; ты же не только не ответила на его привет, но даже как бы намеренно скрылась за занавеской.

— Тебе так показалось, — возразила Агриппина. — Хотя та рассеянность простительна матерям, непрерывно занятым благом своих сыновей. Я думала о твоей будущности и, сказать правду, она сильно заботит меня.

— Заботит? Почему? Разве у ног моих не лежит цветущий мир? Разве я не цезарь? Да, клянусь этим ясным небом, я могу разлить счастье до самых отдаленных стран, до тех пределов, где в море еще белеет римский парус! Народ мой любит меня! И сейчас, слышала ты, как из тысячи уст, подобно горному потоку, вырвался оглушительный благодарственный клик? «Да здравствует император!.. Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!» О, мать, для меня эти клики звучат подобно праздничной песни бессмертных богов!

Агриппина, вспыхнув, медленно покачала величественной головой.

— Тем не менее я озабочена, мой мальчик. Ты кажешься мне слишком мягким, слишком уступчивым для ужасной обязанности цезаря. Твой невинный взор не примечает страшного коварства, таящегося кругом в закоулках отвратительной зависти. Ты должен с ранних лет править с подобающей суровостью. Хороша народная любовь, но страх народный еще лучше и вернее. В этом, как и в других важных вопросах,

доверься моей искушенности! Допусти меня действовать, когда я нахожу это благоразумным! Думаешь ли ты, что так почтительно преклоняющиеся перед твоим величием сенаторы действительно проникнуты им? О, как мало знаешь ты римских аристократов! Они думают: Нерон — цезарь только по нашей милости! И если они замыслил мятеж и тому представится случай, они свергнут тебя так же, как перед тобой свергли Клавдия!

— Клавдия? — с изумлением повторил император.

— Да, твоего отчима, моего высокого супруга. Его отравили члены верховного совета.

— Сенека рассказывал мне другое, — возразил Нерон.

Агриппина побледнела, но внешне сохраняя спокойствие, спросила:

— Это любопытно. Тогда, как тебе известно, сенат воспретил всякое расследование, и одно это...

— Расследование было бы бесполезно, так как отравителя нельзя было обличить. Неужели ты в самом деле не догадываешься?..

Императрица затрепетала.

— Нисколько не догадываюсь, — отвечала она, закрывая глаза.

— Так тебя щадили, — продолжал Нерон. — Преступление совершено личным врагом Клавдия, отпущенником Евтропием.

— Это мне известно, — прошептала Агриппина, — но я полагала, что он был лишь орудием гораздо более высоких лиц.

— Нет! Император Клавдий пригрозил привлечь его к ответственности за многочисленные кражи и преступник поспешил предупредить своего судью. Он исчез бесследно раньше, чем его могли схватить. Но оставим этот грустный предмет. Припоминая предостережения Сенеки, я вижу, что вовсе не должен был касаться его.

Он задернул занавеску, как бы желая защитить чувствительную страдальницу от слишком яркого света. Потом, нежно положив голову на плечо матери, глубоко вздохнул и внезапно спросил ее:

— Как понравилась тебе белокурая девушка, просившая помилования отпущеннику Флавия Сцевина?

— Я не обратила на нее внимания.

— По-моему, она очаровательна! Это детски невинное лицо, эти чудные глаза! Она немного напомнила мне статуэтку Психеи в Акеронии, но в тысячу раз красивее и живее!

— Твои слова звучат вдохновенно. К сожалению, этот тон удастся тебе только там, где он не совсем уместен. Если бы ты хоть на половину восхищался так Октавией!

— Мать, я всегда был тебе покорным сыном, и теперь я послушаюсь тебя, тем более, что и покойный супруг твой желал этого союза...

— Послушаюсь! Точно это наказание — жениться на знатнейшей и прелестнейшей девушке столицы!

— Для других, быть может, это было бы неизмеримое счастье, — сдержанно произнес император. — Я не оспариваю ее достоинств, но не умею оценить их. Октавия слишком совершенна для меня.

— Неужели ты уже дошел до этого своим умом? Тебе, конечно, нравилась бы больше цветочница из Аргилета или порхающий мотылек вроде арфистки Хлорис, которой недавно вы расточали такие преувеличенные похвалы? Вас всегда тянет туда, где не обойтись без грязи, как утверждает Энный.

— Не будем ссориться, дорогая мать! Я женюсь на Октавии, буду уважать ее и обращаться с ней

сообразно ее положению. Но любить ее меня не могут принудить сами бессмертные боги. Эрос не является по приказанию: он приходит без зова и часто как раз туда, откуда рассудок должен был бы изгнать его. Для него добродетель и высокие качества не имеют значения. Рабыням случалось возбуждать большую страсть, чем принцессам и, как уверяет Сенека, высшее право при этом всегда принадлежит рабыне.

— Пустяки!

— Не пустяки, позволь тебе сказать! В этом случае рабыня представляет собой выражение воли природы; природа же правдивее и искреннее человеческих условностей.

— Так Сенека и этому учит тебя? — с досадливым смехом спросила Агриппина. — Прекрасно! Кажется, своей блестящей теорией он совершенно разбивает мой практический опыт.

— Ты несправедлива к нему. Подобные размышления лишь при случае он присоединяет к разъяснению трагедий. Но нет ни малейшего повода сердиться. Мое сердце свободно. Благодаря моему превосходному воспитателю, я научился воздержанию. Разгул друзей всегда служил мне лишь предметом наблюдений. Я никогда не любил и даже сомневаюсь, способен ли к любви. Тем не менее повторяю тебе, что я отнесусь к нашей Октавии со всей нежностью, на которую имеет право супруга императора. Довольна ли ты, мать?

— Не совсем. Меня огорчает это равнодушие. Октавия создана для тебя. Ее ясное, неподкупное суждение будет большой подмогой мечтателю, ежечасно рискующему забыть в философских размышлениях или в водовороте художественной фантазии. Тебе известен мой образ мыслей. Стоя — прекрасная школа, но она не должна истощать наши силы. Искусство имеет пленительную прелесть, но цезарь не должен превращаться в художника. Мечтай, но не забывай жизни! Строй театры, покровительствуй модным поэтам, бросай деньги, как овес, под ноги певцов и музыкантов, но сам не сочиняй и не декламируй! Не пой, подобно изнеженной девчонке! Предоставь струны певцам! Рука, держащая скипетр, не создана для перебирания струн. Вот мой взгляд на предмет, и Октавия будет влиять на тебя именно в этом направлении.

Нерон улыбнулся.

— Ты мне совершенно напомнила те дни, когда еще драла меня за уши после моих шалостей в Субуре с сыновьями пекарей и харчевников!

— Уж не хочешь ли ты запретить мне порицать выращенного мной сына? — с раздражением спросила Агриппина. — Кто сделал тебя тем, что ты есть? Моя всемогущая рука возвела тебя на престол. Пока ты признаешь это, твой добрый гений будет охранять тебя. Но попробуй возмутиться, и я сомневаюсь, чтобы у тебя хватило силы удержаться на такой головокружительной высоте.

— Ты волнуешься совершенно напрасно. Возмутиться? Ты первая произнесла это отвратительное слово. Я прекрасно знаю, что никого, даже цезаря не бесчестит повиновение советам матери. Одного только мне хотелось бы, так как мы уже заговорили об этом, чтобы ты несколько смягчила и умерила форму этих советов. Вряд ли ты могла бы желать, чтобы кто-нибудь имел право посмеяться над чересчур детской покорностью Нерона.

— Я не знаю, какой повод имеешь ты... — начала императрица с гневом.

— Так, так, мать! Но я вижу, тебе тяжел наш разговор. Прекратим его. Напрасно я упомянул об этом. С течением времени все сгладится само собой.

— Но ведь ты видишь, — живо возразила она, — как я далека от личного честолюбия! Иначе, разве я так хлопотала бы о твоей женитьбе? Брак этот, естественно, уменьшит мое влияние. Октавии, как

императрице, принадлежит значительная роль, которая...

— Могу себе представить, — усмехнулся Нерон. — Она взором Аргуса будет наблюдать за тем, чтобы никогда и нигде не была пропущена ни одна церемония, несмотря на всю ее нелепость в моем понимании. Она будет требовать, чтобы я каждое утро молился обожаемому Ромулу, чтобы повесил себе на шею амулет с изображением волчицы и голодных близнецов и чтобы я помогал ей верить, когда в каждом событии она будет видеть непосредственное участие Юпитера и его нежной Юноны.

— А если бы она и делала все это, что тут худого?

— Худого? — повторил император. — Ну, я не знаю, что ты думаешь о божественной истории наших предков. Ты никогда не рассказывала мне о них, Даже когда я был еще мальчиком. Полагаю поэтому, что наши взгляды одинаковы.

— А именно?

— Я не верю народным сказкам.

— Да? А чему же ты веришь?

— Разве это можно сказать сразу? Вместе с Сенекой я верю в существование могучей первобытной силы, скрытого, всеобъемлющего и всепроницающего духа. Дух этот живет и в нас; его воля и его чувства — суть наша воля и наши чувства! Но богов таких, каким поклоняется народ, я считаю вымыслом, необходимым для того, чтобы служить основой разрушающейся нравственности нашего общества.

Агриппина долго молчала.

— Знаешь, сын мой, — сказала она наконец, — ты находишься на самом верном пути к государственному преступлению, в точно таком же роде, как преступление только что помилованного тобой Артемидора.

Нерон улыбнулся.

— Ты имеешь слишком низкое мнение о моей сметливости. Я умею отделять императора от частного лица. Перед сенатом, конечно, я остерегусь легкомысленно выражать мои философские убеждения. Там я буду говорить о многолюбимой Минерве не хуже глупейшего из глупцов. Но это нисколько не помешает мне находить скучным, если и дома, как муж, я вынужден буду продолжать ту же комедию, и если даже в спальне со мной будет жрица, верящая в вола Европы! Чудесный бог был этот эллинско-римский Зевс, переплывший море с дочерью царя Агенора для того, чтобы произвести на критских лугах Миноса и Радаманта!

Агриппина пожала плечами.

— Верить в Юпитера, как в царя вселенной, и принимать за чистую монету фантазии греческого народного поэта — две разные вещи.

— Истинно верующий верует и в фантазии, — возразил Нерон. — Если бы было иначе, то художественные изображения таких глупых эпизодов считались бы оскорблением божества.

— Боюсь, ты сам стараешься во многом убедить себя, — заметила императрица. — Но впрочем, я благодарю тебя за откровенность. Увы! К чему отрицать? Я вижу, ты сын своей матери. Ты угадал, что боги и мне вполне чужды. Я верю только в один Рок, предначертавший наш жизненный путь с начала до конца. Кроме того, я верю еще и в то, что некоторым избранныкам дается сила украшать этот путь цветами там, где простые смертные находят одно лишь терние. Я верю в силу духа, иногда принуждающего Рок к уступкам. Для этого необходимы ясность и спокойствие ума, умение пользоваться всеми преимуществами и постоянство в преследовании цели. Все эти качества у тебя только в зачатке. Октавия же скоро разовьет

их.

— Октавия? Тихая Октавия?

— Она тиха только в твоём присутствии. Самая заурядная девушка и та догадалась бы, что ты не разделяешь её чувств. Она любит тебя всем сердцем, ты же, несмотря на дружелюбие к ней, ещё ни разу не говорил с ней голосом любви. От этого, сын мой, она чувствует себя стесненной, почти уничтоженной. Если бы не боязнь возбудить общее внимание и не надежда победить наконец твоё равнодушие, она давно порвала бы все.

— Это было бы самое лучшее! — задумчиво прошептал Нерон.

— Это было бы твоей гибелью! — вскричала возмущенная Агриппина. — Признаюсь, что мне давно уже до муки смертной наскучила твоя ледяная холодность к Октавии. Я требую, чтобы ты переменялся. И так как тебе не удастся роль жениха, то я позабочусь поскорее соединить вас. Быть может, она больше понравится тебе, когда ты будешь обладать ею и вполне узнаешь её.

— Мать! Ведь мне дан был ещё год сроку.

— Это слишком долго!

— Но ты дала слово.

— Я беру его назад. Пожалуй, эту зиму ещё ты можешь философствовать и сочинять греческие трагедии. Но как только запахнет весной...

— Тогда придет конец моей весне! — вздохнул император. — Ну, мы ещё поговорим об этом!

Носилки остановились перед дворцом.

Сильно расстроенная, императрица-мать отправилась в свои покои. Нерон же тотчас забыл неприятный разговор. В колоннаде приветствовал его Сенека и пригласил прогуляться с ним до обеда. Под высокими деревьями палатинских садов мудрый учитель рассказывал своему любознательному ученику чудесные истории о новом духовном, пока ещё тайном и неприметном движении, под именем назарянства распространявшемся с востока на запад, и представлявшем в основах своего учения многие неожиданные точки соприкосновения с римской философией; вследствие чего оно несомненно заслуживало изучения такими свободными от предрассудков людьми, какими были Нерон и Сенека.

Глава III

Прошла неделя.

В Палатинском дворце только что окончился завтрак.

Агриппина сидела на цветастом диване под деревьями и беседовала с небольшой кучкой избранных, среди которых, по обыкновению, первенствовал государственный министр и философ Люций Анней Сенека, блиставший умом и остроумием. Возле него стоял начальник гвардии Бурр, впервые после выздоровления явившийся во дворец и наслаждавшийся лицемерием императрицы, подобно тому, как служитель Митры наслаждается сиянием солнца. Тут же находился и племянник Сенеки, юный поэт Лукан, язвительные эпиграммы которого на римских аристократов послужили ему у императрицы лучшей рекомендацией, чем самые усердные похвалы дяди.

Пока Агриппина, окруженная своим двором, очаровывала тех, кто не находил эту вполне расцветшую, гордую женщину чересчур повелительной и мужественной, Нерон, позабыв серьезные увещевания своего ученого воспитателя, потихоньку исчез.

В молодом императоре, противореча утонченно воспитанному и проникнутому ученостью Нерону, пробуждался иногда и другой, менее выпяченный человек, который, под влиянием веселого поверенного, Софония Тигеллина, по временам брал верх над первым и делал робкие попытки практического ознакомления с жизнью и ее разнообразными наслаждениями. Софоний Тигеллин из Агригента сделался известен императору в Circus Maximus, как обладатель лучших, всегда побеждавших рысистых лошадей. Нерон пригласил его в императорский пульвинарий, поздравил, и был так восхищен пленительной любезностью блестящего наездника, что между ними скоро завязалась искренняя дружба. Так как Тигеллин прежде уже занимал место сверхштатного военного трибуна, то Нерон сделал его офицером преторианской гвардии и назначил состоять при своей особе. Сенека хотел было воспротивиться этому, потому что тридцатилетний Тигеллин слыл самым отчаянным покорителем сердец во всей столице, да и вообще внушал к себе очень мало доверия. Но Нерон так напирал на его светские и артистические таланты, что Сенека уступил и только решил с удвоенной бдительностью присматривать за императором.

Софоний Тигеллин впервые пробудил в Нероне склонность к приключениям и, благодаря своей неистощимой изобретательности сумел заставить его перейти от желания к действиям. Императора разбирало иногда страстное желание затеряться в толпе, не будучи узнанным, делать занятные наблюдения, подмечать различные сцены и случаи и отыскивать настоящее, неиспорченное человечество. Сначала выходки императора были крайне невинного свойства, и Софоний Тигеллин опасался слишком откровенно играть роль соблазнителя. Он дорого заплатил бы за это, если бы какие-нибудь слухи дошли до Сенеки. Но он твердо надеялся, что со временем все устроится само собой. То, что теперь казалось почти мальчишеством и ребячеством, должно было, несмотря на предостережения Сенеки, постепенно переродиться в безумную жажду удовольствий и наслаждений, а тогда Софоний Тигеллин становился господином положения. Стоя, вытесненная учением жизнерадостного Эпикура; философская мудрость Сенеки, превратившаяся в тяжкое бремя; он, Тигеллин, приветствуемый как желанный избавитель из этого моря принуждения и скуки: вот план, после осуществления которого до высшей власти оставался только один шаг!

Само собой разумеется, что лукавый агригентец держал про себя все свои соображения. Он притворялся слугой юношеских желаний императора, он, Тигеллин, вкусивший всего и еще мальчиком предававшийся необузданному разгулу! Нерон не понимал разницы между ходом своего развития и развитием агригента, и верил ему. Он считал избалованного, чувственного кутилу таким же свежим,

каким был сам. Он позабыл ту безотрадную жизнь, что он вел после смерти своего отца Домиция Аэнобарба до тех пор, пока второй брак Агриппины, на этот раз — с самим императором Клавдием, не сделал его известным всему Вечному Городу. Кроме того, артистической натуре Нерона казалось вполне естественным влечение взора к картине, ума к мысли, а пламенному воображению к приключениям.

Солнце стояло еще высоко над пологой горой Яникула, когда Нерон и Тигеллин, окутанные легкими плащами, вступили на многолюдное Марсово поле.

Десять германцев из гвардии, для избежания всякого подозрения взятые из Палатинума, уже сидели в одной из больших таверн близ Капитолия и пили за здоровье императора и его веселого поверенного красное сигнинское вино.

День был чудный. Складчатое покрывало, накинутое на головы Нерона и Тигеллина, как бы для защиты от солнечных лучей, скрывало их от прохожих, хотя в Риме, где каждый знатный гражданин выходил на улицу не иначе как с более или менее многочисленной свитой, ни одна душа не заподозрила бы в двух одиноких пешеходах таких высоких особ.

Император полной грудью вдыхал теплый, но при этом освежающий воздух. Над гигантскими деревьями, уже покрытыми осенними красками, сияло темно-голубое небо. Ухоженные дерновые лужайки блестели зеленью. Мраморные статуи, бесчисленные роскошные лавки, колоннады и памятники казались залитыми необычайно ясным светом. По главной аллее двигался нескончаемый ряд носилок и пешеходов. Справа и слева, по проезжим путям неслись горячие кони из Каппадокии, узкокопытные скакуны из равнины Гиспалиса и храпящие пони. Кругом на хитро переплетенных дорожках, между лавровыми и миртовыми изгородями, теснилась пестрая толпа всевозможных сословий: тут были сенаторы в тогах с пурпуровой оторочкой, окруженные многочисленными клиентами и друзьями; знатные малоазийцы в вышитых золотом химатионах; черноволосые персы в высоких тиарах и искусно расшитых шальварах; цветущие гречанки в желтых диплоидионах; эфиопы и галлы, свободные и рабы, сборщики податей и щеголи, педагоги с их питомцами, торговцы горохом и украшениями, одинаково крикливо предлагавшие свои товары, предсказатели, матросы, солдаты городской когорты и инвалиды.

— Сознаешь ли ты, дорогой цезарь, — начал Тигеллин, — все благоразумие моего совета — жить, следуя влечениям твоего духа, предоставив тяжелые государственные дела этой превосходной чете Диоскуров, Сенеке и Афранию Бурру? Ты молод, цезарь! Ты должен сначала изучить многоголовое человечество, которым будешь управлять во всех его бесчисленных формах!

— Ты прав, Тигеллин, — отвечал император. — В самом деле, что стал бы я делать без Бурра и Сенеки? А главное: что стал бы я делать без тебя? Клянусь Геркулесом, тебе удастся хоть на несколько часов освободить меня из-под ярма моих императорских обязанностей. Я — цезарь, но прежде всего я — человек и повторяю с поэтом: для всего человеческого во мне бьется пламенное сердце!

Они достигли сверкающего мрамором пространства, где помещалась постоянная ярмарка. Всевозможные лавки и панорамы манили народ во все стороны. Площадки для метания дисков и игры в мяч сменялись харчевнями, кабачками с душистыми горами плодов. Дальше, на берегу Тибра, возвышались деревянные помосты, с которых пловцы, побившись об заклад, бросались в подернутую рябью реку. Повсюду разбросаны были тенистые деревья, высокие кустарники, яркие цветочные клумбы и статуи богов.

Цезарь и его спутник остановились перед полотняной, переплетенной серебряными шнурами палаткой египетского кудесника.

Кир — так, судя по надписи на верху палатки, звали кудесника, — только что прибыл из Александрии и уже сделался центром народного интереса.

Небрежно прислонившись ко входу, сидел длиннородый человек, с равнодушной усмешкой смотря на массу толпившегося вокруг него народа.

Вдруг, точно озаренный внезапной мыслью, он поставил шести- или семилетнего ребенка на так называемый магический треножник, покрыл его большой, в рост человека, остроконечной персидской шапкой из бумаги, дотронулся до разукрашенной разными изображениями поверхности шапки своим жезлом из слоновой кости и затем приподнял ее.

К неопisanному изумлению зрителей, ребенок бесследно исчез.

Затем египтянин вошел в палатку, куда двое курчавых эфиопских рабов, со смешными кривляньями внесли вслед за ним треножник с бумажной шапкой.

Народ громко выражал свое одобрение. Нерон также с большим воодушевлением хлопал в ладоши.

— Славный фокус, — тихо сказал он Тигеллину. — Благовоспитанному светскому человеку удивление неприлично; но спрашиваю тебя: имеешь ли ты хоть малейшее понятие, каким образом он делает это чудо?

Тигеллин пожал плечами.

— Если земля не состоит в союзе с этим египтянином, — отвечал он, — и если она втихомолку не раскрывает свои недра, чтобы поглотить ребенка, как некогда отважного Курция, — то я не могу найти объяснения.

На сколоченный помост вышел глашатай в желтой и красной одежде и три раза громко протрубил в свою звучную трубу.

Затем он пригласил благородных квиритов и квиритянок не медлить.

— Три сестерция! — оглушительно кричал он. — С вас берут по три сестерция для того, чтобы на целые полтора часа превратить вас в богов. Кир, мой увенчанный славой повелитель, звезда Востока, знаменитость Вавилона, Сузы и Александрии, друг азиатских царей, любимец всех народов от востока до запада приветствует вас и желает знать, предлагал ли вам кто-нибудь что-нибудь подобное за три сестерция? «Нет! — ответите вы. — Это возможно только для несравненного Кира!» Поэтому, опустите руку в складки вашей туники и добудьте жетон из слоновой кости, дающий вам право в течении полутора часов дышать воздухом Олимпа! Когда вторично зазвучит моя труба, бессмертный Кир начнет представление.

Пестрыми группами устремились зрители направо к столам, где трое рослых фризов, также в фантастических костюмах, продавали жетоны из слоновой кости. Нерон и Тигеллин последовали примеру толпы.

Давка была такая, что император скоро был оттеснен от Тигеллина.

— Друг, — по-гречески закричал Нерон через головы спешивших к столу молодых девушек, — если мы разойдемся во время представления, то по окончании встретимся около клена Агриппы.

— Хорошо! — кивнул Тигеллин.

Палатка египтянина была необыкновенно вместительна. Сквозь продольное отверстие сверху в ширину триклиниума сильный свет падал на великолепно убранное помещение. Пол устлан был дроковыми циновками. С перевитых серебром шнуров спускались ковры, которые издалека можно было принять за сирийские. Посредине возвышения, отделенного от публики бронзовыми цепями, стоял большой алтарь. Висевший позади него тяжелый занавес из тарентинской голубой шерсти медленно приподнялся, и из-за широких складок торжественно показался маг, между тем как снаружи снова затрубил глашатай.

Нерон — теперь уже намеренно — все дальше отходил от Тигеллина. Он встал впереди, довольно близко к бронзовым цепям и с ожиданием смотрел в блестящие глаза гордого египтянина.

Первое, что маг показал своей публике, был фокус, уже прославившийся в Александрии и называемый «Черная Эвридика». Он дал это имя из известного греческого предания черной голубице, которую он убивал и снова возвращал к жизни.

Пока он на глазах толпы разрывал на части испуганно бившуюся птицу, около императора раздалось тихое восклицание.

Он обернулся.

Позади него стояла та самая белокурая красавица, которая просила его за Артемидора. Странно взволнованному юноше показалось, что он только сейчас увидел всю прелесть этого розового личика. Чудные, полуоткрытые губы, за которыми соблазнительно блестели белые зубки, дышали невинностью, страстью и вместе с тем радостью; выражение изумления и жалость смешивались в ее прелестных детских чертах.

А ее голос!..

В ушах Нерона еще звучало ее восклицание, и им овладело страстное желание заставить ее говорить, несмотря на все чудеса Египта и Вавилона. Тихонько и незаметно подался он назад. Место его было тотчас же занято другим. Он стоял теперь рядом с девушкой и с трепетом прошептал:

— Ты меня знаешь?

— Да, повелитель! — так же тихо отвечала она.

— Не выдавай же меня!

— Как повелишь.

— Ты одна?

Мгновение она колебалась.

— Одна, повелитель, — робко шепнула она.

— Как тебя зовут? — спросил цезарь.

— Мое имя Актэ.

— Родители твои живы? К какому сословию принадлежишь ты?

— Мои родители умерли. Отец был уроженец Медиолана, мать была гречанка. Оба были несвободные по рождению.

— Невозможно! Ты — рабыня?

— Отпущенница Никодима...

— Того, что иногда занимается философией с Сенекой?

— Того самого.

Среди зрителей раздался оглушительный шум.

— Отлично! Превосходно! — ликовала воодушевленная толпа. — Да здравствует Кир, любимец богов!

Удивительный фокус «Эвридика» окончился, но Нерон не видел его. Он стоял неподвижно, как очарованный, в немом созерцании поразительной красоты девушки. Какая из всех знатных римлянок

могла сравниться с ней? Ни одна, ни даже сама Пoppея Сабина, молодая жена Ото, по которой весь Рим сходил с ума! А Октавия, будущая императрица! Да, с точки зрения греческого скульптора, Октавия была, быть может, совершеннее, она обладала царственной размеренностью движений, но как холодно, напыщенно и безжизненно было все это в сравнении с распускающейся, благоухающей красотой этой рабыни по рождению!

— Невозможно! — повторил цезарь. — Как называешь ты себя, Актэ?

— Отпущенницей.

— Богиня, — прошептал Нерон, страстно сжимая ее руку. — Дитя, ты не знаешь, как ты бессмертно хороша!

— Повелитель, ты смущаешь меня... Я знаю, что сильные мира любят издеваться над бедными и беззащитными. Но я не могу и не смею думать, чтобы ты, благородный освободитель Артемидора, хотел насмеяться надо мной...

— Насмеяться над тобой? Я хотел бы на руках понести тебя, как сестру. Я завидую Артемидору, как мертвый живущему! Если тебе угодно, милое создание, отойдем отсюда в сторону. Там, у входа, на нас не будут смотреть, а мне нужно так много сказать тебе!

Она молча последовала за ним.

— Право, эта мысль не покидает меня, — душевно продолжал он. — Артемидор! Если бы можно было поменяться с ним!

— Я все-таки думаю, что ты смеешься надо мной! Ты, всемогущий повелитель, и Артемидор! Какая непреодолимая бездна!

— Конечно, но только счастье на его стороне! Артемидор имеет чудное право целовать твой лоб, заключать тебя в объятия... Как доволен и счастлив должен он быть, когда твои розовые уста прикасаются к его губам!

— Я не целуюсь с Артемидором, — твердо сказала девушка.

— Как? Не целуешь брата?

— Он не брат мне, с твоего позволения. Клавдий Нерон упустил из вида, что Артемидор уроженец далекого Дамаска, а отец Актэ — италиец.

— Но ты просила помилования брату...

— Да, повелитель — в смысле назарянского учения. По этому учению, все люди — мои братья.

— Так ты схитрила со мной!

— Право, нет! Спроси одного из наших, обманываю ли я тебя! Мы, назаряне, и в ежедневных сношениях называем друг друга братьями и сестрами, так как мы не признаем никаких различий, в глазах народа разделяющих нас. Мы даем это имя одинаково рабу и благородному, ибо мы все люди по рождению, рабами же, благородными и сенаторами делает нас или случай, или же насилие и несправедливость прежних поколений...

Цезарь блестящими глазами смотрел в ее прелестное лицо.

— Девушка, — произнес он, одурманенный ее обворожительной женственностью, — ты весенний цветок, а говоришь с мудростью пифагорейца. То, что ты сказала, не больше и не меньше, как самая суть философии, внушенной мне Сенекой. Ты глубоко пристыжаешь меня. Я считаю себя со своими воззрениями стоящим выше избраннейших, и вдруг нахожу едва расцветающую девушку, чувствующую то

же самое, что и я, но выражающую эти чувства яснее и совершеннее, чем мой уважаемый учитель! Или это все сон? Или Платон с Сократом и Зеноном слились воедино, чтобы снова воплотиться в этом юном существе?

При последних вдохновенных словах императора лицо его озарилось внутренним огнем, облагородившим его черты и движения. Большие глаза его впились в темно-голубые глаза Актэ. Полные, едва покрытые молодым пушком губы задрожали так красноречиво, что сама неопытность поняла бы волновавшее его чувство. Это было бурное, пламенное признание первой безумной любви. Но глаза, следившие за императором из толпы, конечно, нельзя было назвать неопытными; лукавый Софоний Тигеллин следил за сценой между императором и краснеющей девушкой с удовольствием учителя, видящего, как всходят посеянные им семена. Клавдий Нерон был теперь близок к тому, чтобы признать ослом заносчивого философа Сенеку и принять за правила жизни то, что доселе составляло лишь исключение.

Малютка с волнистыми белокурыми волосами и созданным для поцелуев ротиком была прелестна. Если бы Нерон так неожиданно не попался на удочку, быть может, сам Софоний Тигеллин не отказался бы... Теперь, конечно, об этом нечего и думать, но, в сущности, это все равно, так как Софоний Тигеллин мог выбирать среди красивейших и знатнейших, ему стоило лишь протянуть руку, и даже сама Поппея Сабина готова была поднести некое украшение своему супругу... Да, да, в этом блестящий Тигеллин не сомневался, и намерен был вскоре заняться этим. Теперь же он был доволен, весьма доволен походом на Марсово поле; против всякого ожидания, Нерон отлично играл ему на руку.

Другая пара глаз, незаметно следивших за императором и его молодой собеседницей, принадлежала Никодиму. Его шпионы и лазутчики донесли ему, каким образом Тигеллин и Нерон намеревались провести время между завтраком и обедом. Он тотчас же поспешил с Актэ на Марсово поле и, увидев императора, быстро отошел в сторону, предоставляя все остальное сметливости молодой девушки. Актэ, прибывшая в Рим лишь несколько недель тому назад (до этих пор, она ходила за больной родственницей Никодима в Остии) в кругу назарян стала уже почти знаменита чудесной силой убеждения и успешностью своих попыток в обращении язычников; обращенные ею последователи Христа считались десятками. И неутомимый, пламенный Никодим решил достигнуть намеченной им великой цели уже не только через посредство Сенеки, но гораздо более прямым путем, сведя императора с увлекательно красноречивой проповедницей нового учения. Никодим, бывший глава крупного торгового дома, познакомился с религией назарян во время одного из своих путешествий на Восток. Смерть любимого сына укрепила в его жаждавшем утешения сердце убеждение в божественной истине христианства и когда эта вера победоносно извлекла его из бездны отчаяния после тяжелой потери, он начал всем сердцем стремиться к тому, чтобы спасительное учение восторжествовало над заблуждениями государственной религии Рима. Хорошо знакомый с философией Сенеки, которому в былые времена он оказывал значительные денежные услуги, Никодим с радостью видел внутреннюю связь между учением Иисуса и полным презрением к миру стоицизмом; на этом-то и основывалась его безумно смелая надежда обратить питомца Сенеки в последователя Сына назаретского плотника.

Актэ казалась ему созданной для того, чтобы быть его орудием, не только по ее горячему, сердечному красноречию, но и потому, что она — хотя он сам себе не хотел сознаться в этом, — была воплощением безукоризненной красоты и женственности. Она повлияет на ум Нерона, быть может, даже на его сердце, но что за беда, если на этот раз, в виде исключения всеспасительная вера проникнет на крыльях земной, скоропреходящей любви? Актэ ведь знает свой долг... В последнюю минуту она найдет в себе силу спасти свою добродетель от бурного потока страсти.

Так рассуждал Никодим...

В глубине же сердца и почти безотчетно для него самого шевелилась мысль: «А если бы и погибла одна эта овца, то погибель ее послужит во спасение всему стаду».

Безумец забывал, что из худа и позора никогда не выходит добра; он был не в состоянии беспристрастно оценивать ситуацию.

С почти демонической радостью смотрел он теперь на быстро возраставшую приязнь между его отпущенницей и Клавдием Нероном. Все это выходило удачнее, чем он смел когда-либо надеяться. На лице императора не было и следа легкомысленной шутливости, обыкновенно отражающей завязку известных отношений с красавицами низшего сословия; напротив, черты его скорее выражали почтительное сочувствие и почти робкое обожание. Если Актэ сумеет умно повести дело, то сердце этого богато одаренного природой юноши в ее руках уподобится мягкому воску.

Беседа между императором и отпущенницей продолжалась. Вдруг Нерон, не в силах преодолеть своих чувств, схватил за руки девушку и страстно прижал их к груди.

— Актэ, — сказал он, — ты уничтожила меня сладкой музыкой твоих речей, божественной прелестью и умом твоих синих глаз... То, что ты очертила лишь несколькими словами, пробуждает во мне могучие, необъятные образы! Будем друзьями, Актэ, настоящими, сердечными друзьями! Теперь только понял я стих юного Лукана, где он говорит, что всякое откровение исходит от женщины. Ты, Актэ, обладаешь чистотой и силой воли, у меня же есть власть. Мне стоит лишь поднять руку и все в мире изменится, подобно тому, как изменяются эти игрушки под волшебным жезлом Кира. Если мы мужественно будем поддерживать друг друга... О, как ты прекрасна, как божественна и очаровательна!

И он со страстной нежностью поцеловал кончики пальцев краснеющей Актэ.

Она старалась высвободить свои руки, и он выпустил их, уступая ее молящему взору скорее, чем ее усилиям.

— Приди ко мне в Палатинум, — продолжал Нерон. — Вот этот перстень откроет перед тобой все двери ко мне во всякое время. Сенека должен узнать тебя. Мне кажется, что ты глубже постигаешь великие цели назарянства, нежели Никодим. Согласна ты, Актэ?

Осторожно сняв перстень с печатью, он подал его девушке, как жених подает розу невесте.

— Благодарю, повелитель, — смущенно произнесла Актэ, — но внутренний голос говорит мне, что я не должна принимать твой перстень и также что мне неприлично переступить порог дворца.

— Пустяки! Если этого требует сам цезарь! А, ты боишься за твое доброе имя? Конечно, коварная злоба тем скорее бросается на свою жертву, чем она милее и прекраснее. Так приходи в сопровождении Никодима...

— Может быть, повелитель!

— Отчего ты не скажешь просто: да? Разве это не похоже на предопределение, что мы снова встретились здесь после того, как я впервые увидел тебя несколько дней тому назад, когда ты уже возбудила симпатию в моей душе?

Актэ сильно покраснела и как бы со стыдом, молча опустила глаза.

— Так ты придешь? — повторил император.

— Я посмотрю, могу ли я это сделать.

— Как ты пылаешь, Актэ! Или ты думаешь, что я хочу обидеть тебя? Ты будешь моей сестрой, моей любимой сестрой, иначе я умру от тоски. Понимаешь ли ты? Нерон протягивает тебе братскую руку, Нерон, чьей благосклонности униженно заискивают цари!

— О, я знаю цену этой благосклонности! — звучным, сильным и убежденно-радостным голосом отвечала девушка.

Нерон был в опьянении.

— Так решено, дорогая, прелестная! Как удачно придумал Тигеллин привести меня на Марсово поле как раз теперь! Это стоит всех сокровищ империи! Ведь он, глупец, человек минуты, враг мысли, но тем не менее он дал мне больше, чем Сенека со всей его мировой мудростью!

Оглушительные возгласы одобрения и вслед за тем громкий звук труб возвестили конец представления.

— Повелитель, — шепнула Актэ, заметив что Нерон собирается следовать за ней к выходу, — если ты желаешь мне добра, то оставь меня. Меня могут заметить, и ты не подозреваешь, какое жестокое и бессердечное осуждение может пасть на меня.

— Хорошо, Актэ! Видишь, я уже покорен тебе почти как раб. Но ты возьмешь перстень? Я прошу тебя от всего сердца!

— Хорошо... — с волнением отвечала она.

Тяжелый золотой перстень скользнул на ее средний палец и пришелся впору, точно был сделан нарочно для нее. Странное чувство овладело ею: это было наполовину радость, наполовину грусть и предчувствие грядущей беды. Ей казалось, что на нее надета цепь, которую уже не разорвет никакая земная сила.

Глава IV

Поспешно протиснувшись сквозь толпу, Актэ вышла из палатки, незамеченная Никодимом. Ее влекло непреодолимое стремление остаться в одиночестве под впечатлением удивительной встречи.

При мысли о том, как ее господин будет расспрашивать ее, как начнет со всех сторон истолковывать каждое слово, сказанное императором, ею овладевал несказанный страх. Ей казалось, что чужая, бесчувственная рука будет рыться в ее драгоценнейших сокровищах. Прежде чем это случится, она хотела хоть короткое время быть их единственной обладательницей, хотела без помехи насладиться только что пережитым и собраться с мыслями.

Почти полчаса ходила она по отдаленным окраинам Марсова поля, с сомнением поглядывая на перстень, надетый на ее палец. Все это казалось ей сном.

На ее руке перстень с императорской печатью, данный ей самим всемогущим цезарем! Не походило ли это на сказку древних пелазгов? В те далекие времена, облеченные эфирным светом Уранионы спускались к дочерям человеческим и приносили небесные громовые стрелы к ногам пастушек Эты. Но здесь, в этой действительности шумного Рима, где повсюду раздавалось вовсе не сказочное бряцанье преторианского оружия, здесь, на берегу Тибра, где все дышало такой новой, полнокровной жизнью — это было непостижимо!

Взор ее устремился в сторону Вечного города...

Несмотря на прозрачность октябрьского дня, южный горизонт подернут был красноватой дымкой. Вдали виднелись залитые солнцем храмы Капитолия; справа от него высились башни Палатинума, резиденция цветущего юноши, властителя всего этого необозримого моря построек, всей Италии, всего мира, — властителя, так горячо, любовно, безгранично доверчиво говорившего с ней, рожденной рабыней!..

Она вздохнула.

— Если бы он был одним из этих жалких рабов, таскающих камни для строительства! — печально думала она. — Я отдала бы все, что имею, за его выкуп; я работала бы целые годы, если бы имущества моего было мало для этого, а потом...

Она закрыла глаза.

Тихий голос внезапно произнес ее имя.

Перед ней стоял человек лет около сорока, в одежде вельможи, с видимым усилием старавшийся придать ласковое и приветливое выражение своим сверкающим серым глазам.

— Актэ, — сказал он, — ты бродишь одна, подобно тоскующей Деметре. Смеет ли новый друг предложить тебе свое сопровождение?

— Господин, я не знаю тебя.

— Этому легко помочь. Мое имя, полагаю, окажется тебе менее чуждым, чем мое лицо. Я Паллас, доверенный императрицы.

— Паллас! — вскричала она с испугом, точно совесть ее была не совсем чиста. — Имя это всем известно и... страшно.

— Оно должно быть страшно только тем, кто не оказывает моей повелительнице должного почтения, не признает мудрости ее действий, противится ее славным целям, или каким-нибудь иным способом

грешит против божественной императрицы. Я возвысился милостью Агриппины; благодаря ей я достиг своего настоящего положения, но признательность и верность я все-таки считаю высшими добродетелями!

В глубокой задумчивости смотревшая на перстень императора, Актэ внезапно откинула со лба свои чудные волосы и почти смело спросила:

— Откуда знаешь ты меня и что нужно тебе?

— Я видел тебя недавно, когда цезарь помиловал отпущенника Флавия Сцевина. Я был во главе императорской свиты.

— Да? Я не заметила тебя.

— Это не очень лестно. Но ты была так поглощена своими мыслями, что я прощаю твою невнимательность. Быть может, мне понравилось именно твое увлечение. Ты показалась мне олицетворением сладкого спокойствия посреди вечно мятущейся столицы. Короче: ты очаровала меня...

— К чему говоришь ты мне это?

— Станный вопрос! К чему амфоре говорят о жажде? Я люблю тебя, Актэ, и молю богов, чтобы они расположили ко мне твое сердце.

— Мольбы твои напрасны, — отвечала девушка. — Я не могу любить. На такой вздор у меня нет ни склонности, ни умения.

— Ты называешь вздором блаженнейшую и единственную отраду жизни? Актэ, Актэ, что говоришь ты? Ты не можешь любить с твоими мечтательно-страстными глазами и прелестными устами, созданными для сладких поцелуев? Обманывай кого-нибудь поглупее меня!

— Я не могу любить, — печально повторила она. — А если бы и могла, то неужели ты думаешь, что я согласилась бы опозорить себя?

— Опозорить? Разве любовь Палласа позорна?

— Для тысячи других, наверное, нет. Поверь, несмотря на мою молодость, я знаю свет и его порочность. Я знаю, как думают римляне о девушках-отпущенницах, знаю, что имя это почти равнозначно разврату и легкомыслию... Многие, очень многие почли бы себя счастливыми разделить свой грех с тобой; ты могуществен и богат, и на возлюбленной Палласа должен отразиться блеск правящего миром добра. Я же презираю подобное возвышение, которое в действительности есть только позор, презираю потому, что прежде всего отвращение к таким поступкам лежит у меня в крови, а к тому же Иисус Христос Назарянин, которому я предана всем сердцем, завещал нам добродетель и чистоту мыслей в жизни.

Паллас помолчал.

— Ты не сказала мне ничего нового, Актэ, — медленно произнес он наконец. — Можно было сразу догадаться, что девушка, просящая помилования назарянину, сама назарянка. Никодим подтвердил мне это. Мне известно также твое отношение к нему; его я знал, встречаясь с ним иногда у Сенеки... Итак, твое гордое возражение меня несколько не удивляет, но в то же время и не убеждает.

— Почему?

— Потому что ты отвергаешь то, чего не испытала, Актэ! Я вижу тебя в третий раз. Третьего дня, в доме Никодима, я имел полную возможность наблюдать за тобой... Невидимый тобой, я стоял в таблинуме с седоволосым чудаком. Подобно молодой лани двигалась ты по каменным плитам; ты говорила с рабами и для каждого находила приветливое слово; ты поливала осенние розы, кормила голубей зерном и хлебными крошками; один луч присущего твоей душе света ты уделила даже на долю старой больной собаки, лежавшей у бассейна и при виде тебя завилявшей хвостом. Тогда я решил при первом же случае

сказать тебе, как я завидую животному, находящемуся в блаженной близости от тебя; сказать тебе... Но что с тобой?

— Ничего, ничего! — с трудом произнесла Актэ. — Пустая мысль... воспоминание... — Она закрыла глаза рукой. Теперь, когда она поняла, что Паллас говорил ей об истинной, настоящей любви, вдруг с поразительной ясностью и живостью перед ней возник образ цезаря в ту минуту, когда он в первый раз восхищался ее красотой; и вместе с этим образом в душе ее поднялась такая сладко-мучительная боль, что она едва удержалась на ногах. Она скоро оправилась, и Паллас с возрастающим жаром продолжал:

— Надеюсь, не мои слова испугали тебя? Или я слишком увлекся? Но в моем возрасте уже не тратят на ухаживанье недели и месяцы. Говорю прямо: Паллас, доверенный императрицы, страшный Паллас, как ты сама назвала его, — хочет иметь тебя своей женой. Слышишь, Актэ? Законной женой, а не любовницей! Что ты ответишь ему?

— Что я благодарю его, — опустив глаза, прошептала она, — и прошу простить меня, если я все-таки отвечу — нет.

— Ты говоришь в лихорадочном жару!

— Нисколько, господин! Именно ясность моих мыслей и придает мне мужество отказаться от этой чести. Такая девушка, как я, не подходит знатному вельможе...

Он покачал головой и положил правую руку на плечо Актэ, устремив сверкающий взор на ее дрожавшую от волнения стройную фигуру.

— Должен ли я сказать тебе, что ты несомненно подходишь мне? Должен ли я унизиться перед тобой? Разве тебе не известно, что я сам рожден несвободным? Антония, мать императора Клавдия, много лет тому назад подарила мне свободу и собственными усилиями я занял положение, которому теперь завидует весь Рим: поверенного божественной Агриппины.

— Да, я знаю, — возразила девушка. — Тем не менее нас разделяет бездна. Какую жалкую роль стала бы я играть в блестящем обществе Палатинума? При одной этой мысли у меня кружится голова.

— Ты не можешь бояться сравнения ни с кем.

— Нет, нет, мне страшно подумать об этом. И к тому же, господин, ведь я уже сказала тебе, что у меня есть душа и нет сердца. Я тебя не люблю, а сделаться твоей женой без любви — значило бы обмануть тебя.

Паллас нахмурился. Он не ожидал такого прямого отказа, и гордость его была уязвлена.

— Девушка, — сказал он, помолчав, — ты поступаешь, как безумная. Я держал в моих объятиях дочерей сенаторов, не особенно церемонясь, а ты отказываешься разделить мою жизнь и положение как моя законная жена? Твое ребяческое упорство так же безумно, как моя неслыханная решимость жениться на тебе. Но я не могу изменить этого: ты очаровала меня с первого взгляда и теперь, когда вместо того, чтобы отдаться мне со слезами благодарности, ты отвергаешь меня, я еще яснее чувствую, что не в силах отказаться от тебя. Подумай, Актэ! Поверенный императрицы ведь не первый встречный, и тот, кто не умеет схватить свое счастье, когда оно само дается в руки и, быть может, всю жизнь будет оплакивать это легкомысленно пропущенное мгновение. Итак, пока прощай! На большой дороге меня ждет моя свита.

И многозначительно склонив голову, он исчез за миртовой изгородью. Между тем уже вечерело. Час ужина давно миновал. Массы оживленно двигавшихся по широким аллеям носилок и пешеходов исчезли, и наступившая тишина, заменившая этот шум, ощущалась еще явственнее при горячем, красно-золотистом вечернем освещении.

Акта незаметно дошла до Элийского моста; пройдя по выложенному мрамором боковому настилу,

она достигла середины моста и остановилась, опершись о перила. Отсюда, с вершины главной арки, ежегодно бросались в воду сотни людей, которым наскучила жизнь, потерявшая для них всякий смысл или изнемогших в непрерывной борьбе с судьбой... Внизу со страшно-заманчивым рокотом шумели и пенились желтоватые волны, вздымались и падали, подобно мерному дыханию живого существа. Одна за другой вырывались они из-под квадратных опор моста и, постепенно успокаиваясь, катились дальше, сливаясь наконец в однообразной глади широкой реки.

— Как это утешает! — прошептала Актэ, подпирая лоб ладонью. — Волны приходят и уходят, и даже самые бурные из них все-таки сглаживаются и мирно текут в море!

Долго в раздумье смотрела она на одно место, где около устоев выше всего взлетали пенистые, крутящиеся струи, пока наконец ей почудилось, что она и мост бесшумно и гладко поплыли назад. Это было невыразимо сладкое, дремотное ощущение, так же благодатно освежившее ее потрясенную недавними событиями душу, как глубокий сон освежает утомленное тело. Солнце уже зашло, когда Актэ вспомнила о своих обязанностях и направилась домой.

Повернув в юго-восточном направлении, минут через сорок она достигла Vicus Longus, «Длинной улицы», отделявшей виминальский холм от квиринальского.

На едва приметном косогоре первого из этих холмов возвышались красивые постройки дома Люция Никодима, который нисходя в четвертом поколении от лакедемонян, по своим нравам и обычаям был чистокровным римлянином.

Актэ боялась, что пылкий патрон встретит ее укорами за продолжительное отсутствие, так как еще недавно, верный священной суровости назарян, Никодим выговаривал ей за то, что она в сумерки стояла со служанкой в остиуме. К тому же нетерпеливое ожидание могло также раздражить его.

Но вместо этого при виде ее Никодим просиял. Он дожидался ее в атриуме и, встретив на пороге, провел мимо таблинума в перистиль. В столовой горели масляные лампы. Уже часа два тому назад окончился обед семьи, состоявшей из хозяина дома, его жены, дочери и семи бывших рабов и рабынь, освобожденных своим господином: учение Спасителя так резко противоречило идее рабства, что даже человек такого устойчивого характера, как Никодим, не осмеливался защищать учрежденного государством невольничества. К тому же все домочадцы были обращены и крещены им самим и уже поэтому он не мог оставить на них цепи, духовно разбитые таинством.

— Ты должна быть голодна, — с почти нежной заботливостью сказал он. — Вот идет Лесбия с блюдами. Она оставила для тебя горячее кушанье, Актэ. Ешь, пей, а потом рассказывай.

Актэ опустилась на край застольной софы, на которой Никодим всегда возлежал за обедом.

— Ешь, ешь! — ласково повторял он. — Ты, наверное, совсем измождена. И руки твои холодны, как лед. Вот чудесное везувианское вино... Я нарочно для тебя достал его из погреба... Оно оживит тебя, Актэ. У тебя такой утомленный вид.

— Действительно, я утомлена, — сказала она, поспешно поднося кубок к губам. — Прости, что я не тотчас вернулась с тобой из палатки египтянина...

— Напротив, — усмехнулся Никодим, — я благодарен тебе за то, что ты усердно и решительно принялась за предстоящее тебе святое дело. Я видел, как цезарь относился к тебе. Если ты будешь благоразумна, то Никодим и вместе с ним Божественный Галилеянин победят раньше, чем наступит второе полнолуние.

Все еще с трудом владевшая собой, Актэ печально покачала головой.

— Нет, господин! — глухо произнесла она. — Не сердись на меня, ради Господа Иисуса, но это

невозможно...

— Что невозможно?

— Чтобы я... Чтобы я обратила императора Нерона.

— Ты уже обратила его, если только умело воспользуешься тем, что судьба дает тебе в руки. Он был олицетворением доброты и милости...

— Именно поэтому. Он даже пожал мне руки и предложил быть его дорогой сестрой...

— Что такое?

— Да, это были его собственные слова. Он также приглашал меня в Палатинский дворец и то, что я ему говорила, кажется ему точным отголоском его задушевных мыслей...

— Но ведь это поразительное торжество, Актэ! Это значит покорение Рима, водружение креста Господня на стенах Капитолия...

— Это конец наших радостных надежд, — прошептала Актэ. — Господин, я должна рассеять твоё последнее сомнение: я не увижу больше императора!

— Ты помешалась, девушка?

— Слава Богу, нет! Давно уже я не находила в душе моей такой ясности, как теперь. Я буду откровенна и прямодушна, так как я многим обязана тебе. Ты не должен думать, что Актэ из одного лишь упрямства разрушает то, что ты задумал так умно и так благородно. Я... я...

Она запнулась. Лицо ее вспыхнуло жгучим румянцем стыда, между тем как Никодим смотрел на нее бледный и с раскрытым ртом.

— Я чувствую, — сказала она наконец, — что не могу выполнить назначенной мне тобой роли, не потеряв себя. Вы все утверждаете, что я умею убеждать лучше, чем наши красноречивейшие пресвитеры... Не знаю, ошибаетесь вы или нет, но мне ясно одно, что цезарь смотрел на меня иными глазами, чем кто-либо из всех обращенных мной в христианство...

— Ну что же следует из этого?

— Просто то, что он... Что он полюбил бы меня...

— Тем лучше!

— Нет, не лучше, потому что и я полюбила бы его. Да я его уже люблю, господин!

— Скоро же это сладилось! — злобно засмеялся тощий Никодим. — Но к чему мне твои глупые признания? Люби его сколько угодно, но исполняй свой долг распространения нашей божественной веры!

— На это у меня не хватает силы.

— Презренная! — вскричал Никодим. — Не завещал ли нам Христос отречься от всего мирского ради вечного спасения? Не повелевает ли Он умерщвлять нашу плоть и обуздывать греховные побуждения, отвращающие нас от стези праведности и добродетели?

— К этому-то я и стремлюсь, — возразила Актэ. — Если бы я хотела повиноваться моим желаниям, то теперь же пошла бы к нему... Быть с ним, в его объятиях, на его груди, полной таких возвышенных, прекрасных и благородных чувств, — вот к чему влечет меня моя греховная, попирающая всякие обязанности, воля. Но, так как последовав этому влечению, я погрузилась бы в бездну позора и унижения, то решение мое непоколебимо. Никакая земная сила не заставит меня вновь увидеться с человеком, близость которого грозит мне погибелью.

— Но если он сам прикажет тебе прийти?

— Скорее я умру, чем послушаюсь его. Цезарь властен над многим, но он не может помешать умереть тому, у кого на это хватит мужества.

Никодим сидел ошеломленный. Потом, внезапно протянув дрожавшие руки, он с рыданием воскликнул:

— Актэ! Во имя Спасителя, пролившего за нас Свою кровь, не упорствуй! Не разрушай идеи, величайшей со времени смерти Христа! Не разбивай будущности назарянства и его дивной, божественной, спасительной деятельности!

— Мир не может спастись грехом!

— Актэ! Могилей твоей матери, умершей в блаженном веровании в милость Господню...

— Могилей моей матери! — воскликнула тронутая девушка. — Твое упоминание об этой святой превращает мою твердость в непоколебимость!

— Так ты не хочешь? Несмотря на мои просьбы и на мои слезы?

— Нет, тысячу раз нет!

Лицо Никодима исказилось. С губ его готово было сорваться ужасное проклятье... Тонкие пальцы его сжимались, как когти хищной птицы, в груди клокотало, покрасневшие глаза метали полные демонической ненависти взгляды.

Но он мгновенно овладел собой и, еще дрожа, налил в чашу вино и выпил его сразу, как человек, умирающий от жажды.

— Ты не хочешь, — беззвучно сказал он, — но цезарь хочет... и Никодим также... пусть же мелкий камешек попробует задержать низвергающийся в долину великий обвал. Ты знаешь меня. Ступай спать, бедная дурочка! Завтра, быть может, к тебе вернется рассудок!

Он вышел из триклиниума; шаги его звучно отдались в колоннаде; дверь тихо скрипнула, и все замолкло.

Удрученная Актэ осталась одна в наполненной ароматом вина столовой. Угрозы ее господина с убийственной ясностью звучали в ее мозгу. Да, она его знала. Несмотря на всю его доброту и справедливость, он был способен на всякое насилие, если встречал противодействие тому, что он считал целесообразным и необходимым. Она сидела и думала. Все тяжелее и тяжелее давило ее предчувствие близкой беды.

Вдруг ей почудилось, что из глубины тускло освещенной столовой какой-то голос говорил ей: «Беги, беги, или ты погибла!»

Безумный страх овладел ею. Цезарь хочет... Никодим хочет... Но она не хочет и потому должна бежать... Одно только бегство могло спасти ее от греха, от борьбы с собственной слабостью и от злобы Никодима.

Тихо, как преступница, прокралась она в свою спальню. Дрожа всем телом и торопясь, точно спасение ее зависело от каждой тающей минуты, начала она собирать самые необходимые вещи. Золотую цепь, наследие матери, она надела на шею как талисман, накинула на себя плотную верхнюю одежду, затушила лампу и выскользнула из дома.

На утро испуганные домашние тщетно повсюду искали и звали Актэ. Постель ее оказалась несмятой; На двери была приколотая полоска пергамента с короткой надписью: «Прощайте все!» Ни по малейшему

следу невозможно было угадать, куда скрылась девушка. Никодим, терзаемый сомнением и угрызениями совести, молчал о происшествиях последних дней, и ничего не подозревавшая семья его терялась в догадках, отыскивая причины этого неожиданного бегства. Потеря общей любимицы была для всех большим горем. Ее невинная веселость радовала и веселила домочадцев Никодима; блестящие белокурые волосы ее как бы озаряли весь дом небесным сиянием; ее цветущая наружность, голос, звонкое пение — все это оставило за собой пустоту и сокрушение, подобное сокрушению внезапно ослепшего человека, для которого навеки угасло солнце... Никодим утешал горько плакавшую жену, говоря что-то сквозь зубы о «девичьих капризах», «экзальтации» и о том, что «она скоро возьмется за ум», а затем отправился в префектуру заявить о происшествии. Оказалось, что в отделении префектуры, куда он обратился с этой целью, по случаю оказался и Фаракс, начальник конвоя, который неделю тому назад вел на казнь осужденного Артемидора.

Они узнали друг друга. Услыхав в чем дело, Фаракс воспламенился. Он провел Никодима прямо к префекту и, говоря о милости, лично оказанной молодой девушке Клавдием Нероном, многозначительно заметил, что цезарь, наверное, огорчится, если беглянку постигнет какая-нибудь неприятность.

Префект протянул руку Никодиму.

— Мои военные и гражданские когорты обучены недурно, — сказал он. — Мы разыщем девочку, будь в этом уверен! Впрочем, я готов поставить на заклад моего лучшего скакуна, что раньше чем мы начнем серьезно выслеживать ее, она вернется сама!

Однако она сама не вернулась и когортам префекта также не удалось выследить ее.

Две недели разыскивали Актэ, прибегнув даже к помощи настоящих охотников за рабами, но все напрасно.

Нерон, снедаемый тайной тоской, как бы из участия к безутешному Никодиму назначил значительную награду за розыск девушки и приказал своим преторианцам оказывать всевозможную помощь городским когортам. Но наконец и он должен был примириться с мыслью, что прелестная, очаровательная Актэ, наполнившая его сердце такой божественной музыкой, исчезла навеки и бесследно.

Глава V

Зима прошла, и снова наступила весна.

Яркое апрельское солнце обливало землю живительными лучами божественных небес, лучами, превратившими аристократические кварталы Рима в один цветущий сад. Источники Aqua Claudia и Marcia пенились изобилием вод. Форум и Священная дорога казались покрытыми снегом, столько по ним двигалось гуляющих в белых одеждах. Народные поэты вдохновлялись новыми фантазиями; юноши убирали своих избранниц пурпуровыми розами; девушки мечтали о будущем счастье.

В противоположность своим счастливым подданным, суровый и мрачный цезарь Клавдий Нерон прогуливался в колоннаде в сопровождении своего советника и бывшего наставника Сенеки.

Разговор их часто прерывался продолжительными паузами, и тогда министр украдкой старался заглянуть под опущенные ресницы императора, чтобы разгадать поглощавшие его мысли...

Как изменился молодой цезарь после посещения им палатки египетского кудесника! Бледность его лица говорила о тайной, никому не ведомой внутренней борьбе, о вечной работе пытливой мысли, хотя стремившейся к творчеству, но до сих пор еще не проявившейся ни в какой определенной форме. Действия рождаются лишь из божественной надежды, из веры в их необходимость и мужественного убеждения. Быть может, и сердечная тоска также подсекала крылья молодого императора.

Искусство, доселе бывшее для него радостью жизни, внезапно сделалось ему ненавистно. Творения его любимых авторов лежали в библиотеке неразвернутыми; ни эпос, ни лирика не привлекали его; позабытая арфа печально пряталась под лавровыми венками, поднесенными ему истинными и притворными почитателями его таланта, и давно уже замолкли его веселые песни.

Со времени исчезновения Актэ он всецело посвятил себя философии и добросовестному обсуждению того, что Никодим вместе с Сенекой представляли ему как высшую задачу истинно великого духом правителя.

В этом направлении уже были приняты некоторые меры...

Воспоминание об Актэ, подобно ободряющему гению, повсюду сопровождало мятущуюся душу цезаря. Ведь и она исповедовала религию назарян: смел ли Нерон сомневаться в ней?

Однако он сомневался; сомневался менее, быть может, в спасительности великого переворота, которого от него ожидали, чем в возможности его выполнения.

Да, если бы его сердцу говорила Актэ, живая Актэ, с ее сладким, вкрадчивым голосом, все его колебания растаяли бы, как вешний снег. Но этого не могло сделать одно только воспоминание о ней и хотя оно наполняло его ум священным уважением, которое мы чувствуем к дорогим мертвецам, но вместе с тем, порождало в нем глухую, подавлявшую и угнетавшую его тоску. Роковая загадка!

Какой злобный демон похитил у него звезду его жизни? Как и зачем? На эти вопросы он не находил ответа, а Никодим, знавший о причине бегства Актэ, считал за благоразумнейшее молчать.

Шаги императора и его ближайшего советника зловещими звуками отдавались в пустынной колоннаде. Сюда не показывался ни один раб, ни один преторианец: все чувствовали, что перед наступлением бури благоразумнее держаться в стороне.

— Ты кажешься очень расстроенным, повелитель, — заметил Сенека, приметив, что Нерон с каждой минутой становился все мрачнее.

— Может быть, — отвечал он.

— Так последуй совету опытного друга, который тебя любит и безмерно гордится тобой!

Нерон вздохнул. Написанное на его юношеском лице утомление составляло разительную противоположность ясному спокойствию и довольству, разлитым в старческих чертах его спутника, верившего в свою силу и цель.

— Если ты хочешь победить свое мрачное настроение, — продолжал Сенека, — то принудь себя обратить мысли на то, что далеко от предмета твоей заботы!

— Это легко сказать, — возразил цезарь. — Вздернутый на колесо Иксион, вопреки всей философии, не будет в состоянии думать ни о чем, кроме своих страданий!

— Так ты страдаешь, цезарь? Я думал, что тебе не так трудно будет сдержать данное мне обещание. Неужели ты так скучаешь по беседам с Тигеллином, по уличным приключениям и ночным попойкам?..

— Может быть. Тигеллин был моим верным товарищем, преданным другом. Несправедливо, что я начал так пренебрегать им.

— И теперь, как прежде, ты можешь доказать ему твою благосклонность; но конечно, он не годится в товарищи цезарю, задумавшему столь великое и славное дело... Дорогой сын! Я понимаю, что у юности есть свои права... Но все-таки: величие императора, как бы молод и цветущ он ни был, основано на умеренности. Несомненно, что строго придерживаясь начертанных мной и одобренных тобой основ правления, ты приносишь жертву; но жертва эта необходима, если ты желаешь достигнуть намеченной тобой цели: освобождения человечества. Никто не поверит твоему сочувствию народным страданиям, если ты сам будешь жить в пучине безумных наслаждений.

— Жил ли я так когда-нибудь? — с горечью спросил цезарь.

— Поистине, нет! Ты предоставил это сенаторам и выскочкам, утопающим в золоте, в то время как бедняки и несчастные не имеют одежды, чтобы прикрыть свою наготу.

— Ну так в чем же обвиняешь ты меня?

— Я только хотел сказать: решившись на великое дело, ты не должен отступать перед связанными с ним неприятностями и огорчениями: ни простота твоей частной жизни, ни изумление прежних друзей, ни упреки твоей супруги Октавии, ни даже постоянное неудовольствие Агриппины...

— Разве я выказал слабость в этом отношении?

— Ты исполняешь свой долг настолько это тебе возможно. Но все-таки раздаются голоса, утверждающие, что было бы лучше для общего блага и приличнее для достоинства римского императора, если бы он немного отстранил императрицу-мать от занятий государственными делами.

— Так говорит Сенека, совместно с Агриппиной воспитавший Клавдия Нерона?

— Прости за смелость; но я должен сказать это. Благороднейшие люди Рима разделяют мое мнение. До сих пор все еще шло сносно, но я опасюсь, что наступит время, когда Агриппина станет на нашей дороге. Она есть совершеннейшее воплощение именно того нефилософского мировоззрения, против которого мы восстаем. Мы стремимся к равенству и справедливости, она же вырывает непроходимую бездну между богатым и бедным, знатным и простым, свободным и рабом. Хотя незнакомая с назарянским учением, она его пламенная противница...

Император остановился.

— Сенека, — странно сдержанным голосом спросил он, — ты действительно веришь, что век наш

созрел для гигантских планов Никодима?

— Созрел ли? Разве заурядная толпа когда-нибудь созревает для великих исторических переворотов? Только мыслящее меньшинство трудится над осуществлением новых идей, большинство же, естественно, оказывает им сопротивление. Но разве спрашивают больного ребенка, кажется ли ему целебное лекарство сладким медом? Так и ты, не смотри на эгоизм сенаторов, не желающих ничего знать о своем человеческом сродстве с рабами и мещанами! Насильно влей им в рот жгучее лекарство, и пусть они ревут, как Филоктет!

— Да, да, это одно уже было бы торжеством, — задумчиво сказал император. — Я ненавижу сенаторов...

— С некоторыми исключениями, конечно; например, Флавий Сцевин...

— И Тразея Пэт, — докончил цезарь. — Это истинные люди и мыслители, которых я почитаю столько же, сколько тебя, мой дорогой Анней.

— Не почитай меня, а люби! — отвечал старик.

Нерон молча пожал ему руку.

— Эти немногие, — продолжал Сенека, — поддержат нас в борьбе, а их влияние имеет больше значения, чем общее противодействие их неспособных товарищей. Философия на престоле — это величайшая из когда-либо существовавших идей. Я не верю в благочестивые, мечтательно-трогательные вымыслы Востока, которые нам рассказывает Никодим, но смысл их верен и, при настоящем положении вещей, они составляют единственно возможный путь к тому, чтобы сделать доступными и понятными народу самые возвышенные истины стоиков, вместе с основами и нашего нового учения.

Нерон опять остановился.

— В этом-то я и сомневаюсь, — сказал он.

— Как? После того, что вчера только сообщил нам Никодим о палестинских христианах, о их презрении к пыткам, спокойствию и готовности к смерти, которые они проявляют в борьбе с их иудейскими преследователями?

— Да, дорогой Анней! Я не остался бесчувственен к этому красноречивому описанию, но в то же время духом моим овладело тяжкое угнетение. Как мне выразить это? Меня пугает до глубины души мировоззрение, совершенно пренебрегающее земной жизнью, отрицающее все прекрасное и приятное, из одной лишь боязни, чтобы искушения эти не отвратили душу от вечности и от заботы о загробной жизни. Что нам — тебе и мне — в этом бесцветном назарянстве, если мы не верим в их небо?

Сенека закусил было губы, но вдруг величаво выпрямился и медленно произнес:

— Я верю в него, повелитель! Конечно, иначе, чем робкие женщины, скрывающиеся в глубине катакомб от ненависти наших жрецов и презрения высокомерной черни, но все-таки я верю в него. Бытие наше вечно; мы составляем частицу бессмертного божества; осужденные здесь на единичное воплощение, после смерти мы теряем индивидуальность нашу и вновь соединяемся с изначальным источником света.

— После смерти! Но ведь мы живем пока! Неужели мимолетная жизнь эта должна пройти в печали для того, чтобы сделалось возможным воссоединение наше с вечностью? Неужели необходимо мне здесь утратить все, чтобы по ту сторону моего погребального костра найти лишь продолжение безличного бытия?

— Что? Что утратил ты? Говори, сын мой! Давно уже я примечаю, что тебя пожирает печаль, посторонняя нашему делу...

Нерон принужденно улыбнулся.

— Ты ошибаешься, — с достаточной правдивостью отвечал он. — Со мной не случилось ничего нового. То, чего мы достигли, даже радует меня. В особенности же наш эдикт о чужестранных религиях... это твоё создание, дорогой Анней...

— Твое, — возразил министр. — Я лишь поднял вопрос, ты же осуществил его. И как осуществил! Вопреки твоей матери, которая, подстрекаемая своим пажом Палласом, объявила все это плебейским вздором; вопреки верховному жрецу и жрецу Юпитера, горячо восставшим против возрастающей смелости восточной и египетской ересей; вопреки твоей супруге, ежечасно ожидавшей, что над нами разразятся страшные юпитеровы громы; наконец, вопреки глупости, вооружившейся на тебя со всех сторон. Ни один обитатель, ни один раб семихолмного города не будет больше преследуем за свою религию! Никакие римские предрассудки не принудят его приносить жертвы государственным богам! Это ли не славное торжество философии?.. А ты все-таки печален?..

Лицо императора прояснилось.

— Да, ты прав, — сказал он, протягивая руку советнику. — Я мог бы быть доволен. Мы уже кое-что совершили; конечно, это только одни приготовления, но тем не менее они славны и возвышенны. Владычество долга — самое слово это звучит подобно божественной трубе, оно вливает в меня силу воздержания и самоотречения. Но я ведь смертный, часто и легко поддающийся своей слабости... Наяву и во сне меня томит страстная, неутолимая жажда счастья...

— Счастье заключается в исполнении нравственных законов, — сказал министр.

— Я исполняю их, но счастье все-таки не рассеивает мрака моей жизни.

— Но чего же тебе недостает? Ты — цезарь, философ, супруг прекрасной, любящей Октавии, готовый умереть за тебя... Хотя она по-своему и противодействует тебе...

— Если бы дело было только в этом! Противодействует! Не думаешь ли ты, что я так нетерпим? Как императрица и супруга, она имеет право выражать свое мнение. Конечно, признаюсь, меня дрожь пробирает, когда по вечерам мне толкуют о гневе всемогущего Юпитера... Но если бы и было иначе, если бы и она была сторонницей свободы, все-таки я не нашел бы успокоения. Не постигаю, что отталкивает меня от нее. Часто мной овладевает почти жалость, и я сам себе кажусь преступником, бесчувственным к ее бесконечной доброте; но все-таки... Вот в чем мое несчастье!

— Ты не любишь ее, — с огорчением сказал министр.

Нерон вздохнул.

— Любовь... любовь! Мне кажется, она увлекает человека как ураган... Она ошеломляет, наполняет сердце смертельно-томительным желанием и в то же время разливает в жилах огонь... В разрывающейся груди нет места для иных мыслей, кроме мыслей о ней! Все, все можно отдать за обладание ею... Даже престол и благодетельную, мировую мудрость Стой...

Страстное воодушевление цезаря росло с каждым словом, и он крепко прижал руку к сердцу, как бы для того, чтобы обуздать бушевавшую в нем бурю.

— Ты так любил! — прошептал Сенека, пораженный внезапным откровением.

— Да! Я должен высказаться хоть раз! Я любил! Любил белокурую, прелестную, божественную девушку, Актэ, отпущенницу Никодима! Горе мне! Счастье мое разбилось прежде, чем я успел вкусить его! Эта очаровательная, обожаемая Актэ, клянусь могилой моего незабвенного отца Домиция — сделалась бы императрицей, если бы нас не разлучила глупая, непостижимая судьба!

— Как? Отпущенница на престоле Палатинского дворца?

— Твое изумление противоречит главному основанию твоей философии, — отвечал цезарь. — Повторяю: я отказался бы от выполнения завещания императора Клавдия; Октавия скоро утешилась бы, а единственная и несравненная Актэ стала бы моей женой. Рукоплещи же, Сенека! Назарянка на престоле — это был бы самый отважный шаг к осуществлению твоего общественного переворота!

— Правда, — пробормотал Сенека, — но я опасюсь...

— К несчастью, тебе решительно нечего опасаться, — прервал его цезарь. — Императрицу Рима зовут Октавией... Актэ исчезла, как потухший метеор, и Нерон научился обуздывать свои мечты. Но прекратим этот роковой разговор! На сегодня я хочу забыть все заботы и превратиться в эпикурейца. Приглашая императора к себе в гости, Флавий Сцевин, естественно, ожидает найти в нем приятного собеседника.

— Как повелишь. Я спешу переодеться.

Глава VI

Полтора часа спустя густая толпа теснилась перед входом в императорский дворец. Часовые, стоявшие здесь с копьями в руках, едва могли сдерживать напор любопытной массы. Ступени и цоколь соседнего храма были сплошь усеяны народом; на позолоченные статуи карабкались подростки и даже между высокими колоннами палатинского подъезда мелькали любопытные зрители.

— Идут! — раздался вдруг восторженный детский голос.

В возбужденной толпе пробежал ропот как перед началом нетерпеливо ожидаемого представления.

После своего союза с молодой Октавией, император показывался теперь впервые на городских улицах в торжественной процессии, направляясь в дом сенатора Флавия Сцевина, дававшего блестящий пир в честь высокой четы. Впереди медленно ехали два военных трибуна в серебряном вооружении. За ними следовал небольшой отряд преторианцев с огненно-красными перьями на блестящих шлемах; позади них тридцать рабов в вышитых золотом одеждах несли каждый по два незажженных факела. Копья преторианцев, также как факелы рабов, увиты были розами.

— Императрица-мать! — раздалось в народе изумленные голоса.

— Как? И в этом даже Агриппина хочет принимать участие?

— Невероятно!

— Это было простительно, пока цезарь не был еще женат.

— Это оскорбление для светлейшей Октавии!

— Берегись, Кай! А в особенности ты, дерзкий Семпроний! Кругом кишат шпионы.

— Шпионы? Что нам до них? Мы защищаем права императора.

— И римские обычаи.

— Покойный Август никогда не потерпел бы этого.

— Нерон любит свою мать.

— Клянусь Геркулесом, если бы он знал...

— Молчи! Или тебе не дорога голова?

Такие и подобные разговоры слышались при появлении роскошных носилок, с достоинством и ловкостью несомых всем известными сигамбрами.

На мягких подушках вместе с императрицей восседала ее фрейлина, испанка Ацеррония.

Двадцатилетняя странная девушка эта, казалось, соединяла в себе опытность матроны с невинной беспечностью ребенка. Иногда в ее сине-зеленых глазах сверкало самое тонкое лукавство; иногда же ее большой, чувственный рот принимал такое детски-наивное выражение, что даже скептик поверил бы в ее простосердечие. В обращении с Агриппиной она совершенно внезапно переходила из тона подруги в тон покорной рабыни, причем в обоих случаях была одинаково неискренна. Ее главную красоту составляли густые, ярко-рыжие волосы, белоснежная кожа и блестящие зубы, при смехе придававшие ее лицу выражение красивой пантеры. Императрица-мать очень дорожила ее обществом, и Ацеррония была единственным лицом, не слыхавшим от своей госпожи ни одного немилостивого слова.

Откинувшись на подушки и подперши рукой свою украшенную жемчугами голову, Агриппина смотрела высокомернее, повелительнее и самоувереннее, чем обычно. Порывы независимости Нерона,

несколько месяцев тому назад так неприятно проявившиеся в обнародовании эдикта, о веротерпимости, теперь постепенно слабели. Давно уже он не предпринимал ничего важного без ее совета, принимая ее мнение почти за приказ. Очевидно, эдикт был лишь мимолетной прихотью; она не намерена была затрагивать этот вопрос, так как подобная попытка с ее стороны могла бы снова пробудить почти уже исчезнувший в сыне дух противоречия. Собственно говоря, она имела все поводы быть довольной настоящим положением вещей. Уважение Нерона перед ее высоким умом было едва ли поколеблено... Даже сам Сенека, по-видимому, снова пришел к убеждению, что благоразумная политика невозможна без неограниченного верховенства императрицы-матери, а главное, на ее стороне был начальник преторианцев, честный Бурр, который в случае надобности оказал бы ей энергичное содействие. В последнее время Бурр еще больше запутался в сети своей повелительницы, и она была уверена, что он окончательно, до безумия влюблен в нее, несмотря на то, что она была очень скупа на явные проявления благосклонности.

Непосредственно позади носилок Агриппины шел ее управляющий и частный секретарь Паллас, окруженный толпой рабов.

На шее у него надета была драгоценная цепь, недавний подарок императрицы.

Каких бы упреков ни заслуживала высокомерная женщина, ее нельзя было упрекнуть в неблагодарности, отсутствовавшей среди ее пороков и недостатков.

Овдовевший император Клавдий женился на Агриппине по совету Далласа.

Император, напуганный и опозоренный неслышанным развратом своей казненной наконец супруги Мессалины, сначала противился изо всех сил, но Даллас не унимался. Агриппина, в то время надевшая на себя личину строгой нравственности, действительно казалась ему самой подходящей супругой слабому императору, и, кроме того, она посулила ему такую чудесную награду, что он не только устроил брак, но убедил императора усыновить тогда еще маленького Нерона, сына Агриппины от первого брака.

Она никогда не забывала его услуг. Тайно презираемый аристократами за низкое происхождение, несимпатичный Нерону, Паллас, тем не менее играл весьма значительную роль благодаря милостям императрицы-матери. Негодующие сенаторы не раз бывали вынуждены оказывать любимцу Агриппины блестящие почести и официально выражать благодарность за его услуги государству; а однажды, когда он заболел, они даже воссылали публичные молитвы о его выздоровлении.

Агриппина вполне осчастливила его высшим доказательством своего благоволения. Она дарила ему поместья, виллы, дворцы, рабов, драгоценности, и сверкавшая теперь на его мускулистой шее цепь, быть может, была самым лестным и нежным из всех ее подарков, ибо на каждом звене цепи находились изображения могущественной правительницы.

При дворе Паллас считался одним из немногих, кто вел довольно безукоризненную жизнь.

Отношения его к императрице не носили ни малейшего отпечатка той любезности, которую всегда проявлял в обращении с ней Афраний Бурр.

Много лет назад Паллас был женат, но скоро потерял свою жену, кроткую, покорную гречанку, умершую ужасной смертью. С той поры он исключительно посвятил себя служению разносторонним интересам императрицы-матери.

Попытка ее соединить верного Палласа с фрейлиной Ацерронией потерпела неудачу, скорее благодаря спокойному отказу рассудительного секретаря, чем горячему отвращению рыжей пантеры, которая как дочь кордубанского аристократа, с презрением смотрела на отпущенника и с большой смелостью в присутствии Агриппины говорила ему самые бесцеремонные истины.

Вообще поверенный императрицы не прельщался никем, хотя далеко не все благородные девушки разделяли взгляд на него Ацеррони. Но Паллас вовсе не жаждал нового союза. Его кроткая Андромеда слишком резко отличалась от расчетливых римлянок.

Так думал он до встречи с белокурой, цветущей Актэ.

Тогда внезапно он понял, что она может заменить его потерю. В сердце сорокатрехлетнего человека вспыхнул тот же огонь, который загорелся в нем, когда впервые он увидел на берегу Стабии прелестную фигуру молодой гречанки.

— Теперь или никогда! — подумал он, вспомнив этрусскую песню о колючем кустарнике, давно уже отчаявшемся в себе, а между тем производившем розы... И он улыбнулся не поэтическому образу, но тому, что только теперь вполне постиг смысл этой песни.

Незамеченный Актэ, он второй раз в жизни увидел ее в доме Никодима, а затем между лавровыми изгородями Марсова поля, где он открыл ей свои чувства. Потом она вдруг исчезла, подобно Прозерпине, внезапно похищенной подземным божеством...

Отказ ее был достаточно ясен. Паллас мог только предположить, что причиной ее бегства был он. Поступок этот действительно доказывал ее безрассудный ужас к нему, которого она с самого начала назвала «страшным».

Невыразимая горечь овладела его сердцем. Покоренный ее жертвенным благородством, он, могущественный Паллас, предложил этой безумной свою руку и сердце для прочного союза, вместо того чтобы, как она сама предположила, только добиться ее взаимности; но этот честный поступок возбудил в ней одно лишь отвращение, побудившее ее бежать от него, как от зачумленного!

И она бежала, бросив все, из боязни чтобы он не прибегнул к насилию!

Жалкое разочарование! Мучительное, невыразимое унижение!

Мысль об этом уже несколько недель грызла его. Потерять светозарную Актэ и потерять ее так — это превосходило всякую меру терпеливости!

О действительных побуждениях Актэ он не имел ни малейшего понятия. Усердные розыски цезаря он приписывал его участию к Никодиму, почти другу Сенеки. Знай Паллас истину, он безумствовал бы подобно Аяксу, чей рассудок был помрачен богами.

Теперь, идя за носилками своей повелительницы, окруженный блестящей толпой палатинских рабов, предмет тайной и явной зависти стольких тысяч людей, Паллас примирился со своим разочарованием и, высоко подняв выразительную, энергичную голову, вполне наслаждался своей ролью создателя агриппино-нероновой династии. Тем не менее он казался очень постаревшим.

На сильном человеке, в течении многих лет испытывавшем одно лишь удовлетворение успешностью своей деятельности, а затем внезапно охваченном непреодолимой любовью и тотчас же пораженным горестью разрушенных надежд, события эти оставляют более глубокие следы, чем самые страстные бури в юности.

Свита императрицы-матери шла за золотой лектикой императора и его супруги Октавии.

За этими носилками также следовали тридцать факелоносцев и небольшой отряд гвардии под начальством агригентца Софония Тигеллина.

Блестящий всадник на своем великолепном каппадокийском скакуне ехал рядом с носилками молодой императрицы. По временам конь его пугался шума толпы, что давало агригентцу желанную возможность не только выказать свою наездническую ловкость, но также бросать из-под черных ресниц

взгляды на Октавию, с легкой краской на щеках отвечавшую наклоном головы на восторженные приветствия народа.

«Она прекрасна, — думал агригентский сердцеед, — прекрасна, как Диана, но боюсь, что она так же сурова... И он не любит ее, мой всемогущий Нерон! Непостижимо! Просто нелепо! Мне кажется, что если бы в начале моего жизненного пути мне встретилась девушка, подобная Октавии, я никогда не сделался бы неисправимым грешником, так ловко управляющим своим конем. Образ жизни достойного Тигеллина — очень глупая и, в сущности, однообразная история! В каждой цветущей женщине искать небесную Афродиту и всегда находить лишь жалкий обломок, слабое эхо божественной мелодии — это в конце концов становится утомительным. Клянусь Эпоной, иногда мне думается, что в этой комедии мы играем очень смешную роль! Теперь же, впервые... Дерзкий безумец, или ты позабыл Гомера? Конечно, царь Иксион немножко неловко принялся за дело... и... право, она настоящая вавилонская роза, несравнимая с сорванными мной доселе цветами и цветочками... А для героя заманчиво ведь одно лишь героическое!»

Действительно, наружность юной императрицы могла обворожить пламенного агригента. Прежде живая и веселая, теперь она отличалась необычайной серьезностью и сдержанностью, составлявшими странный контраст с ее кроткими, мягкими чертами. На почти всегда опущенных, длинных, темных ресницах лежало облако печали. Молча сидела она возле своего молодого супруга, бледно-мраморное лицо которого казалось точным отражением ее собственных тайных дум.

Холодное спокойствие этой четы и их видимая отчужденность невольно производили тягостное впечатление на внимательного наблюдателя. Очевидно, что судьба соединила здесь два благородных, но в своих стремлениях и чувствах не соответствовавших одно другому сердца. Как мог Нерон, с его увлекающейся страстной натурой, порывы которой обуздывались лишь искусственными средствами, Нерон отступник, вечно терзаемый внутренними бурями и борьбой, подойти к ясно-непоколебимой, благочестивой Октавии, блаженно веровавшей в унаследованную ею религию предков и отвечавшей на все сомнения своего супруга вздохом сострадания или улыбкой уверенности и надежды?

Если же Клавдию Нерону случалось принять тяжелое решение, выказать великодушие или одержать какую-нибудь иную победу над самим собой — Октавия находила все это только естественным.

Зачем сомнения там, где все так ясно и понятно? Благородный человек и впотьмах видел здесь свой путь...

При таких речах супруги Нероном овладевала странная смесь самых противоположных ощущений: в нем закипали гнев, изумление, стыд, а сильнее всего — упрямое недовольство, по временам походившее на ненависть.

— Да здравствует император! — кричала восторженная толпа. — Да здравствует императрица, кроткая Октавия!

Нерон с глубоким вздохом посмотрел на свою юную подругу и принужденно улыбнулся...

Она на секунду подняла глаза и также со вздохом снова опустила задумчиво-усталый взор.

Действительно, она казалась ужасающе холодной.

«И такой она была всегда», — подумал император.

Даже в день свадьбы она не выказала сладкого волнения, на брачном пороге озаряющего красотой даже некрасивых девушек. Она оставалась немой и холодной, подобно пигмалионовой статуе до одушевления ее Афродитой.

Какая разница — Нерон! Зевс свидетель, что он никогда не любил ее; но все-таки, когда за ними тихо затворилась дверь спальни и он увидел перед собой свою цветущую жену, облитую волшебным,

пурпуровым светом лампы, тогда прежнее его равнодушие показалось ему безумием, и в нем вспыхнула такая страсть, какую едва ли чувствовал к Елене нежный Александр. Опустившись на золотую скамью, он бурно привлек ее к себе и с искренним увлечением прошептал:

— Будем счастливы, прекрасная Октавия, счастливы целую долгую жизнь!

Пламенными поцелуями осыпал он ее прелестное лицо, душистые волосы и белоснежные плечи...

Она же — та, о страстной к нему любви которой так часто толковала ему отпущенница Рабония, ее поверенная, — она, «нежная невеста с светлым взором лани», слушала его восторженные речи, как безжизненная мраморная статуя.

Если бы она еще сопротивлялась ему! Но и этого не было; она не разыгрывала стыдливую, но принимала его ласки без сочувствия и без малейшего волнения любви.

С этой минуты Нерон перестал верить в ее любовь. Ему казалось, что она питает к нему только расположение сестры. Сам же он не умел достаточно лицемерить, чтобы долго скрывать свой недостаток чувства к ней. Разрыв был непоправим, и они старались лишь соблюдать наружные приличия.

Позади свиты императорской четы следовал главный доверенный раб императора, тридцатилетний Фаон. Правильный, симпатичный, смелый рот придавал нечто юношеское красивому лицу этого стройного человека. По-видимому, Фаон не слишком мрачно относился к великим жизненным вопросам. Философия его подходила под мировоззрение Горация: «Наслаждайся настоящим и не рассчитывай на будущее!»

Возле главного раба шло еще пять или шесть служителей, несших украшенные жемчугом шкатулки из лимонного дерева, полные всевозможных драгоценностей, предназначенных супруге и дочерям Флавия Сцевина в подарок от императора.

Процессию завершали носилки Сенеки, окруженные многочисленными придворными и преторианцами. В носилках рядом с министром сидел начальник гвардии Афраний Бурр.

Громко приветствовал народ своих любимцев.

— Да здравствуют Диоскуры государства! — гремели тысячи голосов.

— Сенека улыбается! — заметил один старый клиент. — Пн доволен, как триумфатор! Наверное, с границы получены благоприятные вести! Его государственный талант покорила самих хаттов, которых не мог покорить меч.

— Не верь этому! — возразил ему богатырь со светлыми, как лен волосами. — Хатты так же умны, как отважны. Но они хотели поддерживать дружбу и мир с Римом, и поэтому скоро мы придем наших знатнейших вельмож для приветствий цезарю и заключения с ним договора от имени всего народа.

— И это триумф, — отвечал римлянин. — Я знал это: Сенека улыбается. О, цветущий век философии! Право, тогда все-таки еще могущественнее меча!

— Ты думаешь? — возразил германец. — Судя по взгляду Бурра я скорее убеждаюсь в противоположном.

Действительно, эти две характерные головы — глубокого мыслителя и сурового, решительного воина, для серьезного наблюдателя представляли настоящую загадку. Лицо Сенеки было бледно, спокойно, изборождено морщинами; лицо Бурра, красное, как после двадцатого кубка, было мускулисто и почти грубо; который из этих двух людей держал в своих руках судьбу империи? Сенека ли, задумавший ниспровержение тысячелетнего прошлого, или Бурр, в качестве союзника Агриппины, долженствовавший выступить его защитником?

Быть может также, в книге судеб написано было, что ни один из них не повлияет на ход грядущих событий? В таком случае самонадеянная уверенность, написанная в чертах этой столь противоположной пары, могла быть только бесконечно смешной.

Так, медленно и торжественно двигался императорский поезд по Via Sacra, направляясь к кверкетуланским воротам. Напоенный благоуханием и светом воздух уподоблялся дыханию самой весны, и казалось, что сам Юпитер ласково приветствует земное воплощение своего бесконечного могущества.

Глава VII

Флавий Сцевин встретил императорскую фамилию со свитой при входе в дом.

Пока императрица-мать, опираясь на руку Ацерронии, величаво выходила из носилок, рослые преторианцы медленно проходили под украшенной живописью аркой ворот. Не будь розовых гирлянд, обвивавших их шлемы и копья, шествие их походило бы на занятие неприятельской крепости.

Старый сенатор Флавий Сцевин невольно выразил удивление при таком неожиданном зрелище и заметившая это Агриппина, смеясь, сказала ему:

— Наши воины будут служить, кстати, и украшением твоего пира. Я люблю бряцание оружия под веселыми цветами. Прошу тебя распорядиться людьми по твоему усмотрению. Смешай их с рабами; собери вместе при играх; приставь их в виде почетного караула к наиболее достойным из твоих гостей; ты должен распорядиться ими. Они будут повиноваться беспрекословно.

Наполовину обманутый искусным притворством Агриппины, Флавий Сцевин старался убедить себя, что это была действительно лишь милостивая учтивость.

Скоро, однако, ему пришлось разочароваться. На роскошно округленном подбородке императрицы мелькнуло едва приметное насмешливое подергиванье, и выражение злобы убедило Флавия в том, о чем он должен был бы догадаться с самого начала.

Через своих многочисленных шпионов Агриппина знала, что Флавий Сцевин был отъявленным врагом ее властительных стремлений и что вместе с другими значительнейшими сенаторами, как Бареа Соран, Пизо и Тразеа Пэт, он даже неоднократно измышлял средства и способы к низвержению ее первенствующего влияния.

Не отступившая бы ни перед каким преступлением в защиту своего положения, — за что ручалось ее прошлое, остававшееся тайной лишь для Нерона и его супруги — Агриппина от своих противников ожидала такой же решительности и, вступая в логовище льва Флавия, она желала обеспечить себе благополучное из него возвращение.

Пока она, со свойственной ей величественной благосклонностью обратившись к супруге Флавия Метелле, осведомлялась о ее здоровье, хозяин дома приветствовал императора и юную Октавию. Обычай требовал, чтобы в подобных случаях римский цезарь целовал сенаторов. В эту пустую церемонию Нерон вложил такое теплое чувство, которое ясно доказало присутствующим его сыновнее уважение к Флавию. У кроткой Октавии Флавий Сцевин поцеловал руку и глаза его засияли при ласковом привете краснеющей императрицы. Октавия всегда была его любимицей. Он не подозревал ее страданий и считал ее союз с Нероном воплощением тихого счастья.

С горьким ожесточением Агриппина видела, что Флавий Сцевин и не думал отходить от молодой четы, когда Метелла обратилась к ней с приглашением войти в дом.

— Повелительница Агриппина, — сказала она, — если тебе угодно, войдем!

Несмотря на известное ей нерасположение Флавия, Агриппина тем не менее ожидала, что ее введет хозяин дома, а не Метелла, эта ширококостная, преждевременно состарившаяся дочь лавочника (в действительности же Метелла происходила из семьи одного из значительнейших судостроителей и судовладельцев Остии), плебейка, ребенком чинившая старые паруса, а теперь задиравшая нос, точно ей еще в колыбели была обещана обшитая пурпуром тога ее будущего супруга.

подавив свой гнев, Агриппина заставила себя улыбнуться и величаво прошла в двери.

Обширный коринфский атриум Флавия Сцевина был уже полон блестящей толпой именитых гостей. Сенаторы с женами и дочерьми; всадники, отличившиеся на государственной службе; верховный жрец; жрец трех высших божеств, городской префект; несколько южно-италийских крупных землевладельцев; клиенты, занимавшие видное положение, — все они пестрыми группами двигались по наполовину покрытому навесом помещению.

В нескольких шагах от атриума стоял человек среднего роста, необычайно энергичной и резкой наружности. Сверкавшие умом глаза напоминали Сенеку, но в лице и в осанке выражалось гораздо более непреклонной воли, чем у государственного советника. Эта выдающаяся личность был Тразеа Пэт, суровый судья Агриппины, пламенный патриот, возлагавший все свои надежды и упования на Нерона и вынужденный видеть, как честолюбивая императрица-мать, вопреки явному и тайному противодействию, все-таки распоряжалась существеннейшими государственными делами, поощряла продажность и разврат, раздавала влиятельные должности своим жалким креатурам и даже государственного советника терпела только потому, что односторонность его философии делала молодого императора неспособным к проявлению каких бы то ни было практических способностей. При входе императрицы-матери Тразеа Пэт едва заметно склонил голову, но на встречу молодой четы он поспешил с еще большей живостью, чем это сделал Флавий. Заключив в объятия стройную фигуру Нерона, он с благоговением трижды поцеловал его в лоб.

При виде этого благороднейшего из римлян Октавией овладело сильное волнение, грудь ее бурно вздымалась и, казалось, самообладание покинуло ее. Ее задумчиво-печальный взор скользнул по лицу супруга. Никогда еще он не был так несравненно прекрасен, и она готова была воскликнуть: «Я отдала бы все радости земные за то, чтобы в пятьдесят лет ты мог обернуться назад на такую же жизнь, какова жизнь этого Тразеа!»

После того как высокие посетители обменялись несколькими словами с избраннейшими из гостей, веселые звуки труб возвестили начало пира. Приглашенные потянулись парами в каведиум, где под темно-синим весенним небом были расставлены два длинных стола.

Вокруг дорической колоннады, на чугунных подставках горели факелы в рост человека и облака благовонного дыма мягкими волнами поднимались к уже темневшему небосклону. Наверху, на карнизе крыши, сверкали огни меньших размеров. При этом ярком освещении незачем было зажигать бронзовые лампы на роскошно убранных цветами столах. Серебряные чаши, драгоценные сосуды и изящные блюда были увиты душистыми гирляндами из роз и фиалок. Триста роскошных венков предназначались для увенчания пирующих. Лепестки роз и нарциссов усеивали пол, а колонны исчезали под зеленью плюща и аканта. Гости были размещены по местам весьма быстро благодаря проворству и ловкости главных рабов и их помощников. Из сада раздавалась нежная южно-испанская мелодия, и в то же время рабы и рабыни начали разливать из этрусских кружек в матовые кубки золотое везувианское вино.

На почетном месте, во главе левого от атриума стола, восседала императрица-мать.

Справа от нее находился Афраний Бурр, слева — хозяин дома Флавий Сцевин.

Во главе второго стола сидел император между Октавией и супругой хозяина дома. Обычного, поперечного соединительного стола, на этот раз не было.

Так как одни лишь внешние стороны столов уставлены были скамьями, внутренние же, по римскому обычаю, оставались незанятыми, то Флавий и жена его Метелла не имели соседей. Ряд гостей с одной стороны заканчивался Бурром, с другой — супругой императора.

Соседом Октавии был стоик Тразеа Пэт; возле него сидела богатая египтянка по имени Эпихарис; потом Анней Сенека, а слева от него сорокалетняя жена одного из сенаторов.

С самого начала обеда, когда подали лукринские устрицы и азиатские морские тюльпаны, Пэт вступил в беседу с молодой императрицей.

Октавия обратилась к нему с пустым, вежливым вопросом о недавних играх в цирке, приведших весь Рим в лихорадочное волнение, так как до сих пор еще не выяснилось, кто победил: Фульгур ли Тигеллина или Флава Аницета. Для решения этого мирового вопроса назначен был комитет, где выслушивались свидетели, точно дело шло об уголовном процессе. Пока все шансы были на стороне Аницета, и это тем более сердило сторонников Тигеллина, что Аницет был морским офицером. Незадолго перед этим он командовал флотом при Мизенском мысе и по особому случаю проживал теперь в Риме, где немедленно начал оспаривать всеми признанное первенство агригентца...

Тразеа Пэт улыбнулся на вопрос Октавии, точно не веря в искренность ее любопытства и отвечал таким же тоном, каким сказал бы: «Да, повелительница, погода превосходная».

Октавия рассеянно кивнула и задала второй вопрос; после нескольких уклонений разговор коснулся неистощимого предмета: императора Августа и его изумительных деяний для развития мировой империи.

В разговоре этом приняли участие Нерон и соседка Тразеа — египтянка Эпихарис. Даже сам государственный советник Анней Сенека скоро прервал пустую болтовню своей соседки слева, чтобы при случае вставлять меткие эпитафии и замечания.

Серьезное направление беседы заставило Нерона почти забыть себя и вообразить себя в рабочем кабинете дворца, где в течение последних недель философ непрерывно толковал ему о том, что жизнь состоит в отречении, обуздании страстей и исполнении долга.

При этом воспоминании, среди празднично-веселого общества, на молодого императора внезапно напало тоскливое ощущение безграничной пустоты.

В самом деле, поразительные противоречия, открывшиеся его глазам, должны были взволновать художественно-отзывчивую душу Нерона.

Здесь, на верхнем конце стола, произносили чуть ли не целые поучения из области сумрачной Стой, а там дальше раздавались шутки и смех, подобно журчанью болтливого ключа в тибурских садах.

Красивые юноши предупредительно склонялись к своим цветущим соседкам, и между этими молодыми, веселыми парочками невидимо точил свои стрелы крылатый божок.

Пожилые гости оживленно толковали о прошлом, рассказывали забавные эпизоды из их службы в Сицилии или Малой Азии, осушали кубок за кубком и, как бы в извинение себе, цитировали слова греческой застольной песни: «Nyn chre methyskein...»

А вот сидит влюбленный, вечно ревнующий Ото, буквально беспрестанно поглядывающий на свою очаровательную жену Поппею Сабину!

Она была довольно далеко от него, за столом императрицы-матери, и рядом с ней сидел опасный Тигеллин! Поппея Сабина была действительно очаровательна с ее томными глазами и милой манерой склонять набок увенчанную цветами головку. В обладании ею Ото должен был найти полное счастье, и ревность его объяснялась именно этим счастьем: чем дороже сокровище, тем больше забота о его сохранности.

Софоний Тигеллин только что сделал какое-то, должно быть, очень приятное замечание, потому что Поппея, бросив из-под ресниц взгляд лукавого сатира, после мгновенного колебания обнажила свои жемчужные зубки и разразилась таким задушевым смехом, что у ее обуреваемого опасениями супруга Сальвия Ото вся кровь бросилась в голову.

До сих пор Нерон полурассеянно смотрел на смеющуюся красавицу; теперь же взор его остановился на ней с большим вниманием.

Через двадцать лет цветущий ротик этой самой Пoppеи Сабины будет обрамлен отвратительными морщинами, лучезарные глаза покраснеют, розовые щечки иссохнут... Лицо ее станет похожим на лицо облысевшего философа — советника Сенеки...

Но тогда она по праву скажет себе: «Я насладилась всем, что мне дала эта преходящая жизнь! Я выпила чашу до дна, прежде чем безжалостная судьба вырвала ее из моих рук! Я не знала страданий из-за того, что называется идеей!»

Мысли императора, казалось, нашли себе таинственный отголосок в душе Пoppеи. Доселе всецело предававшаяся обаянию Тигеллина, она вдруг взглянула на Клавдия Нерона и встретила его печально-задумчивый взор.

Яркая краска вспыхнула на ее лице; голова, шея, даже плечи покрылись румянцем, а при мысли, что Нерон должен это заметить, она пришла в неопиcуемое смущение, изумившее Тигеллина, который шепнул:

— Госпожа, что случилось? Или прекрасная Пoppея нездорова?

Она быстро овладела собой.

— Вечный смех бросился мне в голову, — шутиливо отвечала она.

— О, я понимаю упрек, — возразил Тигеллин. — Но видишь ли, благородная Пoppея, моя должность становится такой серьезной, торжественной и возвышенной, что по временам я должен давать волю моим порывам. Смех сделался нынче редкостью в обиходе у цезаря. Если это еще продлится, то я буду поглощен бездной меланхолии или же примкну к стоикам.

— Это звучит крайне смешно.

— Ты думаешь? Но я говорю правду. Я замечаю свое духовное окостенение. Поэтому я и пользуюсь всякой возможностью и случаем, как например сегодня, чтобы помочь такой прелестной эпикуреанке, как Пoppея, в применении на практике ее житейской мудрости.

— Я эпикуреанка? Впрочем, пожалуй... Почему бы мне не быть ею? Разве жизнь наша не достаточно мимолетна? Стоит ли печалиться? Стоит ли еще сгущать ее мрак? Как жаль цезаря, которого Сенека втянул в эту пустыню! Нерон так молод и создан для счастья! Посмотри на его глубокие черные глаза! Они божественны!

— Какое воодушевление! Если бы ты думала обо мне хоть наполовину так благосклонно, клянусь Зевсом, я совсем обезумел бы от счастья и блаженства!

— Не притворяйся! — отвечала Пoppея. — Ты, общий любимец, в одном этом каведиуме насчитывающий целые дюжины приятных воспоминаний! Ты, чьи заманчивые приключения известны даже в далекой Испании и Лузитании... Но оставим этот опасный предмет! Лучше последуй дружескому совету, — потому что я тебе друг, несмотря ни на что...

— Весьма обязан! И ты советуешь мне?..

— Основательно противодействовать влиянию Сенеки и его философской бессмыслицы.

— Но как же сделать это?

— Смешно! Убеди императора, что можно быть великим правителем, замечательным мыслителем и благодетелем своего народа, оставаясь в то же время рассудительным человеком! Смотри, вот опять черты

его подергиваются дымкой печали, которую я замечаю уже не впервые. Право, если бы меня не удерживали обычаи и глупые общественные приличия, я встала бы без всяких околичностей, положила бы ему руки на плечи, и... и... утешила бы его.

— Да? А что сказала бы ты ему?

— Цезарь, сказала бы я, отчего болит твое сердце? Отчего ты не смеешься? Отчего нахмуриваешь лоб? Оглянись вокруг себя! Ты окружен молодостью, веселостью и красотой! Наслаждайся вместе с нами тем, что нам приносит крылатый час! Будь человеком среди людей! Вот что я сказала бы ему, вкрадчиво и искренно, и, внимая мне, быть может, он сообразил бы, что ведущую к вечному мраку дорогу разумнее усыпать розами, чем слушать глубокомысленные размышления своего министра и при этой чудной музыке сидеть с видом осужденного.

Тигеллин усмехнулся.

— Это была бы действительно гениальная выходка, достойная нашей прелестной Пoppей! Так презри же общество и его глупые толки! Ступай и попытайся!

— Но легче сказать, чем сделать. Ты не принимаешь в расчет гнева моего мужа. Ото распял бы меня за это... Вообще прошу тебя, золотой Софоний, не склоняй ко мне так усердно твою умащенную благовониями голову! Я вижу, Сальвий Ото уже бросил на меня свой взгляд балеарского бойца... Ты ведь понимаешь? Взгляд, равносильный балеарскому свинцовому шару! Уже на днях, в доме Пизо, он нашел, что ты слишком глубоко заглядываешь мне в глаза. А ведь ты знаешь, я позволила тебе быть только моим братом и другом...

Тигеллин нахмурился.

— Я позабыл, — насмешливо отвечал он. — Прости за минутную забывчивость. Ты была так... оживлена, говоря о Клавдии Нероне. Императору-философу, которого тебе хочется обратить на путь истины, ты, конечно, позволила бы больше, чем ничтожному агригентцу. Это я прекрасно понимаю! Каждому по чину и достоинству!

— Что такое? Что дает тебе право на эти злые замечания? Обуздай свой язык, бесстыдный человек! Хотя все привыкли многое прощать тебе, но нельзя же прощать все!

И снова устремив на Нерона полустыдливый взор, она вздохнула и мечтательно, как бы говоря сама с собой, продолжала:

— Вот разница между чистотой и испорченностью. Цезарь говорил со мной всего лишь три или четыре раза в жизни: но будь он в десять раз ближе ко мне, чем этот ужасный Тигеллин, все-таки я уверена, никогда он не принял бы такого нахального тона. Он уважает, он чувствует, он понимает. Он бог там, где вы все только бранные, рожденные из праха люди!

Между тем Нерон с каждой минутой становился все молчаливее и мрачнее. Он уже не слушал возвышенную беседу Октавии с Тразеа Пэтом. В ушах его шумели лишь волны звуков без смысла и значения, глухих и далеких, словно доносившихся из бесконечного пространства. Мысли его опять перенеслись к тому дню, когда он помиловал отпущенника Артемидора. Он снова видел очаровательную девушку с чудными белокурыми волосами и сияющими голубыми глазами. Он слышал ее сердечный голос, моливший о сострадании. Да, это была она, единственная, несравненная.

Она упала на колени перед императорскими носилками, простирая свои белоснежные руки, — он видел все это, как на картине! Вдруг прекрасный образ исчез и его заменил еще прекраснейший... О! Этот час истинного счастья! Он стоял в палатке египетского кудесника рядом с Актэ, и тот же голос звучал еще глубже и обворожительнее в его трепетавшем страстью сердце.

Актэ! Невыразимо любимая Актэ! Зачем ты исчезла так же, как появилась, подобно однодневному весеннему цветку или мимолетному дыханию эфира, умчавшемуся, едва коснувшись пылающего лба?

Странно! В это мгновение ему показалось, что наконец он нашел разгадку: она бежала от него, от любви к нему, а не к кому-нибудь другому. Она поняла его обожание и хотела избежать предстоявшей неминуемой страшной борьбы.

Он взглянул на горделивую Агриппину.

Да, неумолимая мать осудила бы его любовь!

Отпущенница, бывшая рабыня!

Она едва позволила бы ему сделать ее только своей возлюбленной, а женой — никогда. Конечно, Актэ не могла знать, на что он дерзнул бы ради нее; она не подозревала, что он не остановился бы ни перед какой жертвой, ни перед каким разрывом, только чтобы завоевать ее для себя. Безумная! Зачем скрылась она с этим загадочным «Прощайте все!» Одна строка; одно откровенное слово — и все могло бы еще устроиться.

Он думал и думал, пока им вновь не овладели сомнения. Наза-рянин-мыслитель Никодим утверждал, что бегство Актэ для него совершенно необъяснимо. Даже он не мог понять эту девушку, которую он однако знал уже давно.

Загадка так и оставалась загадкой для печального императора. Он сознавал только одно: что равнодушен ко всему миру, в котором для него существовало только одно счастливое и вместе с тем горестное воспоминание. Какая грустная, безутешная участь! Будь Актэ его женой вместо женщины, совершенно его не понимавшей и при всей своей сердечной доброте оскорблявшей его заветнейшие чувства, как благодатно расцвело бы божественное создание его царствования! Счастье и любовь были бы его вдохновенными руководителями в том, что он совершал теперь с таким трудом и усилиями, движимый лишь холодным учением своего советника и фантастическими намеками Никодима.

Да, он победил бы! Он сделался бы бессмертным творцом славной эры свободы и братства людей! Назарянское небо с его кротко-ясным примирением ведь было действительностью в глазах белокурой Актэ!

Нерон сжал рукой лоб.

Он, первый между римлянами, повелитель обширного, могучего государства, простирающегося от столпов Геркулеса до отдаленной Месопотамии, обожаемый своим народом, богатствами превосходящий царя Лидии, молодой, полный бурных жизненных сил в стремлении к всему доброму, благородному и прекрасному — каким бедным и одиноким был он на своем лучезарном престоле!

Внезапно наступившая тишина заставила его очнуться.

Веселый шум, наполнявший украшенный цветами каведиум, мгновенно замолк.

Флавий Сцевин, высоко подняв правой рукой увитый розами кубок, провозгласил тост за всеобожяемого, августейшего, счастливого Нерона.

Ловким оборотом вплетя в этот тост Октавию и императрицу-мать, он снова обратился исключительно к высокой особе императора, призывая всевозможные благоговения богов на его дорогую, лучезарную, юношескую главу. Буря восторженных кликов последовала за мастерской речью, в которой особенно ярко вырезалось то место, где оратор произнес: «Нерон, Октавия, а за ними благородная мать, воспитавшая образец таких превосходных качеств».

Приверженцам Сцевина, враждебным императрице-матери, это за «за ними» показалось верхом

ораторского искусства. В этих словах чувствовалось весьма прозрачное напоминание гостям и вообще всему Риму о необходимости деятельной поддержки противников Агриппины для освобождения Нерона от чрезмерного влияния честолюбивой и тиранической женщины.

В то же время это был первый после долгого промежутка ясный намек по адресу Агриппины, приглашавший ее к добровольному отречению от того, что римляне находили невыносимым игом. Теперь же этот намек имел еще другую цель.

В начале следующей недели в сенате назначено было важное политическое совещание.

Дело шло о раздоре с соседним германским племенем хаттов и легко могло привести к объявлению войны, несмотря на старания римского коменданта крепости Могунтии по возможности удовлетворить справедливым требованиям германцев.

Все надеялись, что из прямодушной речи Флавия императрица поймет общее желание видеть в сенате императора одного и освобожденного от ее опеки.

Оглушительные клики смолкли. Призвав на помощь все свое самообладание, Агриппина принудила себя улыбнуться, в то время как глаза ее метали пламя страшной ненависти. Каждый из гостей вылил в жертву богам по несколько капель ароматного вина, после чего с новой силой раздались возгласы:

— Да здравствует цезарь! Да здравствует всеобожаемый, счастливый!

Медленно встав, Нерон молча благодарил гостей движением руки; искренность этих проявлений тронула его до слез, и он не мог овладеть своим волнением. Но слезы его были вызваны чем-то иным, неизмеримо далеким от шумного праздника: то было воспоминание о светлом образе цветущей девушки, горячо любимой и потерянной навеки.

Глава VIII

Пир кончился. Гости во главе с Метеллой, сопровождавшей императорскую чету, направились в парк через широко раскрытые внутренние покои.

На просторной площадке, как раз позади дома горели бесчисленные канделябры под красноватыми стеклами. Дальше, вверх по холму, в волшебном полусвете мерцали аллеи громадных деревьев, обсаженные лаврами, анемонами и акантом.

Гости разделились на оживленные группы, приветствуя еще не примеченных друзей и подставляя разгоревшиеся лица приятному ветерку, приносившему с цветочных клумб волны благоуханий. Всем было приятно освобождение от обеденного церемониала, и всякий спешил отдохнуть и собраться с новыми силами для наслаждения тем, что еще было впереди.

Прекрасная супруга Ото, Поппея Сабина, опершись роскошной рукой на плечо своей компаньонки, финикианки Хаздры, медленными шагами направилась к парку.

— Уж пора было нашему амфитриону отпустить нас, — глубоко вдыхая прохладный воздух, сказала она. — Какая чудная ночь!

— Чудная, как сновидение! — прошептала страстная Хаздра.

— Что с тобой, дитя? Ты дрожишь?

— Я видела его...

— Кого? Твоего преторианца?

— Моего божественного Фаракса! Пока мы сидели за столом, он два раза прошел по каведиуму.

Поппея засмеялась.

— Неужели же это правда? — с изумлением спросила она. — Моя хорошенькая куклолка, маленькая, гибкая финикианка действительно влюбилась в солдата? И еще в такого колосса? Клянусь Эросом, я предполагала в тебе лучший вкус, Хаздра!

— А я, госпожа, клянусь тебе Мелькартом, богом моих отцов, что никакой смертный не может сравниться в благородстве с очаровательным Фараксом.

— Ты влюблена и потому безумно было бы осуждать твоего Фаракса. И я также вполне уверена, что ты вышла бы за него замуж, будь он хоть раб или палач. Если уж ты себе заберешь что-нибудь в голову...

— Да, госпожа, это так. Я безрассудное создание, и меня изумляет то, что ты еще терпишь меня, несмотря на мои ошибки и глупости.

— Я достаточно зорко смотрю, чтобы маленькая варварка исподтишка не перещеголяла меня, вообще же мне нравится твоя бурная натура, при случае прикрывающаяся оболочкой кротости и добродушия. Я ведь знаю, что ты любишь меня и что в нужде я могла бы смело положиться на тебя.

— Моя жизнь принадлежит тебе! — воскликнула Хаздра.

— Благодарю. Но скажи, имеешь ли ты доказательства взаимности божественного Фаракса?

— Да, госпожа. Недавно, когда я случайно встретила с ним...

— Он посмотрел на тебя, как британец на Капитолий. Это я уже знаю. Но по-моему этого мало.

— По-моему, также. Сегодня, однако, он бросал на меня такие взоры...

— Как по крайней мере три британца! — засмеялась Поппея.

— Даже больше того. Он велел одному из слуг передать мне полоску папируса...

— Дерзкий!

— Истинная любовь всегда смела, — возразила финикианка. — Вот, благороднейшая Поппея, прочти и скажи мне твое откровенное мнение!

Поппея взяла записку и при мерцающем сиянии светильника разобрала следующее:

— Ну что ты скажешь? — прошептала Хаздра.

— Он делает тебе предложение, — равнодушно отвечала Поппея.

— Ты думаешь, его намерения честны?

— Несомненно. Если ты этого желаешь, тебе стоит только сказать да. Но все-таки я полагаю, что хорошенькая Хаздра, подруга Поппеи, размыслит, прежде чем выйдет замуж за такого плебея.

— Ничуть! — вскричала финикианка, пряча записку. — Лучше сегодня, чем завтра! Плебей! Что мне до его происхождения, когда он сам волнует мое сердце?

Первобытная пылкость девушки тронула холодную натуру Поппеи.

— Мечтательная дурочка! — насмешливо сказала она.

— Какая я есть, такая я и есть, — возразила Хаздра. — И я не понимаю, как может говорить так Поппея, сама знакомая с любовью. Конечно...

— Ну, кончай же!

— Я боюсь, ты сердишься на меня...

— Могла ли ты когда-нибудь упрекнуть меня в мелочности? Говори!

— Хорошо. Я хотела сказать, что я, Хаздра, понимаю любовь иначе, чем Поппея Сабина. Ты любишь твоего супруга Ото, но ты также слушаешь любезности Тигеллина, Кая и Люция, Тита и Тация... Вот это, светлейшая Поппея, для меня было бы невозможно; я могу любить только одного, а другие для меня не существуют.

— Ты можешь любить только одного, — глухо прошептала Поппея. — Хаздра, дитя, клянусь богами, я не знаю, жалеть ли мне тебя или завидовать тебе. Я не люблю никого, никого, даже цезаря, которого хочу покорить...

— Как понимать твои слова?

— Ты должна узнать все, так как ты можешь мне понадобиться раньше, чем ты ожидаешь. Видишь, Хаздра, во мне живет только одно желание: первенствовать. Сначала над женщинами. Я хочу быть прекраснейшей между ними и возбуждать общую зависть. Этого я уже достигла. Весь Рим у моих ног. Я не пренебрегаю никакими стараниями для того, чтобы сохранить и еще возвысить дарованную мне природой красоту...

— Это я знаю. Ты употребляешь драгоценные притирания, маски из теста, молочные ванны... И я знаю также, что ты прекраснейшая из прекрасных. Одна только императрица Октавия, быть может, могла бы поспорить с тобой, если бы не ее вечная бледность, сдержанность и молчаливость.

— Октавия! Не произноси этого имени! Знаешь ли ты, почему я вышла за Сальвия Ото? Из любви? О, младенческая простота! Я рассчитывала приблизиться через него к его другу-императору и овладеть его сердцем, отодвинув на задний план бледный призрак Октавии... Тише! Вот идет Софоний Тигеллин с

Ацерронией. Завтра ты узнаешь больше. Мне незачем предписывать строжайшее молчание моей умной Хаздре.

Они повернули к дому, между тем как агригентец с Ацерронией прошли в парк в стороне от них.

— Скажешь ли ты наконец в чем дело? — нетерпеливо спрашивала фрейлина императрицы-матери. — Что? Идти с тобой в вязовую аллею? Ни за какие сокровища Лидии! Агриппина и то будет удивляться...

— Агриппина занята горячей беседой с Сенекой, а уж кого он захватил в свои философские когти...

— Философские когти лучше когтей хищника. Ты коршун, Софоний. Я тебе ни на волос не доверяю. Признайся, что удивительная тайна, которую ты хотел сообщить мне, была пустым предлогом!

— Выслушай и суди сама! Даллас, твой прежний Паллас...

— Мой Паллас? Советую тебе припрятать такие выражения для тех, кому они могут нравиться; например для Пoppеи Сабины...

— Ага! Ты ревнуешь...

— Я? Да разразит Юпитер свои громовые стрелы над твоей пустой головой! Я ревную? Уж не к тебе ли, всесветному глупцу, бегающему за каждой юбкой? Для меня ты такой же чурбан, как Макк в ателланских играх! Ну, так что же этот Паллас, до которого мне так же мало дела, как тебе...

— Да? Краснокудрой Ацерронии нет дела до Палласа? О, ты невинность! Как будто вся Италия, со всеми ее островами, не знает о вашей тайной помолвке!

— Это бессовестная ложь! Кто это говорит? Назови мне сплетника, чтобы я могла привлечь его к суду!

— Но ведь ты не будешь опровергать...

— Назови мне негодяя! — яростно повторяла она.

— Это он сам...

— Как он сам? — прервала она его в волнении, не замечая, что без всяких лидийских сокровищ уже вошла за хитрым агригентцем в темную аллею.

— Он сам, — продолжал Тигеллин, неожиданно с непреодолимой силой привлекая ее к себе, — он сам хотя еще не испытал, как целуют губы рыжей пантеры, но твой превосходный друг Тигеллин желал бы наконец лично сделать этот опыт... Не сопротивляйся, прекрасное дитя! Ведь я знаю, что Ацеррония смертельно влюблена в меня.

— Войдем по крайней мере в кусты, — покорно сказала она. — Так вот смысл твоих речей! А история про Палласа...

— Была только предлогом, — прошептал Тигеллин. — Пойдем и не шуми! Еще один поцелуй, моя голубка. Вот так, прелестно! Скажи теперь, что ты хочешь быть счастливой со мной хотя бы один блаженный, мимолетный день. Говори же, очаровательная пантера! Я люблю тебя безгранично!

— Да, — прошептала Ацеррония.

— Какое счастье даешь ты мне! — восторженно воскликнул агригентец.

Приподняв обеими руками ее пылавшую голову, он сразу после банальных нежностей опытного соблазнителя вдруг получил полновеснейшую из пощечин, когда-либо достававшихся на долю этого нахального волокиты.

В то же мгновение вырвавшись от него, Ацеррония с проворством хорька бросилась бежать в

освещенную часть парка.

— Маленькая бестия! — усмехнулся агригентец. — Такой же понятный мимический язык, быть может, избавил бы бедную Лукрецию от самоубийства. Отвратительно! Я не получал такой затрещины с тех самых пор как вышел из школы. Но все равно. Я ей дам себя знать! Как раз теперь она меня и манит, а ее поцелуи, даже если и принужденные, все-таки удивительно походили на искренние...

Напевая греческую застольную песню, он медленно последовал за своей удивительной собеседницей.

Между тем Ацеррония присоединилась к первой попавшейся ей группе, центром которой был начальник мизейского флота Аницет. Разговор, естественно, шел о спорной скачке между Фульгуром Тигеллина и превосходной чистокровной кобылой моряка.

«Аницет, — хотела было вскричать разъяренная Ацеррония, — я дала богам великий обет, если они решат спор в пользу твоей прекрасной Флавы!» Но слова замерли на ее губах, она произнесла только имя Аницета и, когда он вопросительно взглянул на нее, прибавила тихо:

— Разве судьи уже вынесли приговор?

Все улыбнулись, даже отпущенник Артемидор, скромно стоявший тут же рядом с рабом Милихом. Внезапное вмешательство рыжеволосой испанки действительно вышло очень неловко; всем было понятно, что произнося эти слова, она хотела сказать что-то совершенно другое.

Спорное состязание между Фульгуром Тигеллина и Флавой Аницета было известно во всех подробностях последнему рабу семихолмного города и все с таким лихорадочным нетерпением ожидали решения знатоков, что быстроглазая Ацеррония тотчас смекнула свой промах. Вопрос ее должен был быть принят или за недостаток такта, или же присутствующие вывели коварные заключения из ее видимого замешательства.

Но никто не знал, что же так внезапно напугало ее...

Странное, загадочное видение пробудило ужас в сердце обыкновенно столь смелой пантеры.

Аницет стоял, прислонившись к статуе Помоны. Когда Ацеррония произнесла его имя, ей почудилось, что глаза его закрыты, как у мертвого, из густых волос струится зеленоватая вода, а широкий нос и полуоткрытый рот как бы застыли в предсмертной судороге. Помона же, величественно возвышавшаяся позади него, приняла черты лица Агриппины.

Ацеррония поспешно отступила; через мгновение страшное видение исчезло, оставив дикий ужас в сердце девушки, тотчас же решившейся обратиться за истолкованием и советом к египтянке Эпихарис, известной своим искусством во всевозможных предсказаниях.

— Я не вижу в этом ничего дурного, — улыбнулась Эпихарис. — В течении года, ты с твоей царственной повелительницей Агриппиной совершишь особенно блестящее морское путешествие, в котором начальник флота Аницет будет играть роль Посейдона, охраняющего и благополучно приводящего вас в гавань. Быть может, вас застигнет буря, но ты ведь видела сама, что ярость ее была все-таки не в силах свергнуть гордую Помону, императрицу-мать, освежающую всех нас своими плодами.

— Благодарю тебя! — вежливо сказала Ацеррония. — Но все-таки тайное смущение не совсем покинуло меня. Этот страшный Аницет...

— Человек в высшей степени образованный, — прервала ее Эпихарис. — Кто знает, Ацеррония, чем было вызвано твое видение? Любовь порождает иногда странные призраки.

— Любовь?

— Ну да! Сейчас шла речь о его горячей, страстной любви к тебе, а нынче ведь мужчины начинают любить, только когда они достаточно уверены во взаимности.

— Помогите мне, боги Лациума! Я, я... Нет, это неслыханно! Вот попалась между Сциллой и Харибдой! Здесь Тигеллин, там Аницет! Один — легкомысленный вдовец, другой — женатый человек! Один дерзок, как нищий возле цирка, другой — пронирлив и хитер, с широким как у эфиопа носом! Так это-то ваша знать, ваше несравненное римское общество? Ну, право, я предпочитаю солдата из преторианской гвардии! Например, вот этого, что разговаривает теперь с противной Хаздрой...

— Неужели?.. — улыбнувшись, спросила египтянка.

— А почему бы нет? Во всяком случае, он наполовину меньше изолгался, чем любой знатный римлянин и, конечно, в тысячу раз интереснее этого последнего!

— Разве ты знаешь его?

— Да, узнала случайно. Его зовут Фаракс, и он явный любимец императрицы.

— Октавии?

— Что за вздор! Говоря об императрице, я всегда подразумеваю одну Агриппину.

Тонкая ироническая улыбка пробежала по губам Эпихарис.

Громкие звуки рогов, к которым присоединился веселый сицилианский плясовой мотив, прервал их беседу.

— Пойдем на наши места! — сказала египтянка.

В сопровождении приблизившегося к ней государственного советника, она направилась к овальной, усыпанной песком арене.

Пиршество в перистиле было не особенно продолжительно. Так называемый конвивиум, комиссацио, — веселое продолжение его, сопровождаемое оживленной беседой, должно было происходить здесь, в более непринужденной, но зато изысканнейшей форме. Сцевин приказал воздвигнуть под своим знаменитым столетним кленом особую трибуну, с перил которой свешивались голубые индийские ковры с золотыми шнурами и кистями.

Направо и налево от этой роскошной ложи, подобной императорской ложе в цирке, правильными полукругами шли обитые мягкими подушками седалища для остальных зрителей. Вне этой, почти замкнутой, круглой площадки, недалеко от средней аллеи сада, для тех из гостей, которые предпочитали бродить по благоухавшим весной дорожкам парка и заглядывать на арену лишь во время исполнения особенно великолепных номеров, были расставлены красивые бронзовые стулья с ярко-красными кожаными подушками, полукруглые диваны и мягкие софы.

Перед каждым местом, на драгоценном моноподиуме с подставкой из слоновой кости, стояли чаши с золотыми ободками, свежие венки, по корзиночке с пицентинским печеньем и по дроковой плетенке, полной ионийских фиг и кампанского миндаля.

Рабы в цветных одеждах беззвучно скользили между гостей, наполняя их кубки и с услужливой поспешностью предупреждая их малейшие желания. По обе стороны императорской трибуны почетным караулом выстроился отряд преторианцев и в числе их Фаракс, умное лицо которого выгодно выделялось среди заурядных физиономий его товарищей. Остальные гвардейцы скромно и, по-видимому, без всякой задней мысли разместились где попало, или еще оставались в обширном триклиниуме, где Милих, главный раб Флавия Сцевина, угощал их номентинским вином.

Спустя пять-шесть минут из палатки вблизи постикума на арену вышла прекрасная арфистка Хлорис и,

звучно ударив по струнам, запела греческий гимн. Гости слушали ее не слишком внимательно; только небольшая часть их успела занять свои места, и между ними, конечно, были императрица-мать и серьезная Октавия.

Но и они казались рассеянными. Молодая императрица вопросительно смотрела на своего супруга; он стоял с агригентцем далеко в стороне, прислонившись к стволу пинии и не выказывал ни малейшего желания занять приличествовавшее ему место между матерью и супругой.

Бедная Октавия теперь заметила, что в последние дни Нерон казался более обыкновенного расстроенным, печальным и как бы обуреваемым внутренней борьбой...

Если бы он только захотел открыть свое сердце ей, так много его любившей! Но он не допускал в ней проявления участия к его печали и когда, не подозревая о ее причине, она благочестиво советовала ему прибегнуть к богам, чело императора омрачалось еще больше, а на лице мелькало выражение уничтожающего презрения или мрачной ненависти.

Неужели он действительно враг богов? Или ей суждено было вызывать его неудовольствие каждым своим словом, хотя бы произнесенным с самыми благими намерениями? Неужели она была тяжелым бременем, препятствовавшим юному мощному орлу взлететь в ясную высь довольства и счастья? Слезы навернулись на ее глаза. Занятая своими мыслями, она не видела, что все еще смертельно бледная Агриппина сидела, подперши голову рукой и тихо шевеля губами. Тост Флавия Сцевина, подобно разъяренному скорпиону, язвил ее честолюбивое сердце, и, смертельно оскорбленная, она уже измышляла отмщение. Ее по временам улыбавшийся рот и трепетно раздувавшиеся ноздри уже выражали отвратительное торжество. Но когда к ней подошел Бурр, лицо этой бесподобной актрисы просияло. Начальник преторианцев не должен догадываться о поглощавших ее мыслях.

— Ты прав, Бурр, — милостиво сказала она. — Эта девушка — большой талант. Я была совершенно увлечена потоком ее мелодии... Но вот она уже кончила!

Кругом раздались рукоплескания; арфистка вежливо поклонилась, но не ушла в палатку.

Теперь площадка была полна зрителей; только человек сорок еще гуляли в одиночку и парами по аллеям, или, беседуя, сидели в отдалении от общего круга.

К этим последним принадлежал и Ото, нежно, но ревниво сжимавший руки своей жены Поппеи и упрекавший ее в чрезмерной благосклонности к человеку с такой дурной славой, как Софоний Тигеллин.

— Ты знаешь, я доверяю тебе, хотя, быть может, это и безумно, ибо сердце женщины подобно облачку, гонимому южным ветром. Оно меняется каждую минуту. Но ты, сладчайшая Поппея, умеешь смотреть так кротко, так обворожительно, что я совершенно теряю рассудок и, вопреки благоразумию, считаю тебя непоколебимо верной мне.

— Вопреки благоразумию, говорит мой обожаемый Ото! — лукаво произнесла она, бросив на него такой волшебный, лучезарный взгляд, что он едва мог удержаться от страстного желания заключить ее в свои объятия.

— Дивная, роскошная роза, — с горячей любовью прошептал он, — не безрассудно ли проводить этот божественный вечер в шумной толпе, вместо того чтобы наслаждаться счастьем в сладкой тиши нашего дома? О, Поппея, глядя на твой улыбающийся ротик, на твою стройную фигуру, я всегда вспоминаю Елену, повсюду возбуждавшую бури страстей...

— Неудачное сравнение! Елена была потерянное создание...

— Ты права. Сравнение неудачно. Я должен был бы сказать: ты прекрасна, как Елена, и верна, как Пенелопа. Но именно поэтому, дорогая, я избегаю даже малейшего повода сомневаться в тебе. Я не могу

переносить, когда ты так многозначительно смотришь на такого известного негодяя, как агригентец. Я знаю, он любезен, умеет льстить и в то же время казаться почтительным, а это так нравится женщинам. Неправда ли, из любви ко мне, ты обещаешь избегать его впредь? Уж лучше старайся произвести впечатление на императора Нерона.

— Ты говоришь серьезно? — спросила пораженная Прппея.

— Совершенно серьезно. Постарайся развеселить его! Заставь его полюбить жизнь! Оттесни от него ужасного Сенеку! Вот это можно было бы назвать заслугой!

Вся вспыхнув, молодая женщина покачала головой и задумчиво опустила свои светло-серые глаза.

— Поппея не навязывается, — проговорила она. — Если бы мое общество нравилось цезарю хоть на половину столько, сколько твое, я высоко оценила бы это преимущество. Но увиваться около него, как мотылек около огня, — нет, дорогой Ото, для этого я слишком горда и... равнодушна...

— Ты забываешь, что я всегда считался его другом и знаю его с детства...

Серебристо-звучные струны арфистки Хлорис зазвучали снова и на этот раз к ним присоединился ее мягкий голос. Все разговоры смолкли.

Чудно пела эта гречанка в светло-желтой одежде, прозванная золотой молодежью Рима «родосским соловьем». И с какой благородной осанкой стояла она, держа в правой руке плектрум, а в левой подвязанную бледно-желтыми лентами девятиструнную арфу, с желтыми розами в черных, как ночь, волнистых волосах! Это была фигура гомеровских времен!

В противоположность торжественному, громкому гимну, она пела теперь меланхолическую, жалобную песнь, в звуках которой слышались рыдания об утраченном счастье.

Мелодия эта произвела потрясающее впечатление; испорченное, развращенное до мозга костей, за минуту перед этим весело смеявшееся, шутившее и с увлечением предававшееся любовным интрижкам, общество мгновенно смолкло.

Пьяный сенатор с уродливым лицом фавна, в собраниях на капитолийском холме при каждом удобном случае напоминавший об уважении и страхе к бессмертным богам, а теперь только что шептавший фривольные намеки своей, сидевшей подле него, четырнадцатилетней племяннице, внезапно оборвал грязный разговор и со стоном откинулся на подушки, как будто услышав страшное предостережение с высот Олимпа.

Нарумяненная кокетка, назначавшая сегодня уже четвертое свидание, тщетно старалась оставаться глухой и равнодушной к мягкому и в то же время звучному голосу, певшему о самом заветном и священном чувстве человеческого сердца. Бесстыдные, пресыщенные юноши, среди плебейских гетер чувствовавшие себя гораздо более уместно, чем в своем семейном кругу, никогда не заглядывавшие в зал суда, но не пропускавшие ни одной пантомимы, ни одной оргии у модных львиц полусвета, — невольно смягчили свой нахальный взгляд и прекратили язвительное перешептывание, которым дерзко встретили появление молодой арфистки.

Короче, ее торжество было полным. С тех пор как она ступила на почву Италии, она никогда еще не пела так вдохновенно; и когда по окончании ее чарующей песни отпущенник Артемидор, по приказанию своего господина Флавия Сцевина встав на колени, подал ей золотой венок, присутствующие разразились восторженными рукоплесканиями и громкими возгласами одобрения.

— Сладчайшая Хлорис, — шепнул Артемидор так тихо, что его слышала лишь одна прелестно зарумянившаяся девушка, — возьми и скажи, что тебе дороже — этот драгоценный венок или мое страстно бьющееся сердце?

— Твое сердце, ты ведь это знаешь! — прошептала певица.

И принимая роскошный дар, она тихонько пожала руку затрепетавшего от восторга Артемидора.

— Какое неизмеримое счастье быть так любимым! — тихо произнес он, изящным движением поднимаясь с колен. — Прежде чем кончится год, она будет моей! А я думал, что мне суждено умереть вдали от нее! Вдали от нее! Эта мысль была ужаснее самой смерти.

— Какой красавец этот Артемидор! — шепнула восемнадцатилетняя жена сенатора своей ровеснице-соседке. — Жаль, что он не свободный по рождению!

— Почему же?

— Кажется, понятно почему...

— Что касается меня, то если бы мне пришлось выбирать между ним и прославленным Софонием Тигеллином, конечно, я предпочла бы Артемидора...

— В самом деле?

— Без всякого сомнения. Ты ведь понимаешь меня? В качестве мужа или даже постоянного... друга, Тигеллин был бы мне приятнее. Но при случае, как мимолетная прихоть... И к тому же, сознайся сама, ведь всякие предрассудки бессильны перед увлечением. А если супруг и поймал бы нас, то, в сущности, ведь ему все равно, благородный наш возлюбленный или нет.

Бесстыдные женщины засмеялись циничным смехом, исказившим их красивые, молодые лица.

Хлорис же, счастливая сознанием своего артистического триумфа и еще более — любви Артемидора, трижды поклонилась на все стороны и, обратившись к оживленно рукоплескавшей ей императрице-матери, воскликнула по-гречески:

— Да сохранит Зевс мать отечества! — после чего скрылась в палатку, уступив свое место двум гордым бойцам-атлетам.

Прежде еще чем раздались оглушительные звуки духовых инструментов, которые должны были сопровождать борьбу, Нерон отошел от Тигеллина. Песня гречанки жестоко растравила рану его изболевшейся души.

Нетерпеливым движением руки остановил он двух своих молодых друзей, намеревавшихся следовать за ним.

— Невероятно! — сказал один другому. — Даже здесь, в празднично разукрашенном саду Флавия Сцевина, он не может стряхнуть свою мрачность. Клянусь Эпоной, право, пора уже подставить ногу отвратительному Сенеке. В двадцать лет обладать рассудительностью и холодностью Зенона — это ни на что не похоже! Какую метафизическую задачу решает теперь этот мечтатель, если даже мы, самые воздержанные из его друзей, в тягость ему?

Да, цезарь решал метафизическую задачу и решал ее не в теории, а на практике: задачу настоящей, искренней любви, не способной дать ответа рассудку на вопрос: почему ты прилепился всеми силами души к девушке, едва мелькнувшей пред тобой и навеки исчезнувшей, между тем как вокруг тебя, подобно ожидающим садовника розам, цветут женщины такие же прекрасные, а быть может, и прекраснее ее? Почему всеми желаниями твоими владеет бывшая рабыня, в то время как у тебя есть подруга — Октавия, благородные черты которой все скульпторы Рима признают божественными?

Сама арфистка Хлорис, так глубоко потрясшая сердце Нерона, несомненно была красивее Актэ.

И все-таки цезарь оставался нечувствителен к ее красоте. Волшебные чары ее искусства вызвали в

нем с удесyтеренной силой одно лишь мучительно-сладкое воспоминание со всеми его подробностями. Нерон не владел собой. Он должен был бежать от этого блестящего и оглушительно-шумного собрания, он должен был усмирить бурю, весь день непрерывно бушевавшую в его груди.

Гости, наверное, заметили бы его волнение, его слезы, теперь свободно катившиеся по его щекам, — а этого не должно быть. Он — цезарь, он должен уметь обуздывать не только парфян или хаттов, но и свое собственное я, со всеми его страстными, безумными порывами.

Ветер тихо и успокоительно шелестел верхушками деревьев, словно напевая колыбельную песню. Здесь скоро уляжется бурная страсть, ураганом кипевшая в его груди. Приди, священная, мирная ночь! Накинь твой темный плащ на страдания твоего любимца! Дай ему спокойствие, если уж счастье недоступно ему!

Глава IX

Незаметно для самого себя Клавдий Нерон углубился в темные аллеи.

Луна в своей первой четверти матово-серебристым светом обливала посыпанные песком дорожки, обсаженные здесь более молодыми и низкими деревьями.

Вдруг император вздрогнул. Позади лавров, мимо которых он шел, погруженный в свои думы, что-то зашевелилось, и, когда, прислушиваясь, он остановился, в кустарниках раздались человеческие шаги.

Клавдий Нерон был безоружен, а у монарха, даже самого лучшего, всегда есть тайные враги, ненавидящие его до глубины души и не пренебрегающие никакими средствами для его уничтожения. Но царственный юноша, в сознании всеобщего к себе доброжелательства, а еще более, быть может, благодаря врожденному мужеству, не ощутил ни малейшего смущения.

— Стой! — крикнул он тоном сдержанной угрозы. — Кто бы ты ни был, я, твой император, повелеваю тебе выйти сюда!

В кустах затихло.

— Ты слышал? — повторил цезарь. — Не упорствуй! Одно мое повеление — и ты будешь окружен, как зверь на облаве!

— Всемогущий цезарь, — прошептал трепещущий женский голос, — не гневайся на мою медлительность!..

— Актэ! Ты! Ты! — в безумном восторге воскликнул император. — Ты здесь? Во плоти? Живая?

Стройная фигурка осторожно высвободилась из кустарников. В следующий момент она уже была в объятиях цезаря, осыпавшего страстными поцелуями ее блаженно улыбавшиеся губы, словно одной этой минутой он хотел вознаградить ее за все прошлые муки.

— Актэ! — повторял он. — Божественная Актэ, неужели это действительно ты?

Он говорил словно в забытьи и недоверчиво, как будто считая все это одним лишь мимолетным сновидением.

Сначала она в сладком молчаливом оцепенении отдавалась его ласкам, не находя в себе силы к сопротивлению.

Наконец, стыдливо зардевшись, она оторвалась от его уст, но совсем освободиться из его объятий не хотела и не могла. Плающая голова ее склонилась на плечо бесконечно любимого человека, чей образ она все эти месяцы носила в своем сердце с такой мучительной тоской.

Его жаркие губы прильнули к ее волнистым белокурым волосам, отливавшими золотом и серебром при свете луны.

Ему казалось, что после долгого отчаянного скитания по пустыне наконец он нашел цветок, благоухание которого должно было вернуть ему здоровье и жизнь.

Вдруг она отстранила его.

— Повелитель, ты бесчестишь себя! — почти безумно шепнула она. — Знаешь ли, что ты сделал? Ты, владыка мира, поцеловал рабыню!

— Да, да, я поцеловал Актэ! Я хотел бы крикнуть это всему свету с вершины Капитолия. Я был счастлив впервые с тех пор, как дышу!

— Счастлив, — правда ли это? — с лучезарным взглядом спросила она. — О, как чудно звучат эти слова! Но все равно! Если это и счастье, то оно позорно и греховно. Позорно — ибо я отпущенница и недостойна тебя. Греховно — ибо у Клавдия Нерона есть благородная, великодушная супруга, чье сердце разбилось бы, если бы она узнала о его вероломной измене!

— Октавия! — с невыразимой горечью воскликнул Нерон. — Я не выбирал ее: я принес безрассудную жертву государственному благу и желаниям моих советников. Но клянусь тебе, никогда не уступил бы я им, даже если бы сама Агриппина, моя светлейшая мать, на коленях молила меня, если бы только я мог угадать, где я встречу единственную обожаемую мной девушку! Актэ, как упорно разыскивал я тебя! Мои люди обшарили весь Рим! Сколько раз я лично расспрашивал о тебе твоего друга Артемидора! Все напрасно! Скажи, где же была ты? Зачем допустила ты любящего тебя человека потерять всякую надежду и тупо отдаться участи, которую едва ли теперь возможно изменить?

— Цезарь, я повиновалась голосу моей совести. При первом взгляде на тебя я почувствовала, что ты овладел всем моим сердцем и душой! Но в то же время я знала, что это безумие: простому полевому цветку стремиться к солнцу, сияющему в недостижимой эфирной высоте. Я полюбила тебя страшно, сильнее всяких слов...

Она снова на мгновение приникла к его плечу.

— Ты знаешь, повелитель, я христианка, — с достоинством выпрямляясь, продолжала она. — Наша религия и возлагаемые ею на нас обязанности тебе знакомы уже через Никодима и твоего советника Сенеку. Как христианка, я должна была бежать, ибо мы ежедневно просим Господа: «Не введи нас во искушение». В деле обращения, задуманном моими единоверцами, Никодим предназначил мне слишком опасную роль. Он говорил, что братья и сестры любили меня больше, чем других, за мое красноречие и умение убеждать людей. И я должна была найти доступ к сердцу сомневавшегося цезаря. Он, быть может, остался бы глух к серьезным увещаниям мужчин, и надо было приготовить его к принятию спасительной веры. О, повелитель! С самого начала я сознавала всю ложность этого пути, и все противоречие поступков Никодима с учением кроткого Искупителя, воспрещавшего смешивать мирские дела с делом религии. Окончательно убедившись в твоём опьяняющем, неотразимом очаровании, я твердо решила бежать, хотя бы это стоило мне жизни. Один блаженный час в палатке египтянина ясно доказал мне, что я стою на краю гибели, и я бежала далеко от твоего пленительного образа, на север, в Фалерию, где сделалась служанкой у честных арендаторов.

Клавдий Нерон задумчиво смотрел на ее освещенное луной лицо.

— Но как явилась ты сюда? — после короткого молчания спросил он.

Актэ опустила глаза.

— Повелитель, ты заставляешь меня стыдиться; но я могу признаться и в этом. Уже целую неделю живу я в Риме. Одна знатная дама, случайно увидавшая меня проездом через Фалерию, возымела ко мне симпатию, и так как мне давно уже наскучило однообразие моей жизни, то я с благодарностью приняла предложение богатой сицилианки сделаться ее спутницей и чтицей. С ней приехала я сюда, а завтра ранним утром мы отправляемся в Капую по Аппианской дороге.

— Все это не объясняет мне нашей встречи в парке Флавия Сцевина.

— Ты не догадываешься? — застенчиво прошептала Актэ. — Я знаю через Артемидора, что ты, повелитель, будешь сегодня в гостях у Флавия Сцевина. Артемидор отворил мне калитку, ведущую сюда с вершины холма, и уже целый час я брожу по парку. Я хотела еще раз увидеть черты моего повелителя, прежде чем навеки обречь себя на безутешное одиночество.

— Так Артемидор знал, где ты? — с изумлением спросил император.

— Да, повелитель! Я давно дружу с ним; его господин, Флавий Сцевин, провел два лета на берегу Остии, где и у Никодима был дом. Я знала, что Артемидор встревожится об исчезнувшей Актэ гораздо больше, чем все другие. Поэтому я написала ему, что устроилась хорошо, и однажды, когда господин послал его по делу в Куру, он сделал крюк и навестил меня в Фалерии.

— Так вот его благодарность мне за спасение от смерти! — с горечью воскликнул Нерон. — Десять раз спрашивал я его: «Где Актэ?» и десять раз он уверял меня, что это ему совершенно неизвестно!

— Он поклялся мне молчать и знал о моих причинах!

— Он плут. Он обязан быть честным перед своим императором, спасшим ему жизнь. Когда я подумаю, что я потерял благодаря ему и его лжи, я готов собственноручно задушить его!

Молодой цезарь выпрямился, его уста грозно трепетали. Все муки последних недель, печаль о разбитой любви, грызущее душу недовольство выпавшей ему участью — играть роль властителя под вечным давлением людей и нравственных правил и втайне покровительствовать религии, которая теперь, воплощенная в образе Никодима, казалась ему почти ненавистной, — все эти чувства волновались, бушевали и боролись в его тяжело вздымавшейся груди.

Что это за благочестивая община, бремя за бременем нагромождавшая на его плечи и делавшая из Актэ орудие коварной интриги?

Ему неизвестны были кроткие, смиренные христиане, набожно собиравшиеся вокруг своих старшин, чтобы слушать предания о словах и деяниях Спасителя, исцелявшего слепых, утешавшего печальных, поучавшего народ с горы или мальчиком опровергавшего в храме ученых законников... Цезарь знал только хитрого фанатика, проповедовавшего, казалось, лишь одно — то, что всякие, даже самые низкие, средства годятся для достижения возвышенной цели.

Глубоко возмущенный император с равным ожесточением упрекал теперь и Артемидора за его братское покровительство Актэ, и Никодима за то, что он так бессовестно рисковал молодой девушкой. Резким движением откинув свои густые волосы, он сбросил с головы розовый венок, упавший к его ногам на росистую траву, и с внезапной нежностью взял Актэ за красивую, белую руку.

— Позабудем пережитые страдания! — сказал он с глубоким вздохом. — Ты пришла сюда для того, чтобы еще раз увидеть меня; ты меня любишь, сегодня, как и прежде, и, клянусь всем священным, судьба накажет меня, если я когда-нибудь снова отпущу тебя! Разве ты не видишь, Актэ, что нас свел Рок или, по твоему, Провидение, именно теперь, перед самым часом разлуки, которую ты считала неизбежной? Дай обнять тебя, единственная, способная внести мир в мою душу! Актэ, вечно любимая Актэ, хочешь ли ты быть вполне моей, принадлежать мне телом и душой? Если ты согласна, то я клянусь тебе в верности до гроба. С тобой я буду жить и с тобой же умру. Возле тебя я воздену мои руки к твоему Богу. Я поверю, насколько могу, что Христос умер для искупления человечества. Я воздвигну символ этой религии повсюду, где рука цезаря властна ниспровергнуть алтари Юпитера и всех других богов. После меня мир будет принадлежать Галилеянину, ты же, избранница императора, будешь царить над твоей многочисленной общиной, прекрасная и вознесенная, как ни одна женщина на земле, ни до, ни после тебя!

Актэ печально покачала головой.

— Нет, повелитель, — трепеща отвечала она, — из зла еще никогда не выходило добра. Церковь всемогущего Бога зиждется не на преступлениях, но на незыблемой верности ее приверженцев. Она победит и без меня и без поддержки императора, одной лишь силой своей истины.

— Это ли язык любви? Дорогая, божественная Актэ...

— Подумай об Октавии!

— Я думаю о ней без малейшего укора совести. Октавия не может потерять то, чем она никогда не обладала. Я был твой задолго перед тем, как меня склонили к союзу с ней коварство окружающих, власть по-детски почитаемой матери и безграничная пустота моего собственного сердца. Актэ, если ты опять покинешь меня, я умру. Если ты повелишь, мой кумир, я сегодня же переговорю с Октавией и потребую развода...

— Никогда!

— Ты не хочешь быть моей перед лицом всего мира? Ты опасаясь бури, которую неминуемо возбудит развод императора с его супругой? Хорошо. Твоя воля для меня закон. Пусть долг приковывает цезаря к его жалкой жизни во дворце! Но как человеку, дай мне счастье твоей любви! Да, ты права, отвергая все мои обеты тебе, как христианке! Я должен был бы воззвать только к твоей любви. Я не хочу купить божественную Актэ ценой императорских милостей, но хочу получить ее сердце, как добровольный дар, из ее собственных нежных рук!

Голос его звучал такой безмерной страстью, что объятая блаженным трепетом Актэ затрепетала всем телом.

Неподалеку, под развесистыми ветвями старых платанов, стояла скамья, покрытая тарентинскими коврами.

Клавдий Нерон посадил рядом с собой слабо сопротивлявшуюся девушку и осыпал ее страстными поцелуями. Крепко прижавшись к нему, она плакала несказанно счастливыми слезами...

Когда настала минута разлуки, Актэ со сладостным смущением взглянула на обожаемого ею императора. Но во взоре ее не было раскаяния: в нем выражалась одна лишь безграничная любовь, бесконечная преданность.

— Так ты остаешься? Да? Обещаешь? — прошептал Нерон, снова нежно и горячо обнимая ее. — Актэ! Актэ! Как мне благодарить тебя за твою любовь и доброту? Прощай, моя возлюбленная, моя единственная настоящая, любимая супруга! Я должен спешить к гостям! Боюсь, мое продолжительное отсутствие уже замечено всеми. Я вижу, ты еще носишь мой перстень. Покажи его привратнику Тигеллина. Тебе будет оказано такое же уважение, как императрице, и укажут тебе ложе, где ты можешь спокойно заснуть в сознании нашего, достигнутого наконец счастья. Артемидор же уведомит твою госпожу, чтобы она отыскала себе другую спутницу. Актэ рождена не для того, чтобы прислуживать стареющим провинциалкам. Пожалуйста, напиши что следует вот на этой дощечке: я позабочусь, чтобы записка была доставлена по адресу завтра рано утром. Где остановилась твоя сицилианка?

— В доме ее подруги, египтянки Эпихарис.

— Приглашенной сегодня сюда?

— Той самой. Артемидор сказал мне об этом. Если бы не назначенный на завтра отъезд моей госпожи, и она была бы здесь между гостями.

— Так Эпихарис может передать ей сегодня же твой отказ, — сказал император.

Актэ написала.

— Хорошо, — сказал Нерон, пряча восковую дощечку под тунику. — Теперь иди, моя дорогая, моя обожаемая! О, каким неописуемым блаженством даришь ты меня! В груди моей радость бьет ключом, я хотел бы обнять весь мир. Ступай и прими еще один огненный поцелуй, который скажет тебе, как всецело ты владеешь моим сердцем!

Он приник к ее губам в последний раз. Поднявшись, она направилась к маленькой калитке парка, между тем как Нерон, закинув за плечо тогу, поспешил к средоточию праздника, откуда все громче и яснее долетал до него шум и веселый говор.

Глава X

Когда Клавдий Нерон подходил к арене, там только что окончилась борьба гладиаторов, за которой возбужденные вином зрители следили с горячим воодушевлением.

Один из борцов, раненый, истекая кровью, упал на колени, а его сломанный меч валялся в стороне на песке арены.

Победитель, вопросительно осмотревшись кругом, остановил свой взор на императорской ложе, ожидая услышать из уст императрицы-матери решение судьбы обезоруженного противника. Несмотря на нашептывания рыжей испанки Ацерронии, Агриппина, будучи здесь только гостьей наравне с другими, отклонила от себя это право и величаво равнодушным жестом указала борцу на ряды остальных зрителей. Изнеженные юноши и бессердечные кокетки пожелали насладиться кровавым зрелищем до конца, — и все опустили большой палец, что означало: «Избавь Флавия Сцевина от расхода на лечение! Не медли! Наноси смертельный удар!»

После мгновенного колебания, гладиатор глубоко вонзил клинок в грудь своей жертвы. Темная струя крови со свистом и паром брызнула вверх.

Тогда-то среди оглушительных рукоплесканий появился цезарь. Прекрасно-величавый, как Аполлон, вошел он на ступени трибуны и сел между Октавией и Агриппиной.

— Ты не должна была бы допускать этого, — обратился к матери Нерон, — или по крайней мере ты, благородная Октавия, прозванная Кроткой. Конечно, будучи римлянкой с ног до головы, ты привычна к ужасам смерти. Я это понимаю и уступаю. Но только сегодня... сегодня... праздник был так прекрасен, так полон гармонии... не следовало осквернять убийством этот счастливый день.

— Убийством? — изумленно повторила Агриппина.

— Да, убийством, — подтвердил цезарь, — хотя и законным, но тем не менее отвратительным убийством. Разве ты не знаешь, что говорит об этом Сенека? Да и сам благородный Флавий Сцевин, потворствуя жестокому требованию современного вкуса, повинуетя единственно лишь обязанности амфитриона, а не собственному чувству. В душе он совершенно согласен с моим бессмертным учителем.

— Битвы гладиаторов — наследие предков, — возразила Октавия. — Сам Цицерон, философ не хуже Сенеки, считал их лучшей школой мужской отваги. Как мне могло прийти в голову противиться воле и обычаям римского народа?

— Так думаю и я! — многозначительно присовокупила императрица-мать. Она была рассержена. Смелый тост Флавия Сцевина, которого ее сын теперь открыто хвалил как образец этического направления, с удвоенной дерзостью зазвучал в ее ушах.

— Мать, — обратился к ней Нерон, между тем как двое рабов выносили умиравшего фракийца, — скажи, что с тобой? Ты раздосадована моими словами к Октавии? Но я говорил по глубокому убеждению. У тебя такой суровый, недовольный вид... Я же так радостен, так счастлив, так полон праздничного веселья и жажды жизни, что хотел бы одержать победу и над самой смертью! Мать, я знаю, ты оскорблена тостом Флавия. Хотя искусно скрытая, но все-таки острая отравка его слов уязвила тебя. Видишь ли, мать, многие сенаторы и большинство римлян желают, чтобы я единолично держал скипетр римского императора, но Нерон отлично знает, кому он обязан престолом. Ты останешься правительницей империи, если правление твое будет кротко и не оскорбительно для законов государства. Ты будешь уступать мне в мелочах, только в шутку; во всем же важном тебе предоставляется неограниченная власть. Я не честолюбив, мать. Меня не соблазняют дерзостные речи твоих врагов.

Прежде чем Агриппина успела ответить, из аллеи, усаженной громадными пиниями и находившейся как раз позади арены, раздался отчаянный крик о помощи. Все вскочили со своих мест.

С преторианцами впереди, гости бросились в аллею, по которой медленно, шатаясь, шел Флавий Сцевин, поддерживаемый прекрасной Поппеей Сабинной.

— Убийство! — закричала она своим звучным голосом. — Какой век! Амфитрион не безопасен даже в собственном доме!

В одно мгновение Нерон очутился возле сенатора и бережно обхватил его рукой, коснувшись при этом руки Поппеи, которая вздрогнула, несмотря на все смятение этой минуты, как бы желая дать понять императору, какое сильное впечатление он производит на нее.

— Скажи, что случилось? — заботливо спросил Нерон. — Но прежде всего: как ты себя чувствуешь?

— На этот раз я отделался довольно счастливо, — усмехнулся Флавий Сцевин. — Я гулял с супругой Ото и, очарованный ее остроумной беседой, забыл о моих обязанностях хозяина дома. Вдруг в кустарниках что-то зашумело. Я полагал, что это ночная птица, но едва успел подумать, как меня ударило по правому плечу. «Ото!» — крикнул я и обернулся. Но враг уже исчез, и я почувствовал лишь теплую кровь, струившуюся по моей спине!

— Преторианцы! Оцепите парк и дом! — повелительно воскликнула Агриппина.

— Стена высока, все входы заперты. Жалкий преступник не может ускользнуть от нас!

— Факелы сюда! — приказал Тигеллин, между тем как прекрасная Поппея и Нерон вели в дом окровавленного Сцевина.

— Тщетный труд! — сказал он, бросив странный взгляд на императрицу-мать. — Такие убийцы чрезвычайно хитры и обыкновенно случается, что их преследуют по ложному следу.

Войдя в спальню Флавия, Нерон обратился к стоявшему там испуганному Артемидору.

— Помоги мне уложить твоего господина! — сказал он.

— Пресветлейший император, — возразил отпущенник, — смотри, тут довольно людей и между ними есть врачи. Благородный Сцевин никогда не простил бы мне, если бы я допустил...

— Молчи! — резко прервал его Сцевин. — Слушайся императора Нерона! Он единственный властитель, которому вы обязаны повиноваться, даже если бы он приказал вам... арестовать свою собственную мать!

Клавдий Нерон обменялся удивленным взглядом с прекрасной Поппеей, которая, впрочем, тотчас же приняла обычно томный вид.

Император легко приподнял стан широкоплечего сенатора, которого Артемидор в то же время обхватил за ноги, и они положили его на железную кровать: так повелитель мира и раб вместе исполнили обязанность больничных служителей.

Отойдя, Нерон приметил, что его белоснежная тога местами сплошь пропиталась кровью.

Им овладело странное чувство: кровь в день встречи с горячо любимой Актэ предвещала беду!

Он постарался отогнать эту мысль. «Пустьяки! — говорил он себе. — Нерон так же мало верит в басни предсказателей, как в любовные похождения Юпитера. Я сам буду Юпитером, видящим счастье этой мимолетной жизни в объятиях моей обворожительной возлюбленной!»

Рана Флавия Сцевина оказалась неопасной: направленный наудачу кинжал прошел вскользь, не повредив внутренности. Домашний врач Полихимний наложил искусную перевязку и напоил раненого

холодной водой с фруктовым соком, что видимо освежило его.

В трогательных выражениях благодарил Флавий заботливого императора.

— Истинно царственная натура, — с воодушевлением прибавил он, — входит в каждое несчастье, стараясь смягчить его, стремится покарать каждое преступление и вознаградить каждый великодушный поступок. Нерон, братски помогающий своим друзьям, может рассчитывать на них в час серьезной опасности! Дай мне руку и ты, достойнейшая из римлянок! — обратился он к Поппее. — Будь я на двадцать лет моложе, я позавидовал бы твоему Ото. Ты прекрасна, как Афродита, и дружелюбна, как Кос. Обещай мне навесить меня на днях! Я должен до конца дослушать интересную историю, которую ты начала рассказывать мне!

— Если дозволено слуге, — вмешался врач Полихимний, — заботиться о благе своего господина, то я посоветовал бы божественному цезарю и благородной Поппее оставить теперь нашего больного. В противном случае, неизбежная в его положении лихорадка может принять угрожающие размеры.

— Ты говоришь мудро, — сказал император. — Пойдем, Поппея, твой нежный Ото и без того должен быть вне себя от ревности!

— Пусть его, повелитель! — лукаво отвечала Поппея. — Ревность — это масло, питающее пламя любви. К тому же... — тихо прибавила она, — ревность к Флавию Сцевину?.. Ты преувеличиваешь его качества.

И она бросила на него пожирающий взор. Между тем они достигли площадки, где господствовало невероятное смятение. Императорские гвардейцы, находившиеся в расставленной вокруг дома цепи, небольшими группами рассыпались по парку, обыскивая бесконечные аллеи и густые кустарники. Каждую группу сопровождал факелonosец.

Храбрейшие из сенаторов и благородных, взяв оружие у Милиха, главного раба Флавия, присоединились к солдатам. Большинство же гостей и среди них вся молодежь, так усердно потягивали крепкое вино Сцевина, что теперь шатались, подобно свите Диониса, и, после бесплодных усилий удержаться на ногах, со вздохами снова опускались на мягкие скамьи. Даже сам Тигеллин, несмотря на свою опытность и привычку к попойкам, с величайшим трудом передвигал ногами. Те женщины и девушки, которые не заснули еще на своих местах, бежали в каведиум. Одна только Агриппина и серьезная Октавия, гордо выпрямившись, сидели в своей ложе и, облитые ясным, ровным светом канделябр, уподобились двум величественным статуям.

Нерон обнажил меч; он хотел лично отмстить за покушение на Флавия Сцевина предательски скрывшемуся убийце.

Поппея Сабина, вынув из чугунной подставки первый попавшийся факел, последовала за ним, так как ее ревнивого Ото нигде не было видно, или же она сумела искусно избежать его...

Осветив массу густых, спутавшихся кустов, Поппея сильно вздрогнула: в небольшой канавке близ дорожки сверкнул стальной клинок: она наклонилась и молча подняла кинжал. Увлеченный преследованием Нерон не заметил ее движения.

На синевато-яркой, трехгранной стали еще виднелись следы свежей крови, ясно свидетельствующей о значении неожиданной находки.

Нерон все спешил вперед.

Воспользовавшись благоприятным моментом, Поппея Сабина обтерла кинжал о росистую траву и осторожно спрятала его себе под пояс.

Теперь она поняла все.

По странной случайности, она видела на днях в покоях Агриппины точно такой же кинжал — простой стилет, не способный обличить свою царственную обладательницу.

Происшествие объяснялось очень просто, в то же время напоминая собой искусный замысел сочинителя трагедий.

Поппея мысленно увидела роскошную спальню Агриппины, когда она пришла навестить императрицу-мать по случаю ее легкого недомогания, и принесла чудную гирлянду цветов в виде «привета высокой страдальице»; в действительности же, ее любезность имела одну цель — ради Нерона получить расположение императрицы-матери.

Агриппина была очень приветлива: желтые розы на время завоевали ее сердце.

Она пригласила Поппею к себе и поблагодарила ее.

Кроме больной в комнате находилась только пантера, рыжая испанка Ацеррония.

Вдруг Агриппина упала в обморок. Быть может, запах роз слишком сильно подействовал на ее возбужденные нервы. Ацеррония заботливо подхватила свою госпожу, начала тереть ей лоб и виски и крикнула испуганной Поппее:

— Эссенцию, заклинаю тебя, дай эссенцию! Направо в стенном ящике позади кедровой шкатулки! Флакон с надписью, ты увидишь.

В волнении Поппея не могла сразу найти кнопку ящика и пока она искала пружину, случайно отворилась одна из других, серебряных, утопленных в стену дощечек. Поппея мгновенно сообразила, что сделала опасное открытие: перед ней открылись всем известные хрустальные флаконы отравительницы Локусты и десять или двенадцать кинжалов с трехгранными клинками и круглыми медными рукоятками.

Все это только мелькнуло перед ее глазами, но неизгладимо врезалось в ее память.

Бесшумно захлопнув серебряную дощечку, она тут же нашла ящик с эссенцией и поспешила подать ее ничего не заметившей Ацерронии.

Теперь также никто не должен узнать про странную связь ее находки с прошлым открытием.

Агриппина не должна подозревать, что Поппея Сабина держит у себя на груди доказательство ее виновности в покушении на жизнь Флавия Сцевина и что одним своим словом она может сорвать с императрицы-матери личину перед ее доверчивым сыном. Таким образом, молодая женщина оказывалась госпожой положения. Пока она решила хранить строгое молчание и выступить на сцену не раньше, чем когда это будет необходимо и уместно. Тогда Нерон узнает, что этот кинжал один из хранящихся рядом с флаконами Локусты!

Все это пронеслось в ее голове с быстротой молнии, и она весело поспешила за цезарем, усердно обыскивавшим кусты.

— Вот и солдаты уже возвращаются, — вздохнув, сказала она. — Кажется, их поиски были так же тщетны, как и наши!

— Ничего и никого, дорогой цезарь! — еще издали протянул Тигеллин. — Встретившиеся мне трибуны преторианцев также идут с пустыми руками. Клянусь Геркулесом, гвардейцы пронизали своими копьями все лавровые и миртовые кусты и если бы там прятался какой-нибудь негодяй, он, наверное, был бы проткнут, как вертелом.

— Значит, преступник перелез через стену, — сказал цезарь.

— Едва ли, если только у него не было лестницы, а если она и была, то ее, наверное, нашли бы где-нибудь в парке или за стеной. Кроме того, там сторожат преторианцы и прибежавшие сюда на шум солдаты городской когорты.

— Хорошо. Значит, убийца среди нас.

Тигеллин пожал плечами.

— Кто же из гостей мог быть таким отъявленным, низким негодяем? И еще: кто питал вражду к честному Сцевину? Он общий любимец, общий приятель... Его рабы обожают его. Быть может, Артемидор?..

— Артемидор был в доме, когда это случилось.

— Однако он ведь уже бегал от него, тогда, несколько месяцев тому назад.

— То было из страха, а не из ненависти.

— Ну так кто же это сделал? — покачнувшись, спросил агригентец. — Ведь не думаешь же ты, что кто-нибудь из пламенных обожателей нашей Пoppеи отмстил шестидесятилетнему старику за его прогулку вдвоем с ней по парку?

— Я вовсе ничего не думаю пока, — отвечал Нерон. — Но ведь ты согласен, что кинжал прилетел не сам собой, подобно голубке Мелинна. Поэтому я сделаю то, что мне предписывает долг. Отыщи Бурра! Прикажи ему созвать своих преторианцев. Городские солдаты могут сторожить снаружи, на случай, если преступник станет скрываться на вершине густого дерева. При настоящих обстоятельствах я не доверяю никому. Все будут обысканы, от сенатора до последнего раба. Пусть знают, как в империи Нерона карают такие выходы бандитов!

Пять минут спустя на звуки труб со всех сторон сошлись преторианцы и гости.

— Войди в нашу ложу, — сказал цезарь Пoppее Сабине. — Ты, сопровождавшая Флавия Сцевина в момент позорного покушения, также олицетворяешь собой общественную совесть. Твоя печаль и красота внушат преступнику раскаяние и стыд, и облегчат нам раскрытие виновного. К тому же, как находившаяся с ним, ты одна стоишь выше всякого подозрения, ты и мы, императорская семья!

Агриппина бросила холодный взгляд на прекрасную Пoppею, которая остановилась слева от императора и со спокойным дружелюбием встретила ее взор. Да и к чему стоило бы раздражать Агриппину теперь? Нет, Пoppея была слишком лукава, чтобы в самом начале выдать свои дальновидные планы.

«Но кто же был орудием царственной преступницы? — думала Пoppея. — Бурр слывет ее фаворитом. Но я не могу допустить, чтобы он решился на такой поступок: это было бы слишком низко. Или, быть может, центурион Убий, так баснословно быстро делающий карьеру? Да что мне за дело? Довольно того, что мне известен источник покушения».

В душе она искренно смеялась над быстротой и легкостью, с которыми благодаря обмороку Агриппины она проникла в ее игру и таким образом овладела тайной, долженствовавшей рано или поздно доставить ей многие выгоды.

Ничем не обнаруживая свое тайное торжество, она с гордым достоинством внимала, когда негодующий Нерон с горящим взглядом обратился к толпе гостей.

— Совершилось беспримерно-позорное святотатство, — говорил он. — Помогите мне открыть преступника! Невинные да не сочтут излишним доказать свою невинность! Никто из присутствующих не сойдет с места, раньше чем объяснит, где он находился до этой минуты и не докажет, что на нем нет ни

скрытого оружия, ни следов предательски пролитой крови. В особенности же вы, славные преторианцы, опора права и законов, вы больше всего должны стараться об разоблачении виновного! Представьте себе, какой беспримерный позор, если он окажется среди вас самих, среди достославного отряда избранников! Смерть от руки палача была бы слишком большой честью для презренного негодяя!

Кругом раздался одобрителный ропот.

— Так начинай с меня, — произнесла императрица-мать, протягивая руки с видом покорности своей позорной участи.

При этом движении серебряный гвоздь, конец которого торчал из под обивки перил ложи, глубоко оцарапал ей руку, и кровь, брызнув на вооружение стоявшего справа от нее центуриона Убия, капнула и на ее собственную белолилейную одежду. Агриппина вздрогнула и испустила легкий крик.

— Мать, что ты делаешь? — в ужасе воскликнул Нерон. — Опять кровь в этот чудный день, который так лучезарно начался и так божественно завершился?

— Сын мой, это случайность, но в случайностях часто выражается воля бессмертных богов. Быть может, этим они дают понять тебе, своему любимцу, что ты оскорбляешь гостей Флавия Сцевина, превращая его дом в судилище, как будто праздничная площадка в парке сенатора то же самое, что портик на народной площади, где практикующие законники предлагают желающим свои юридические хитросплетения...

Пораженный Нерон схватился за лоб. Неужели он все еще десятилетний мальчик, которого мать бесцеремонно трепала за волосы, когда он являлся домой с разорванной туникой?

Он уже собирался возразить в сдержанных, но энергичных словах, что безопасность его граждан важнее для него всех придворных и светских приличий, когда его опередил начальник преторианцев Бурр.

— Всемогущая Агриппина, — твердо произнес он. — Мой долг предписывает мне немедленно исполнить повеления императора. Как знатная женщина, ты можешь оскорбляться этим, но как мать императора, ты должна будешь признать, что старый, грубый солдат исполнил свою обязанность.

Агриппина пожала плечами. Если начальник преторианцев брал сторону Нерона, что могла она сделать? Но она тут же втайне поклялась опутать этого медведя розовыми цепями, чтобы на будущее время отнять у него всякую возможность к проявлениям неуместного усердия.

Бурр подозвал восьмерых из своих людей, на верность которых он мог вполне положиться, и приказал им основательно обыскать сначала всех преторианцев, затем присутствовавших мужчин, не способных сказать, где они находились в момент покушения, и всех рабов.

Женщинам и девушкам, не желавшим подвергнуться публичному обыску, предложено было под конвоем преторианцев удалиться в атриум. Но ни одна из них не воспользовалась этим дозволением. Против ожидания, обыск кончился весьма скоро.

У каждого гостя оказалось по два и три свидетеля, клятвенно подтверждавших его пребывание в том или ином месте. Также ни у кого не нашлось кинжала, а между тем вид раны не оставлял ни малейшего сомнения в том, что она нанесена именно этим оружием.

Обыск оказался безрезультатным.

— Я говорила, что так и будет! — вскричала Агриппина. — Просим простить нас, благородные гости Флавия Сцевина, если похвальное усердие нашего возлюбленного сына зашло чересчур далеко!

Нерон промолчал.

В душе его уже возникли другие образы. Он молча встал и незаметно передал Артемидору записку

Актэ к сицилианке.

В том же порядке, в каком императорская процессия достигла дома Флавия Сцевина, двинулась она теперь в обратный путь. Метелла, супруга злополучного сенатора, проводила до ворот своих высоких гостей.

— Желаю ему скорого выздоровления! — прошептала Агриппина, дружески целуя ее в лоб.

— Того же желаю и я, — воскликнул Нерон, трижды прикоснувшись губами к руке Метеллы.

— И да постигнет наказание коварного преступника, нарушителя твоего спокойствия, — сказала Октавия, нежно обнимая плачущую матрону. — Утешься, любезная Метелла! Полихимний превосходный врач, и рана не опасна!

Процессия двинулась. Ни Октавия, ни Нерон не произнесли ни слова. Безмолвие нарушалось лишь звуками мерных шагов носильщиков, факелоносцев и солдат.

Нерон смотрел навстречу солнцу, обещавшему ему наконец счастливую жизнь.

Октавией же интуитивно овладело мрачное ощущение, что для нее никогда больше не наступит светлый день.

Спокойно-ясная безмолвность супруга казалась ей странно красноречивой. Глаза его сияли, губы улыбались, как у ребенка, которому снится только что подаренная ему кукла.

То, что принесло в его душу мир и спокойствие и разлило по его лицу цветущее юношеское выражение довольства, могло быть только счастье, — та вавилонская роза, которую тщетно ищут миллионы людей...

Бедная Октавия с невыразимой горечью сознавала, что ей нет места в его чувствах, что вавилонская роза в его руках значила для нее вечное горе и отречение от всякой радости.

«В твои руки предаю я мою жизнь, всеблагий Юпитер!» — неслышно прошептала она, ломая руки и вздыхая, словно разбивалось ее сердце, но так же тихо, как молодой спартанец, которому лисица под одеждой разрывала внутренности. Блаженно улыбавшийся звездной апрельской ночи, Клавдий Нерон не должен был догадываться о ее безмерном несчастье.

Глава XI

Прошло шесть недель.

В густой зелени беседки одной из прелестнейших вилл по ту сторону Друзовой арки, на устланной коврами мраморной скамье сидела Актэ и с нетерпеливым ожиданием посматривала на тень солнечных часов. Час ужина уже миновал.

Сегодня Нерон ужинал у начальника флота Аницета и в качестве гостя, а не амфитриона, мог удалиться, когда вздумается. Его влекло поскорее увидеться с той, которую он любил больше блеска своего престола и всей мудрости государственного советника. Молодой император вполне предоставил теперь управление империей Агриппине с ее приближенными; он допускал свою мать и даже Октавию вмешиваться в такие дела, которые до сих пор всегда решались только по личному усмотрению императора. Тост Флавия Сцевина, по-видимому, остался без всяких последствий.

Нерон утверждал все, что представлял на его рассмотрение достойный Сенека, часто действовавший под влиянием Тигеллина. По совету их обоих он удвоил жалованье преторианцам за декабрь, в который он родился, причем во всех четырнадцати когортах прошел слух, что эта политически-знаменательная идея родилась в голове агригентца.

Император присутствовал также повсюду, где этого требовал придворный церемониал или собрания сената.

Но все это он делал как человек, с радостной покорностью исполняющий свою ежедневную обязанность, думая лишь о счастье, ожидающем его в часы свободы.

Мысль об Актэ не покидала его с раннего утра до поздней ночи.

Весь мир составлял лишь рамку для одного драгоценного образа, в тайне хранимого им в нескольких сотнях шагов от шумной Аппианской дороги.

Никто не знал об этом, кроме Тигеллина, которому преисполненный счастья Нерон признался во всем. Он просто задыхался от избытка блаженства, а Тигеллин поклялся духом своей покойной матери не выдавать его тайну.

Актэ, постукивая одна о другую ножками в красных сандалиях, поджидала своего кумира. Он мог явиться каждую минуту. Уютная мраморная скамья среди розовых кустов была его любимым местом, и поэтому она ждала его именно здесь.

Тень на солнечных часах становилась все длиннее. Уверенная, что он придет, Актэ начала думать о своей судьбе, которую она находила завиднейшей из когда-либо выпадавших на долю смертной.

Шесть прошедших недель были одним очаровательно-сладким сном.

О минувшем она не вспоминала; иногда только мелькала у нее мысль о горьких днях разлуки, но сердце ее при этом еще сильнее переполнялось сознанием счастья.

Совесть ее также молчала.

Она знала, что верующей назарянке грешно любить человека, имеющего жену; она сознавала это умом, но не сердцем и не чувством, и уж, конечно, не в те мгновения, когда думала о том, кого так беспредельно любила.

Одного взгляда его чарующих глаз было достаточно, чтобы заглушить в ней последнюю искру самообвинения.

Разве она не сделала все, чтобы избежать императора?

Разве она не решилась удалиться в Сицилию, где никогда больше не достиг бы ее луч непреодолимого очарования императора?

Она хотела в последний раз взглянуть на его прекрасное лицо, с первой минуты запечатлевшееся в ее душе, и только случай или предопределение судьбы превратили этот час разлуки в неразрывный, вечный союз.

Да, вечный!

Такая любовь не проходит, одна лишь смерть может насильно разъединить то, что не властны разорвать никакие земные силы.

И разве она отняла его у холодной жены? Разве он не с самого начала всей душой принадлежал ей, низкорожденной? Разве Октавия когда-нибудь понимала его так, как она?

В последние же две недели молодая императрица начала выказывать необычайную резкость и относиться враждебно к своему супругу. Под предлогом бессонницы и частых припадков головной боли она даже переселилась в покои, совершенно удаленные от покоев императора.

Да, бледная, бессердечная Октавия разделяла с Нероном трон и наружные почести императорского сана; она показывалась рядом со своим супругом всюду, где того требовали обычай или необходимость, но кроме этого, между ней и божественным цезарем не было ничего общего, розно ничего...

Актэ не знала того, что пережила за это время Октавия, иначе она не дерзнула бы называть молодую императрицу бессердечной и холодной.

Как раз две недели тому назад Тигеллин тайно испросил у Октавии аудиенцию, под предлогом весьма важных государственных дел и, попросив императрицу удалить из комнаты отпущенницу Рабонию и двух рабынь, обратился к ней с сдержанной почтительностью.

— Повелительница, — сказал он, — долг мой вынуждает меня сообщить тебе нечто ужасное, и в то же время, к сожалению, я не могу сделать полного признания, будучи связан клятвенным обещанием не выдавать имени виновной.

— В чем дело? — спросила Октавия.

— Дело весьма обыкновенное, но оно большое горе для повелительницы Рима и невыразимое несчастье для нее.

— Ты взволнован. Или я несправедливо судила о тебе?

— Несправедливо, глубоко несправедливо, повелительница, как это делают и многие другие, знающие не настоящего, искреннего, честного Тигеллина, а только ту светскую маску, которая носит мое имя. Поклянись, повелительница, что ты сохранишь все в тайне!

— Клянусь.

— Так знай, что твой супруг любит другую, молодое, прекрасное, обворожительное создание, но не стоящее одной пряди твоих чудных волос. Любовь его на веки потеряна для тебя: она очаровала его, как Цирцея спутников страдальца Одиссея. Ты поражена? Ты шатаешься? Ободришь и доверься мне. Смотри, вот сердце, с радостью готовое принять смерть ради тебя, моего божества.

Почти без чувств она упала в его объятия. Опыренный Тигеллин с безумной страстью прижал ее к груди.

Она оттолкнула его.

— Презренный! — произнесла она дрожащими устами. — Если бы он был в тысячу раз порочнее и вероломнее, чем ты представляешь его, то все-таки я останусь верна ему до гроба. На кого протер ты свою дерзость? Одной твоей кровью можно смыть такой позор, но я не хочу крови. Сам справедливый Юпитер покарает тебя.

— Повелительница... — пробормотал Тигеллин.

— Оставь меня!

— Так мне не на что надеяться, даже если я докажу, как бесстыдно обманывает тебя Нерон?

— Если ты не уйдешь добровольно, я позову на помощь, — произнесла Октавия, выпрямляясь во всем величии своей молодой красоты. — Что за женщины жили здесь прежде, если такой человек, как ты, осмеливается...

— Я иду, Октавия, — прошипел агригентец, побледнев как полотно. — Я иду! До свиданья!

Об этом печальном случае Актэ не могла знать.

Для нее Октавия была несчастная, не избранная Богом для понимания и счастья императора, жаждавшего любви.

Что выпало на долю ей, низкороденной, она считала незаслуженной милостью Неба. При мысли о ее безграничном счастье, у нее кружилась голова и на глазах выступали слезы.

— Милосердный Боже! — шептала она. — Прости мне мое счастье! А если Ты не можешь, то осуди меня в будущей жизни искупать каждый день теперешнего блаженства целым веком страшнейших мук, пока наконец я снова, снова соединюсь с ним! И я буду неустанно нашептывать ему, что Ты сходил на землю в образе смиренного смертного, чтобы избавить нас от бремени наших грехов! Я спасу его душу... увы, из себялюбия: какую цену имеет для меня рай со всем его блаженством без того, кого я люблю больше всего в мире!

На ее лице мелькнула светлая улыбка. Ей почудилось, что христианский Бог услышал ее: такое небесное спокойствие и мир наполнили ее сердце.

Она вскочила. В перистиле раздалась шаги Фаона, верного, преданного раба, которому Клавдий Нерон поручил заведовать маленькой виллой.

Актэ знала, что означали эти шаги. С верхней галереи Фаон увидел знакомые носилки, где за шелковыми занавесами скрывался прекрасный царственный юноша. Четверо носильщиков-лузитанцев в серых, простых одеждах отличались своей молчаливостью, и никто не обращал внимания, когда они проходили через остиум в наполовину крытый двор. Актэ прошла через перистиль до коридора, и с сильно бьющимся сердцем смотрела, как ее возлюбленный в цветастой тунике, перекинув на руку белую тогу, вышел из носилок и направился прямо к роскошному покою, где пятисвечный канделябр уже озарял мягким светом великолепные обои и драгоценную мебель.

Краска залила лицо Актэ.

Да, восхитительно беседовать там, под дубами, среди душистых роз и повторять уверения в неизмеримой, бесконечной, взаимной любви.

Но здесь, в этом тихом, уединенном покое было еще лучше, здесь не нужно было опасаться любопытных глаз или ушей какой-нибудь нескромной служанки; в этом уголке они были вполне отделены от остального мира.

Маленькая кованая дверь затворилась за ними. На столе из блестящего лимонного дерева, под задернутым легкой занавесью окном стояли серебряный кувшин с греческим вином и две чаши со

змеобразными ножками. Перед обитой розовой материей софой стоял столик с душистыми плодами и плоским блюдом, наполненным сухим лимонным печеньем. Нерон усадил Актэ рядом с собой и страстно обнял ее.

— Наконец, наконец я опять с тобой! — прошептал он, целуя ее стыдливо опущенное лицо и роскошные волосы, волной сбегавшие по ее плечам.

Обняв его за шею, она нежно гладила его густые кудри и вдруг в порыве бурной страсти приникла к его груди.

Эти порывы чувства больше всего нравились Нерону; от скромной, почти боязливой застенчивости и сдержанности, Актэ внезапно переходила к проявлению самой горячей, преданной, безмерной страсти.

— Ты любишь меня? — повторял император свой вечный вопрос. — Ты вспоминала обо мне?

— Я думала о тебе каждую секунду, — замирая от счастья, отвечала Актэ. — А ты? Ты меня вспоминал там, среди всей этой знати, где столько прекрасных женщин и девушек, где ты окружен всеми почестями и где повсюду для тебя расставлены всевозможные сети?

— Божественная Актэ, ты преувеличиваешь. Поверь мне, если бы красота всех женщин от Танаиса до берегов океана воплотилась в одном обольстительном существе, я и то не взглянул бы на него, и сказал бы божественной Афродите: все твои совершенства — ничтожество в сравнении с Актэ, моей белокурой красавицей, большие глаза которой так глубоко заглядывают мне в душу и говорят: здесь твоя родина, цезарь!

— Да, так я думаю! Я люблю тебя всей душой, чудный, дорогой человек! Я твоя, и останусь твоей, хотя бы мне пришлось заплатить за это вечной гибелью!

И она закрыла глаза, как бы ослепленная неземным блеском ее боготворимого Клавдия Нерона.

Как она любила его! Такой любви ему не найти во всей империи, думал Нерон, восторженно глядя на нее.

Вдруг лицо его стало печально. Разве не несчастье, что ему приходится прятать это сокровище, как будто любовь Актэ что-нибудь дурное или позорное? Если в людях еще жила совесть, одобряющая добрые дела и порицающая дурные, то он мог быть совершенно спокоен: его совесть была вполне чиста; боги не могли бы пожелать ничего лучшего и более справедливого, чем союз этих двух любящих сердец.

Он начал думать об Октавии, испытывая себя, не отзовется ли в нем внутренний голос в защиту его несчастной жены.

Но сердце его молчало.

Актэ была его идеалом и его жизнью, и, любя ее, он видел перед собой только одну обязанность: быть счастливым с ней и делать ее счастливой.

— Актэ, — сказал он, играя ее золотистыми волосами, — Актэ, моя звезда, моя возлюбленная, счастлива ли ты?

— Бесконечно счастлива!

— Нет ли у тебя какого-нибудь тайного, невысказанного желания?

— Нет...

— Актэ, я вижу, ты краснеешь. Скажи мне правду!

— Ну, я подумала, как было бы чудесно, если бы я могла иногда сопровождать тебя, например, на Марсово поле... Помнишь блаженный час в палатке мага? Но ведь это невозможно...

Нерон подпер рукой свою прекрасную голову.

— Невозможно? — повторил он. — Но кто же может помешать мне в этом, дорогая Актэ?

— Твоя мать... Октавия... сенат... почему я знаю?

— Я докажу тебе, что ты сильно заблуждаешься. Я император, и мне повинуются преторианцы и весь народ. Завтра я не могу... завтра я обедаю у Тразея Пэта. Но послезавтра, в четвертом часу, мы отправимся вместе на Марсово поле.

— О, как славно! — И она захлопала в ладоши.

Одиночество уединенной жизни на вилле временами порядочно тяготило ее, несмотря на ее усердные и успешные занятия с превосходным Фаоном, ее главным рабом, преподававшим ей государственную историю и естественные науки.

— Теперь я вижу, что ты на многое готов ради меня, — с восторгом продолжала она. — Но я не хочу злоупотреблять твоей добротой. Осторожность есть мать мудрости. Насколько от меня зависит, меня не узнает никто из несносных зевак, вечно бегущих к тебе со всех сторон. Я закроюсь вуалью.

— Делай как хочешь! А теперь забудем еще на несколько минут в сладкой беседе! Увы, часы моего блаженства летят с быстротой восьмикрылого Гермеса!

— Нерон, мой господин и мой бог!

— Актэ! Актэ!..

Глава XII

В самом радужном настроении направлялся император два дня спустя к девушке, нетерпеливо ожидавшей его.

Солнце стояло еще высоко, но прохладный ветерок, с раннего утра дувший от Тирренского моря, освежал, шелестя зеленью высоких кипарисов и разносил по всему саду аромат пурпуровых роз.

Роскошные носилки с восемью носильщиками-лузитанцами в полушелковых фиолетовых одеждах, вместе с блестяще разодетыми рабами, были подарком императора его безгранично любимой Актэ.

Он сказал ей об этом, когда они вместе уселись на мягких подушках и задернули фиолетовые занавеси так плотно, что без особого усилия никто не мог заглянуть в носилки.

Она поблагодарила его горячим поцелуем, но так, что он понял, насколько ничтожен его драгоценный дар в сравнении со счастьем быть с ним и обладать его любовью.

Вдруг вся покраснев, она припала к его груди, погладила его по щеке и вполголоса сказала:

— Мы теперь точно настоящие муж и жена, правые перед Богом и законом! О, Нерон, это было бы божественно... Я, рядом с тобой, на римских улицах! У меня кружится голова при одной этой мысли. Позволь мне еще немножко отдернуть занавес! Мое покрывало так плотно, что меня нельзя узнать!

— Как желаешь, — отвечал император. — Твой голос для меня — голос судьбы.

— Так лучше виден цветущий Рим, и чудные дворцы, и граждане в ярких тогах... Вот почти перед нами вьется Авентинский холм с храмом Дианы, а дальше, левее, длинный Яникулус. Как красиво граничат со светом темно-синие тени! Скажи, мы пройдем по форуму? Мне хотелось бы посмотреть на твое царственное жилище и вообразить себе, что и я имею право переступить за порог Палатинума!

— Ты имеешь это право, Актэ!

Она закрыла ему рот рукой.

— Не говори! Довольно того, что я вытеснила несчастную Октавию из твоего сердца! Этого более, чем довольно! Но я лучше умру, чем соглашусь на... Нет, Палатинум — храм невинных, и я скорее готова принять жесточайшую смерть у ног Октавии, чем оказаться угрозой для нее в ее собственном доме.

— Не говори так безрассудно! А если бы она сама возымела намерение отказаться от этого святилища и удалиться, оставив меня одного среди этой кесарской пышности?

— Она не сделает этого! Но мы сворачиваем... Это Via Sacra... А там, осеняемый храмом Диоскуров, поднимается к небу величавый дворец императоров, дворец моего страстно любимого Нерона!

Вдруг она откинулась назад.

— О, какая досада!

— Что с тобой? — спросил император.

— Это был Паллас, доверенный императрицы-матери. Он прошел мимо самых носилок и узнал меня.

— Но ты закутана, как египетская волшебница.

— Не совсем так, а у Палласа зоркие глаза. Я тебе рассказала уже...

— Да, ты рассказала мне, что и он поднял взор на небесную Актэ. Как несчастлив должен быть он! Я сожалею о нем от всего сердца.

— Все равно, он узнал меня, и я боюсь...

— Чего же, моя робкая лань?

— Что он повредит нам...

— Разве я не император?

— Конечно... Но именно как император ты имеешь уже довольно врагов, и я считаю излишним создавать новых недоброжелателей среди частных лиц, — в особенности же из таких, как этот угрюмый, мрачный Паллас.

— Ты несправедлива к нему. К тому же если он и узнал тебя, то почему он знает, кто твой спутник? Будь уверена, что его подозрения о моей любви к отпущеннице Никодима были лишь мимолетным предположением. Он ищет своего соперника в другом месте. Клавдий Нерон, конечно, сумеет помешать ему коснуться даже волоска на твоей золотистой головке.

— Ты прав, — прошептала Актэ. — Великий Боже, как здесь чудесно! Все Марсовое поле превратилось в один цветущий сад! Там платаны и дубы, здесь огненные цветы среди лужаек.

— Видишь ты громадные «К. Н.Ц.» перед колоннами мраморной галереи?

— Это значит «Клавдий Нерон Цезарь», — с восторгом вскричала Актэ. — Вся роскошь и весь блеск мира кажутся мне существующими только для того, чтобы чествовать тебя, мой единственно любимый!

— А посреди этой роскоши ты все-таки единственная жемчужина, дающая мне истинное счастье.

— Правда ли это? — лукаво взглянув на него, тихо спросила она.

— Такая же правда, как то, что майское солнце сияет теперь над нашими головами, а вечная весна цветет в наших сердцах! Актэ, Актэ, я не могу выразить словами, как я неузнаваемо изменился с тех пор, как ты любишь меня! Теперь я понимаю природу и самого себя; вечное желание, наполняющее мир, для меня не загадка больше. И я убежден, что это желание — жажда и стремление к счастью — есть единственное плодоносное зерно нашей жизни. Жизнь — любовь; жизнь — желание. И разве чему иному учите вы, назаряне, переносящие это желание даже за порог смерти, где вы надеетесь найти вечную жизнь и вечное счастье?

Актэ слушала с невыразимой любовью, припав к его плечу закутанной в покрывало головкой.

— Вот палатка египтянина, — уже другим тоном заговорил Нерон. — Сколь тяжело воспоминание о том, как дерзко распорядился твоим счастьем лукавый Никодим! Возмутительно! Мудрый и справедливый человек упустил из виду лишь то, что чистое сердце девушки не продажный товар, а сокровище, отдаваемое ею самой по свободному влечению...

— Нет, не по свободному влечению, а под ярмом непреклонной любви. О, я любила тебя до безумия... Если бы тогда ты взял меня за руку, я слепо пошла бы за тобой на край света...

— Да, я упустил случай... — огорченно заметил Нерон, но тут же весело прибавил: — Безумец я! Обладая всем, я еще пускаюсь в сетования! Будем наслаждаться настоящим, Актэ! Печальные мысли безумны при взаимной любви. Да, вот палатка египтянина, но теперь я смеюсь над ней! Разве я не в тысячу раз счастливее, чем был прошлой осенью? Разве теперь я не знаю того, что ты любишь меня, о чем тогда не подозревал?

— Мне нравится, когда ты такой! Смотри, какой блеск и сияние среди аллей! Повсюду я вижу моего возлюбленного, в мраморе, бронзе, серебре, золоте — и повсюду он один и тот же, достойный обожания Геро. У тебя прелестнейший рот, какой я когда-либо видела. Чудные губы, созданные для поцелуев, для песен и красноречия. Нерон, я с ума сойду от самомнения и гордости. Во всем обитаемом мире звучит твое

божественно-сладкое имя... — Нерон! — шепчет лузитанец и почтительно преклоняет колени перед твоим изображением. — Нерон, — раздается в Азии и в Африке. — Нерон, — слышится в Галлии и по ту сторону границы, у германцев...

— Которые, однако, ни в каком случае не преклоняются перед статуями императора!

— Нет? Почему нет?

— Потому что они свободный народ и не посылают свои войска следом за римскими орлами.

— Но ты еще недавно показывал мне из верхней комнаты нашей виллы хаттского вельможу в римском вооружении?

— Это был Гизо, сын хаттского вождя Лоллария. Гизо служит у нас, чтобы научиться римскому языку и военному искусству, впоследствии применив свои познания у себя на родине.

— Ты позволил ему это?

— Почему нет? Если бы я запретил, то не было бы это похоже на то, что римская империя боится своих соседей германцев?

— Ты прав, я не подумала об этом.

— К тому же этот молодой хатт уже щедро вознаградил нас за то, чем мы ему были полезны, оказав нам большие услуги в борьбе с восставшими парфянами на востоке и еще двумя северными сарматскими племенами, не проявлявшими ни малейшего уважения к римскому величию.

— Как счастлива была бы я, если бы могла разделять с тобой все твои дела! — вздохнула Актэ.

— Разве ты не замечаешь, что я сам перестал серьезно относиться к ним? Ты и красота природы — вот мой мир, мое настоящее и будущее. Взгляни как внезапно засияла вершина старого храма Минервы! Солнце склоняется к западу, и сама богиня мудрости как бы выражает мне одобрение этим снопом лучей своего рассеивающего мрак светила!

— Да, настоящее и будущее! Сегодня же вечером мы выпьем за процветание... Но скажи, кто эта роскошная женщина в носилках рядом с красивой уроженкой Востока? Носилки бледно-красные, а носильщики в темно-желтых одеждах?.. Она прекрасна, но пламенный взгляд ее глаз пугает меня...

— Ты никогда не слыхала о Поппее Сабине, супруге Ото, друга моего детства?

— Как же, как же... Но смотри, как она глядит на тебя! Она тебя узнала! Ее гордое лицо на мгновение исказилось гневом.

— Что ты делаешь?

— Придерживаю занавеску, пока мы пройдем...

— Чтобы вдвойне привлечь ее внимание?

— Чтобы укрыть тебя от ее дурного глаза. Скажи, Нерон, часто ты встречаешься с ней?

— Очень редко, и к тому же я так же неуязвим, даже для самых дурных глаз, как если бы носил амулет на шее.

— Мы, назаряне, не верим в чудодейственную силу этих вещей, — возразила Актэ. — Но если бы ты отрезал прядь моих волос и всегда носил бы ее с собой, я думаю это принесло бы тебе счастье.

— Сегодня же я похищу золотую прядку! Она защитит меня, даже если все вокруг падет в развалинах.

— Скажи, кто эта черноволосая, что сидела рядом с ней? У нее также какой-то взгляд... словом, они подходят друг к другу!

— Ты думаешь? Это Хаздра, подруга Поппеи Сабины. Про нее говорят, будто она по уши влюблена в Фаракса...

— В Фаракса?

— Ну да, Фаракса, новоиспеченного центуриона гвардии.

— Это тот, который... но нет, тогда он был еще солдатом городской когорты.

— Тот самый, тот самый, который вел тогда Артемидора. Любимцы императрицы Агриппины быстро идут в гору...

— Ну, я предоставляю Хаздру Фараксу и Фаракса Хаздре. Знаешь ли, Нерон, мне хотелось бы, чтобы все кругом были веселы и счастливы. О, если бы я могла повелевать, не было бы больше ни горя, ни страданий, но одна только светлая радость и возгласы веселья...

— Так останови же смерть, вырывающую у матери цветущее дитя, у отца — прекрасного сына! Уничтожь безумные людские надежды, болезни и медленно наступающую старость!

Это были последние серьезные слова их разговора. Как роскошно простирали над дорогой свои развесистые ветви высокие вяза, пинии и клены! При каждом повороте носилок открывались все новые восхитительные виды, то на пятивершинную гору Соракте, то на возвышенности Альбы или на длинный, живописно разорванный ряд сабинских холмов. Башня Мецены величаво выделялась на голубом небосклоне, а кругом, насколько мог видеть глаз, цвели бесчисленные цветы, вились ползучие растения и зеленели свежие, густые кустарники.

Солнце еще не успело скрыться за Яникульской вершиной, как счастливая чета уже вернулась на виллу. Нерон ужинал сегодня у Актэ. Девушка безумно радовалась этой восхитительной прихоти и заказала своему повару самые изысканные блюда. Собственными руками налив в чашу возлюбленному искристое фалернское, она подняла свой кубок.

— Что за чудный день! — воскликнула она. — Выпьем же за настоящее и за будущее, помнишь, как мы условились в носилках!

Он залпом выпил вино и энергичным движением поставил чашу на стол.

— Приди ко мне! — шепнул он, обнимая стройный стан Актэ, обвившей руками его шею...

Вдруг в дверь послышался стук, легкий, сдержанный, но в то же время уверенный, точно стучавший считал себя в праве нарушить уединение любящей четы.

Цезарь вскочил, нахмурившись.

— Что это значит? — дрожа от гнева, спросил он.

— Не понимаю. Из слуг никто не посмел бы... Может быть, Фаон?

— Фаону известно, что я строжайше запретил ему... — сказал император.

— Наверное, случилось что-нибудь необычайное, если он решился послушаться тебя, — прервала Актэ.

— Хочешь, чтобы я отворил дверь?

— Не отворяй, а спроси отсюда, что нужно.

Она побледнела при внезапном стуке, нарушившем блаженную тишину и прозвучавшем в ее ушах подобно призыву военной трубы.

— Как у меня забилось сердце, — боязливо произнесла она.

— Дорогая дурочка! — сказал он, ласково глядя ее по роскошным волосам. — Чего ты испугалась? Что

может угрожать тебе, такой доброй и кроткой и защищенной рукой императора?

Подойдя к двери, он отодвинул задвижку и спросил сквозь щель:

— Это ты, Фаон?

— Да, повелитель! — послышался сдержанный голос. — Прости, если в моем безмерном смятении я пренебрег твоим запретом. Но случилось нечто необычайное.

— Подожди минуту!

Он обратился к Актэ.

— Это Фаон. Может он войти?

— Пожалуй! — уже с любопытством отвечала она, хотя все еще дрожала от внезапного испуга.

Раб вошел с почтительным поклоном.

— Говори! — приказал Нерон.

— Вот в чем дело. Я стоял у входа и любовался прекрасным вечером, как вдруг ко мне подошел какой-то человек, с лицом наполовину закрытым капюшоном его пенулы, и грубо спросил: «Здесь живет Актэ, отпущенница Никодима?»

— Что же ты ответил? — спросил цезарь.

— Ответил коротко и ясно, что он нахал.

— Нужно отдать тебе справедливость, Фаон, ты стоишь выше светского обращения! Как же понравилась нахалу твоя откровенность?

— Бросившись на меня, он схватил меня за грудь и, получив несколько ударов кулаком, злобно заревел. «Уж не хочешь ли ты разыгрывать оскорбленного, презренный сводник? Я пришел от имени высших властей, могущих уничтожить тебя!» — Скажи еще одно слово, и я вобью тебя всего в землю! — рассердившись, крикнул я в свою очередь. Увидав, что меня не легко испугать, он сделался вежливее и после нескольких намеков отдал мне вдвое перевязанную восковую дощечку. «Дело очень спешное, — серьезно прибавил он, — судьба цезаря зависит от немедленной передачи этой дощечки! Спешите же, не теряя ни мгновения!» — И я прибежал сюда, вопреки твоему повелению; прости меня, но я полагал, что, быть может, действительно тут что-нибудь важное и что этого желает судьба.

Фаон ушел.

Взяв со стола серебряный нож для фруктов, император разрезал шнурки дощечки и вполголоса с иронией прочел следующее:

Нерон закончил читать. Актэ, как пораженная громом, сидела на бронзовой скамье и из-под полуопущенных ресниц ее катились жгучие слезы.

Спокойно, хотя с тайным смущением, положил Нерон дощечку на стол.

— Возлюбленная! — нежно сказал он, подходя к девушке. — Я узнаю почерк, несмотря на то, что его очень старались изменить!

Плачущая Актэ быстро подняла голову; Нерон обтер ей мокрые щеки полкой ее одежды.

— Это почерк моей матери, императрицы Агриппины, — торжественно сказал он. — Она водила стилем с несказанным тщанием, местами проводя линии, долженствовавшие ввести меня в заблуждение. Но я знаю ее письмо, даже если бы она вздумала писать левой рукой. Взгляни на ее А и почти греческое С! К тому же, кто в целом Риме дерзнул бы обращаться к возлюбленной императора с такими чудовищными

угрозами?

Актэ вздохнула.

— Твоя мать для меня, конечно, еще страшнее твоей жены.

— Октавия серьезна и сдержанна, — возразил Нерон. — Ее любовь ко мне исчезла уже давно. В этом ты права. Прежде чем заподозрить бедную Октавию в этой интриге, я заподозрил бы некоторых государственных людей, недовольных сенаторов и благородных. Многие, ненавидящие чрезмерную власть Агриппины, охотно послали бы подобное письмо с намерением вооружить нас против моей матери. Некоторые знатные дамы также с неудовольствием примечают, что со времени известного празднества у Флавия Сцевина, я избегаю всяких торжеств. Но все это лишь пустые предположения. Я убежден, что угадал. Обороты речи здесь также обличают высокомерную повелительницу, никогда не выражавшую ни одного желания без того, чтобы оно не было мгновенно исполнено.

— Какое несчастье! — простионала Актэ.

— Несчастье? Как? Кто господин и император Рима, я или Агриппина?

— Она твоя мать!

— Ты хочешь сказать, что она повелевает мной, потому что доселе я терпел ее вмешательство в государственные дела? Ты ошибаешься, Актэ! Если я допускал это до сих пор, то единственно лишь потому, что мне так хотелось. Я не азиатский царь, которому доставляет удовольствие дать почувствовать свое неограниченное могущество даже в отдаленнейших провинциях. Меня не привлекают ни сложный механизм делопроизводства, ни процессы граждан, ни мелочное честолюбие военных. Все, совершаемое мной в этой области, я совершаю по обязанности. Поддерживаемый с одной стороны Сенекой, с другой таинственным Люцием Никодимом, я шел по раз избранному пути; но чем больше спутники мои освобождали меня от обременительной путевой поклажи, тем легче становилось у меня на душе. Я человек, Актэ, друг всего прекрасного и благородного, я художник и поэт. Но прежде всего, я нежно любящий безумец, которому один час в твоих сладких объятиях дороже тысячи триумфов. С тех пор как ты моя, я предоставил все другим. Агриппина с Сенекой правят государством, я же только изредка вижусь с Бурром, да с усердным Тигеллином, при случае поддерживающим расположение ко мне солдат значительными денежными подарками. Теперь же, когда они хотят отнять у меня мое единственное, оставленное мной для себя сокровище, теперь они почувствуют, что одна милость моя сделала их тем, что они есть; я покажу им, кто господин здесь, и до последней капли крови буду отстаивать мое счастье!

— Ты погубишь себя! — воскликнула Актэ. — Не борись против течения! Не восставай безумно против грозной силы! Нерон, любовь моя, ты в заблуждении! Поверь мне, нельзя в одно мгновение схватить выпущенную из рук узду, и, прежде чем ты схватишь ее, твоя Актэ уже будет смята и раздавлена могучими копытами!

Он бурно схватил ее за талию левой рукой и подняв правую, произнес страшную клятву защищать ее до последнего издыхания.

Крепко прижавшись к нему, она целовала его сладко и нежно, как умела она одна, с застенчивостью девушки и страстью женщины.

— Нерон, что же мне делать? — тихо спросила она. — Скажи! Я буду слепо повиноваться тебе, хотя бы мне пришлось умереть!

— Ты спокойно останешься дома, — улыбнулся Нерон, отвечая на ее поцелуи. — Прикажи верному Фаону запереть на двойные запоры остиум и постикум! Я сейчас же пришлю тебе двенадцать моих телохранителей. Если незнакомец, не слыша твоего ответа, сделается навязчив, прикажи ему убраться.

Если и тогда он будет упорствовать, ты велишь его схватить. Еще один поцелуй, Актэ! Как чудно пахнут твои волосы! Нарциссами и розами! О, эти губки! Так ободрись же, обожаемое дитя, мое сладкое сокровище!

— Прощай! — прошептала Актэ. — Прощай, милый!

— Дощечку эту я возьму с собой, — деловым тоном сказал Нерон. — Сегодня же я поговорю с Агриппиной. Она не станет отпираться. Во всяком случае, Палатинум узнает, как поступает Нерон при чем бы то ни было малейшем поползновении коснуться Актэ.

Закинув за плечо тогу, он бросил на возлюбленную последний, бесконечно нежный взгляд и вышел.

— Поспешите! — приказал он своим мускулистым лузитанцам, сидевшим на мраморных плитах между стройными коринфскими колоннами. Мгновенно вскочив, они надели на плечи ремни. Нерон откинулся на подушки.

Фаон стоял возле носилок; сюда же услужливо подбежало несколько рабов и рабынь.

Император бросил им пригоршню золота, кивнул обычным гордым жестом римских вельмож и твердо произнес:

— В Палатинум!

Глава XIII

Носильщики зажгли в остиуме свои роговые фонари; позади шло несколько рабов с узкими, высокими факелами.

Бесконечная Аппианская дорога, которую они достигли, пройдя несколько сот шагов, была окутана молчаливыми сумерками. По небу клубились белые, матовые облака, лишь местами пронизанные лучами месяца. Справа и слева, перед фасадами вилл возвышались памятники — мрачные напоминания о непрочности красоты, мимолетности счастья и тщете земных страстей. Вдалеке, по ту сторону Тибра, виднелись резкие, гордые очертания Яникульской горы, которая одна казалась чем-то реальным и осязаемым в призрачном, поэтическом мерцании этой лунной ночи.

Вступив на *Via Sacra*, в самом ее начале, носильщики повстречали телохранителей, по приказанию цезаря явившихся сюда в начале первой стражи.

Преторианцы бесшумно последовали за носилками, которые десять минут спустя остановились перед входом в императорский дворец, освещенный факелами.

Сенека, имевший сообщить царю нечто очень важное, поспешил к нему навстречу.

Нерон нетерпеливо отстранил его.

— Все серьезное завтра! Мне еще нужно устроить кое-какие частные забавные дела. Где Октавия? И где императрица-мать?

Сенека величественно завернулся в тогу.

— Супруга императора, — холодно и церемонно отвечал он, — находится, как я осмеливаюсь предполагать, в покоях императрицы-матери. Мой повелитель желает говорить с этими высокими особами? Уже поздно и боюсь, что Агриппина очень утомлена. Только по желанию Октавии, казавшейся сегодня в необычайном волнении, согласилась она бодрствовать дольше, чем обыкновенно.

— Достопочтенный учитель, — произнес разгневанный Нерон, — будь так добр и раз навсегда запомни, что если императору случается иногда заставлять себя ждать, то в этом нет ничего необыкновенного. Доселе это бывало два-три раза, но впредь будет гораздо чаще, причем я не желаю слышать, даже от тебя, которого я так уважаю, никаких неодобрительных намеков. Клянусь Геркулесом, я изумлен, до чего это дошло! Неужели Клавдий Нерон менее свободен, чем сын какого-нибудь выскочки, попавшего в сенат благодаря гнусному золоту?

Из уважения к заслуженному учителю и государственному советнику Нерон произнес свое горячее возражение по-гречески.

— Господин и цезарь, — пробормотал Сенека на том же языке, — прости...

— Оставь теперь твое красноречие, достойный Сенека! Если хочешь обязать меня, то позаботься, чтобы обо мне тотчас же доложили! Я хочу говорить с обеими женщинами вместе. Поэтому пусть Октавия не пытается исчезнуть в боковую дверь, как это стало ее обыкновением в последнее время, когда супруг входит в покой.

Сенека склонил голову и поспешно прошел через полуосвещенный атриум, крепко сжимая правой рукой несколько сложенных рукописей.

— Жду тебя позже в моем кабинете, — сказал ему император, когда он, совсем растерянный от непривычной для него роли, вернулся, исполнив поручение. — Я взволнован, дорогой учитель, несказанно

взволнован. Прости, если я обошелся с тобой резче, чем того требует уважение к твоей увенчанной лаврами голове. Ты знаешь, что случилось?

Сенека пожал плечами.

— Я подозреваю, но смею тебя уверить, что я тут ни при чем. Я знаю, со страстью спорить нельзя, от нее можно требовать только некоторых уступок. То, что сегодня, в день вашего обручения, ты так поздно являешься домой, по моему мнению, переходит границы, которые должны быть уважаемы даже цезарем.

— День нашего обручения! — с искренним изумлением воскликнул Нерон. — Я этого не знал. И она также не сказала ни слова. Все равно! После я спокойно выслушаю твои упреки, а теперь — до свидания!

И он вошел в женскую половину дворца. Октавия сидела в серебряном кресле, бледная, как восковая статуя, с опущенными глазами, которые она не подняла, даже когда Нерон с испытующим взглядом остановился посередине комнаты.

Агриппина же с истинно царственной осанкой поднялась с мягкой софы навстречу сыну и только что собиралась заговорить, как Нерон поднес к ее мрачным глазам восковую дощечку и сказал вполголоса:

— Императрица Агриппина, отвечай: что значит это изумительное послание?

Агриппина взглянула на бледное, гордое, благородное лицо своего красавца сына и невольно отступила.

— Мать, — продолжал Нерон, — можешь ли ты отпираться? Я вижу, Октавии все известно, иначе она приветствовала бы меня, вместо того чтобы сидеть, как пригвожденная к своему креслу. Поэтому мы можем спокойно разъяснить все в ее присутствии. Повторяю: кто написал эти строки?

— Я, — отвечала Агриппина, хладнокровно скрестив на груди руки.

— Так позволь тебе заметить, что ты здесь приняла тон, к которому я не привык и которого не желаю слышать.

— Разве это относится к тебе? — насмешливо спросила Агриппина. — Разве я могла предвидеть, что дощечка эта попадет в руки императора?

— Ты не могла, но я благодарю судьбу за то, что так случилось. Бедная девушка, пожалуй, была бы одурочена. Знай же, мать, что твой тайный посол никогда не услышит желанные слова: «Я уеду». Я, император, повелел, чтобы с этим человеком, если бы он вздумал быть нахалом, поступили бы по законам, предоставляющим право самозащиты каждому римскому гражданину и каждому чужестранцу.

— Ты дерзнул...

— Дерзнул, мать, и так как мы уже заговорили об этом, то я обращаюсь и к тебе, Октавия! Уже давно ты моя жена только по названию. Как же может быть оскорбительно тебе, если я отдаю кроткому, очаровательному существу то, чем пренебрегла гордая Октавия, — весь пыл моего жаждущего любви сердца? Все уважение, подобающее твоему сану императрицы оказывается тебе. Мои доверенные ни одним словом не выдают тайны. Без роскоши и блеска вхожу я в скромное жилище, где я могу быть безгранично счастлив, между тем как здесь меня встречают лишь неподвижные статуи, холодная бесчувственность и безутешная пустота. Я не упрекаю тебя, добрая Октавия! Ты такая, какой создана. Но молю тебя, позволь же и мне быть таким, каким я создан! Позволь мне любить, в то время как ты сама умеешь только размышлять, исполнять обязанности и повиноваться твоим богам!

— Несчастный! — вскричала императрица-мать между тем, как Октавия отвернулась, не сморгнув. — Это ли награда мне за то, что я сделала для тебя и для твоей будущности?

Схватив его за правую руку, она с бешенством менады увлекла его в отдаленный угол комнаты.

— Думаешь ли ты, — продолжала она шепотом, щадя свою союзницу Октавию, — думаешь ли ты, что я на радость себе вышла за отца Октавии? Клавдий был чудовище, слышишь, чудовище — заумный, полный всевозможных бредней глупец, изобретавший новые буквы, в то время как римляне насмеялись над ним, как над игрушкой Мессалины. За этого Клавдия я вышла после ее смерти; я сделалась императрицей с отвращением в сердце и поддерживаемая лишь одной мыслью, что через это мой сын со временем достигнет власти...

— Мать...

— Молчи! Это правда! А потом, что делала я? Целые годы внушала я императору Клавдию мысль об устранении от престола Британника и успокоилась только, когда упрямый цезарь уступил и, обойдя родного сына, объявил своим наследником тебя, своего пасынка!

— Прошу тебя, мать, к чему все это?

— При этом он поставил одно условие: твой брак с его дочерью Октавией. Мы согласились, ибо никогда еще не было дочери столь непохожей на своих родителей. Если она что-нибудь унаследовала от нечестивой Мессалины, то только ее красоту. Во всем же остальном, клянусь Юпитером, в целом Риме нет женщины, равной Октавии по добродетели, благородству и скромности. При этом Клавдий не передал ей ни капли своей глупости. После смерти Клавдия ты мог бы разорвать торжественно совершенное обручение, если бы находил его решительно невыносимым. Теперь же Октавия — твоя жена. Она любит тебя, она отпрыск одного из знатнейших, аристократических родов; короче, ты бесчестишь себя, столь дерзко ее оскорбляя к заводу связь с беглой бесстыдной девкой.

— Твои речи жестоки! — вскричал Нерон, с силой вырывая свою руку. — Благодарю богов за то, что ты мать человека, чье драгоценнейшее сокровище ты так безмерно порочишь!

— Я имею на это право. Или ты можешь оправдаться?

— Да, мать. Одним словом: я не могу жить без Актэ.

— Ты глупец и бездельник. Повторяю, или ты все позабыл — все мои жертвы и усилия, мои неусыпные заботы?..

— Я узнал, однако, что твое рвение прежде всего послужило на твою же пользу. Называться матерью императора, управлять его именем и опекать его самого, как неразумное дитя, вот о чем ты мечтала!

— Кто это говорит? — с негодованием воскликнула она.

— Люди, не умеющие лгать. Я сам примечаю последствия твоих стремлений. Но все равно, ты моя мать и ради этого я все переносил, хотя часто вопреки собственному убеждению. Я подавлял в себе малейшее поползновение к самостоятельности, как только видел, что это неприятно тебе. Теперь же ты вторгаешься с насилием в область, где господствует один Нерон и где его не остановят никакие упреки, никакие соображения.

— Ты говоришь, как безумец.

— Это так кажется, но я прекрасно знаю, чего хочу. Я хочу раз навсегда порвать петлю, которую ты мне накинула гнетом твоей железной воли. Этот гнет довел нас до брака, но он не может заставить нас полюбить друг друга или даже притворяться любящими...

— Мальчик, что все это значит?

— Выбирай, мать! Или ты поклянешься мне Юпитером, карателем клятвоступников, что ты оставишь в покое мое дорогое сокровище — бывшую рабыню, как ты называешь ее, или сегодня же наступит конец твоему противозаконному вмешательству в государственные дела. Тогда я не потерплю,

чтобы ты рассуждала с Сенекой о будущности рейнских провинций, а с Бурром — о происшествиях в преторианских казармах. У меня есть люди, которые послужат мне в сенате — словом, а на улице — мечом, если дело дойдет до открытой борьбы.

— Вздор! — с притворным равнодушием усмехнулась Агриппина.

Непривычный тон сына заставил ее побледнеть, и ей понадобилось все ее самообладание, чтобы скрыть сильное волнение.

— Прошу еще раз, выбирай! — нетерпеливо повторил Нерон.

Овладев собой, Агриппина нежно погладила его пылающую щеку и с кротким взглядом огорченной матери сказала:

— Как ты волнуешься и произносишь совершенно пустые слова! Что такое Нерон без матери, которая возвела его на престол? Ведь Бурр со своими преторианцами беззаветно, слепо предан мне...

— Что? — вскричал Нерон.

— Беззаветно предан мне! — со спокойной уверенностью повторила она.

Нерон пожал плечами.

— Как ты ошибаешься в римлянах и в гвардии! Пока Нерон считался твоим покорным сыном, все шло прекрасно! Всему Риму ведь известна была моя преданность тебе, и повиноваться тебе, значило повиноваться мне. Но если, — от чего да избавит нас рок, — между нами развернется пропасть... слышишь, императрица Агриппина!.. тогда солдаты вспомнят, кому они присягали, тебе или мне!

— Не будем ссориться! — заговорила наконец Октавия. — Я ожидаю здесь не угроз и не цветистых речей, но прямого решения без всяких уверток. Неужели ты не сознаешь ужасного позора, которым ты нас покрываешь? Нерон, император, супруг Октавии, любит простую рабыню...

— Могу тебе признаться, — с горечью и гневом прервал ее император, — что эта простая рабыня умеет то, что недоступно многим весьма высокопоставленным женщинам: она умеет любить, давать счастье...

Октавия была не в силах слушать дальше. Молча встала она и ушла в свою спальню, где бессильно упала на ложе, измученная невыразимыми страданиями последних недель.

— Хорошо, что она ушла, — снова начала Агриппина. — Ее присутствие мешало мне высказаться вполне.

— Ты затрагиваешь мое любопытство.

— Я буду говорить откровенно, без обиняков. Знай, сын мой, что я нахожу твою неверность менее постыдной, чем безграничную бестактность твоего образа действий. Допускаю, что наши предположения относительно доброй Октавии были ошибочны и что, несмотря ни на какие усилия, вас нельзя настроить на один лад. Пожалуй, ищи себе на стороне вознаграждение за эту ошибку, но не превращай мимолетную прихоть в открытую связь. Согласись, что это была настоящая дерзость — твоя публичная прогулка на Марсовом поле с этой... Актэ.

— Мать! — вскричал возмущенный Нерон.

— Дай мне договорить! Скажу больше. Будь это связь с Септимией или другой знатной женщиной, я закрыла бы глаза. Цезарь все-таки — цезарь, и тысячи других людей делают то же самое, без преимуществ императорского сана. Но когда ты играешь эту приторную идиллию с отпущенницей Никодима, поешь ей нежные песни и лежишь у ее ног, представляя из себя посмешище для всех образованных людей, право,

это недостойно тебя и, клянусь богами, еще более недостойно меня!

— Мать, если бы ты ее видела, если бы посмотрела на ее глаза, в которых отражается чистая, возвышенная душа, если бы ты слышала ее умные, рассудительные речи...

— Это чистое безумие! — прервала его императрица-мать. — Повторяю: как бы очаровательна она ни была, все-таки ты поступаешь как глупый школьник! «Прекрасный цветок!» Хорошо, так сорви его, как путник срывает шиповник. «Это забава», сказали бы тогда люди, «приключение в духе Зевса, также спускавшегося иногда с божественного престола, чтобы победить смертную». Ты же, вместо того, устраиваешь своей возлюбленной целый дом, даешь ей рабынь, как будто она привыкла повелевать служанками, мечтаешь только о ее любви, ежедневно осыпашь ее фиалками и розами, словом, ведешь себя как фанатик-жрец Изиды перед статуей своей всемогущей богини. Ей, этой тщеславной кукле, конечно, нравится видеть себя внезапно осыпанной богатствами и роскошью...

— Подожди! — остановил ее сын. — Не подвергай сомнению по крайней мере бескорыстие ее любви. Она с радостью поселилась бы под самой убогой кровлей в квартале матросов; это я навязал ей все это, потому что, по-моему, нет ничего в мире достойного ее и потому, что возлюбленная императора должна жить, как императрица...

Речь эта была подсказана Нерону гневом и злым желанием похвастать тем, чего в действительности не было, так как вилла Актэ была хотя прелестна, но не отличалась ни особенной роскошью, ни изящной архитектурой.

— Возлюбленная! — усмехнулась Агриппина.

— Жена, если тебе это больше нравится. Я так смотрю на нее, хотя, к несчастью, обстоятельства препятствуют мне открыто назвать ее моей супругой.

— Мальчик! В уме ли ты!

— Совершенно. И клянусь тебе, что, не будь я связан с Октавией торжественным брачным обрядом, божественная Актэ сделала бы моей повелительницей и императрицей, вопреки всей знати могущественного Рима.

Агриппина с отчаянием засмеялась и, задыхаясь, начала ходить по комнате, скрестив руки.

— Девка на престоле Августа! — воскликнула она. — Одна эта мысль есть уже государственное преступление, пощечина для твоей матери!

— Успокойся же! Ведь к этому не представляется ни малейшей возможности. Но если бы это случилось, то не спрашивай у меня ответа на вопрос: какая императрица до божественной Актэ заслужила корону больше, чем она, единственная, несравненная!

— Рабыня! — простонала Агриппина.

— Что ты хочешь сказать этим? Или твой ум так помрачен, что не ощущаешь могучего веяния, которое, подобно духовной весенней буре, проникло в мир от Сирии до Лузитании? Или только я стою так высоко, что до меня одного долетело это таинственное, божественное веяние? Недаром учил меня Сенека, что все люди равны по рождению, что различие между знатыми и простыми искусственно и что мнимые преимущества знати основаны только на произволе и власти.

Агриппина вскипела.

— С каких пор проповедует Сенека такое безумие?

— Каждый день с тех пор, как я его знаю.

— Так он должен быть устранен. Презренное чудовище! Я считала его учение полезным, пока оно делало из тебя послушного, любящего сына. Теперь же — долой двуличного софиста!

— Мать, — после долгого молчания заговорил Нерон, — если Сенека возбуждает твое неудовольствие, я отрешу его от должности. Он в достаточной мере философ, чтобы уметь обойтись без Палатинума. Если у тебя есть еще желание: приказывай! Только не жди одного, чтобы я покинул Актэ! Если я замечу хоть малейшее посягательство на нее, я окружу ее собственной германской гвардией.

Агриппина внезапно вздрогнула. Казалось, у нее блеснула мысль, сулившая ей победу.

Несколько времени она стояла с опущенным взором, а потом кротко сказала:

— Скажи мне, дорогой мальчик, говорит ли в тебе упрямство, унаследованное тобой от твоего отца Домиция Аэнобарба, или ты действительно любишь девушку?

— Я люблю ее больше всего в мире.

— Ну, так люби ее! Но прошу, держи свою любовь в тайне! Я попытаюсь утешить несчастную Октавию.

— Мать, ты делаешь меня счастливым! — пылко вскричал Нерон и, бросившись к ней на шею, покрыл поцелуями ее лихорадочно пылавшие щеки.

— Неразумное дитя, — нежно произнесла она. — Но не воображай, что я одобряю то, на что соглашаюсь только по излишней слабости. Я рассчитываю — и это мое единственное утешение, — что время образумит тебя!

— Рассчитывай на что хочешь, и желаю тебе приятных сновидений! Я страшно измучен. Спокойной ночи!

Нерон ушел, сияющий счастьем. В атриуме уже ожидали рабы, обязанные проводить его в спальню.

— Глупый мальчик! — прошептала Агриппина, когда занавес спустился за императором. — Ты хочешь повелевать мной? Какой гнев сверкал в его глазах, когда он угрожал мне! Но благодарение богам: приняты все меры для того, чтобы поток не затопил горы!

Глава XIV

Агриппина поспешила в слабоосвещенную спальню Октавии.

Молодая женщина, рыдая, лежала на постели.

— Не плачь! — строго и в то же время с состраданием сказала императрица-мать. — Если бы ты была умнее сначала, легкокрылая птичка не вырвалась бы от тебя. Я даже не считаю женщиной молодую красавицу, не сумевшую привязать к себе человека, уже раз принадлежавшего ей.

Медленно приподняв заплаканное лицо, Октавия зашевелила губами, как бы пытаясь возразить.

— Оставь! — прервала ее Агриппина. — Я пришла не затем, чтобы упрекать или осуждать тебя. Да это и ни к чему и не повело бы. Напротив того, я говорю тебе, что скоро ты восторжествуешь над соперницей.

— Восторжествую? — с боязливым сомнением повторила Октавия.

— Да. Я решила. Он высокомерно объявил мне, что одна смерть может порвать его связь с Актэ. Вот об этой-то смерти я и похлопочу.

Октавия, дрожа, закрыла лицо.

— Не тревожься! — успокоила ее Агриппина. — Этого требуют нравственность, добродетель, блеск цезарского достоинства. Мы находимся в положении личной обороны; тут позволительны всякие средства. Разве прославленный историей патриот Муций Сцевола не прокрался тайно, как наемный убийца, в шатер Порсены? Разве Брут не умертвил своих сыновей ради величия своей родины и консульства? Престол же императора выше и блестящее всего остального в мире. Словом, даю ему три недели сроку. Если до тех пор он не прогонит свою любовницу, то участь ее решена. Я прикажу умертвить ее.

— Ради всемогущего Юпитера, — с ужасом вскочив, вскричала Октавия. — Ты не сделаешь этого, ты, мать императора!

— Почему нет?

— Потому что... потому что...

— Есть предел, — сказала Агриппина, — за которым доброта становится нелепостью. Когда я попаду на суд истории, многие из моих деяний будут осуждены, потому что большинство жалких заурядных людей будущего не сумеют понять меня и возвышенные причины моих поступков. Все это для меня вздор и безделица; одно только может привести меня в бешенство: показаться смешной. Теперь я представительница закона и чести императорского дома, и мне, как главе семейства, подобает беречь древнюю славу его и уничтожить виновную, запятнавшую этот блеск.

Октавия подошла к ней.

— Дорогая мать, — трогательно сказала она, — мне меньше всех пристало защищать эту виновную. Но совесть шепчет мне: одна лишь горесть о моей навеки потерянной любви делает меня такой непреклонной в осуждении ее; поступок же твой все-таки будет убийством!

— Называй, как хочешь! Но если ко мне в дом забирается вор, чтобы украсть мои сокровища, я имею право убить его.

— Мать, — зарыдала Октавия, — Актэ ведь не похитила у меня его любви, потому что сокровище это никогда не принадлежало мне. Я ежедневно на коленях благодарила бы богов, принося им жертвы и дары до последнего динария, если бы после многолетних стараний мне удалось овладеть его сердцем, хотя бы на одну лишь мимолетную неделю! Но я не хочу грубого, сухого насилия, мать. Это ожесточит его еще

больше; он сочтет меня виновницей его утраты и возненавидит меня, тогда как теперь он только равнодушен ко мне.

— Не опасайся этого! — возразила Агриппина. — Увенчанному императорским венком легко пережить всякое преходящее горе. Если он действительно ее любит, то, оплавав ее, он тем сильнее почувствует потребность восполнить свою потерю. Тогда ты должна быть прекрасной, нежной и обратить в свою пользу некоторые не совсем загасшие воспоминания. Пусть сначала он воображает, что обнимает в твоём лице свою «божественную», как он зовет ее. Ты с ней почти одинакового роста, и его пылкая фантазия легко поддастся обману, пока наконец он научится любить действительность. Тебя же он положительно не может заподозрить в покушении на Актэ. Он знает, как ты почитаешь богов, как ты робка и скромна. В худшем случае я прямо скажу ему: «Я, твоя мать, освободила тебя от Актэ. Мизинец Октавии прекраснее нежели вся твоя погибшая возлюбленная. Сойдитесь и постарайтесь поскорее подарить свету наследника престола! Я не стану сердиться за неприятный титул бабушки, который для Агриппины почти равносителен брани!» Теперь спи, Октавия! Ты, наверное, устала не меньше меня.

— Нет, нет, я не отпущу тебя! — вскричала Октавия, останавливая уходившую Агриппину. — О, ты не знаешь его! Не думай, что с ним так легко справиться! Если он ее действительно любит — как я того боюсь, — то ради нее он вступит в борьбу со всеми земными силами. А если ты тайно уничтожишь ту, которую он боготворит, то... да смилуется над всеми нами милосердый Юпитер! Он сотрет в прах меня, тебя и весь Рим в безмерности своей муки. В короткое время, пока он был моим супругом, я успела подметить всю страшную глубину его страстей. Душа его полна самых разнообразных чувств: в ней живут рядом гении добра и зла, счастье и несчастье, божество и всеразрушающее чудовище. Я была бы блаженнейшей из жен, если бы судьба позволила мне развить и укрепить в нем все возвышенное и благородное и навсегда задушить демонов тьмы. Боги, по неисповедимому приговору, отказали мне в этом; Актэ же, как видно, это удалось. Оставь же мне мою жестокую горечь, если только он счастлив и если семена бессмертных деяний процветают в его душе.

Агриппина смотрела на нее тупым, непонимающим взглядом, как будто Октавия говорила на сарматском или готском языке.

— Я не понимаю тебя, — с отчаянием пожав плечами, сказала она наконец.

— Если бы ты любила его столько, сколько я, ты поняла бы меня. Ты тотчас бы заставила его замолчать, увела бы его под каким-нибудь предлогом и избавила бы меня от этой муки. О, что я выстрадала! Какое мученье было слышать, как он сухо и повелительно допрашивал тебя, пренебрегая мной, его женой, до такой степени, что в моем присутствии защищал свою возлюбленную!

— Ну вот видишь сама, как она вредит тебе, эта отвратительная змея! Вот это-то я и хочу устранить! Право, ты так расстроена...

— Нет. Мои мысли ясны... То, что я сейчас сказала, был только вопль, невольно вырвавшийся из моего измученного сердца. Актэ терзает меня до безумия, но все-таки ты не должна убивать ее! Поклянись мне в этом тем, что для тебя священнее всего! Иначе я не буду знать покоя! Иначе я сию же минуту пойду к нему и выдам ему твое намерение!

В чертах императрицы-матери выразилось безграничное негодование.

— У тебя натура рабыни, — с гневом воскликнула она. — Кто, подобно нищему, бросается на пыльную дорогу, не должен удивляться, если его затопчут.

— Я иду к нему, — прошептала Октавия, протягивая руку к накидке.

— Хорошо, — мрачно произнесла Агриппина, увидав, что она решилась, — я поклянусь тебе...

— Священнейшим и высшим на небе и на земле! — подсказала Октавия.

— Моей властью над миром! — поправила ее Агриппина с величавым движением. — Той, о которой ты просишь, не будет сделано никакого вреда. Но я надеюсь, ты согласишься на то, чтобы я употребила все силы для расторжения этой связи каким-нибудь способом. Если ты так равнодушна к самой себе, прекрасно! Для меня же, для матери императора, это — поношение, и я буду действовать, как мне подскажет мое достоинство.

И она ушла не простившись.

Сирийский ковер медленно заколыхался над дверью.

Смертельно измученная Октавия бросилась на колени и начала молиться.

— Милосердная мать вселенной, — шептали ее дрожащие губы, — покровительница женщин Юнона, сжался надо мной! Я любила его всеми силами души с самого начала и с мучительным самообладанием оставалась нема и холодна, желая убить надежду в моем боязливо бившемся сердце. А потом наступил короткий блаженный сон, когда мне каждое мгновение хотелось крикнуть: «Не верь моей холодности! Ведь я почти умираю от горячей невыразимой любви! Ведь только оттого, что мне стыдно моих долгих сомнений, только оттого блаженно мое замирающее сердце, оно точно придавлено свинцовым бременем!» Быть может, если бы я высказала тогда все, что кипело в моей груди... Ужасная мысль!

Она опустила голову и ее роскошные светло-каштановые волосы волной рассыпались по прекрасным плечам.

— Милосердая Юнона, — молилась она, — прости меня, если в своей глупой неловкости я сделала ошибку! Сжался надо мной! Исцели мое смертельно раненное сердце от всепожирающей любви, потуши ее, как ветерок тушит свечу, или дай мне силу вернуть ко мне моего Клавдия Нерона! Я не могу выносить этого дольше. Каждую ночь орошаю я слезами мое одинокое ложе, а чуть забрезжится день, я спрашиваю себя: что мне в этом новом сияющем дне, если он ничего не изменит? Умилосердись надо мной, избавь меня от моей грызущей тоски, и я буду до конца жизни прославлять тебя!

Она встала, немного утешенная.

— Сила природы! — как бы во сне прошептала она. — Что рассказывал он мне о силе природы и ее таинственных целях? Юпитер не разражается громами и Амур не пускает стрел, но все-таки, во всех вещах скрывается божество, а любовь самое могущественное и действительное из божеств. Когда мужчина и женщина воспламеняются взаимной страстью, это происходит во имя скрытого всемогущего духа и для выполнения его непостижимых целей...

Она потерла себе лоб.

— Да, да, он говорил так, или похоже на это... Мужчина любит в обожаемой женщине будущее дитя и оттого — хотя он только смутно это чувствует — он с таким горячим упорством привязывается к той, которая обещает ему красивейшего и совершеннейшего ребенка...

Она закрыла руками зардевшееся лицо.

— Горе, горе мне! — продолжала она. — Если бы я могла теперь подать ему надежду, что он сделается отцом, что у него будет ребенок, похожий на него, да, тогда... Нет, — после короткой паузы вскричала она, — мой ребенок никогда не удовлетворил бы его. Это не было бы дитя его мечтаний. Но если бы Актэ... О, я несчастнейшая из женщин!

Совершенно изнеможенная, она опустилась в кресло.

Через некоторое время в дверь спальни двукратно постучались, и на отзыв Октавии вошли Филлис и отпущенница Рабония.

Пожилая Рабония бросила на Октавию вопросительный взгляд, на который императрица ответила легким наклоном головы. Отпущенница ловко и тихо сняла с Октавии одежду, между тем как Филлис развязывала ей сандалии, снимала браслеты и вынимала из густых волос золотые шпильки. Рабония свила ее волосы узлом и не могла удержаться, чтобы не выразить восхищения перед несравненной красотой душистых прядей.

— Ты хочешь порадовать меня твоей невинной лестью? — сказала молодая императрица. — Благодарю тебя за доброе намерение.

После того как Октавия приняла обычную ванну в соседней комнате, Филлис удалилась с церемонным поклоном. Рабония же, уложив свою прекрасную повелительницу в постель, сама легла перед ее ложем на разостланный ковер.

Голубоватая лампа разливала печальный свет на бледные черты страдальцы, от закрытых глаз которой еще долго бежал сон, между тем как Рабония давно уже заснула.

Часть вторая

Глава I

Две недели спустя в рабочем кабинете Флавия Сцевина сидели шесть человек, погруженные в тихую беседу. Это были: хозяин дома, его супруга Метелла, Бареа Сораний, Тразеа Пэт, богатая египтянка Эпихарис и государственный советник Анней Сенека.

Из-за своего упорного противодействия каким бы то ни было насильственным мерам против юной возлюбленной императора Сенека окончательно потерял расположение императрицы-матери, которая употребила все старания, чтобы лишить его влиятельного положения при дворе.

Вопреки своей теории о всемогуществе стремлений природы, выражавшемся в любви тем решительнее, чем упорнее казалась привязанность, Сенека считал страсть цезаря преходящим увлечением, которое в конце концов минует без вреда для духовного развития Нерона, если его оставят в покое; в противном же случае можно было ожидать самых неприятных последствий.

Агриппина пока еще опасалась прибегнуть к крайности и, обойдясь без Сенеки, привести в исполнение свои планы по собственному усмотрению, ибо сдержанное, безупречно благоразумное поведение Нерона после тяжелого объяснения, так же как весьма скромное поведение Актэ внушали ей известную долю уважения.

Слова нечастной Октавии, быть может, также не были забыты ею.

Тем не менее государственный советник считал, что близится время, когда возможно будет наконец сломить высокомерие Агриппины.

— Друзья, — говорил своим задушевым голосом Тразеа Пэт, — по моему мнению, если нельзя немедленно уговорить Нерона на решительный поступок, то мы должны действовать самостоятельно, хотя и с величайшей снисходительностью. Безбожное нападение на Флавия Сцевина в его саду доказало нам, что убийца императора Клавдия и Британника не избыла своего позорного коварства. Если Анней Сенека, с самого начала знавший об этих преступлениях, до сих пор еще не устранил злодейку, то единственно лишь из уважения к почтительному сыну, не подозревавшему о святотатственных деяниях своей матери. Но Нерон, по-видимому, все больше и больше отдаляется от государственных занятий. Агриппина фактически остается единоличной правительницей и, вместе с немногими разумными мерами, она прибегает к отвратительнейшему произволу всюду, где это ей представляется выгодным.

— Это правда! — вскричали вместе Метелла и египтянка Эпихарис.

— В особенности же, — продолжал Тразеа Пэт, — возмутило меня позорное покушение на Флавия Сцевина. Я промолчал, как я молчу повсюду, где слова преждевременны. Но мне тотчас же стало ясно, что таинственный удар кинжалом был ответом Агриппины на патриотический тост нашего превосходного друга. Много недель пролежал Флавий Сцевин на одре болезни. Теперь он здоров благодаря искусству его честного Полихимния. С согласия Флавия, я пригласил вас сюда, ибо мне кажется, что долг дружбы, равно как и любовь к родине, предписывают нам взглянуть прямо в лицо тягостному положению.

— Ты не сомневаешься относительно виновного лица? — обратился к нему Бареа Сораний.

— Весь свет шепчет, что преступница — Агриппина.

— А где доказательства? Я ненавижу презренную женщину, но я друг справедливости. И речь твоя недостаточно меня убеждает.

— Почему? — спросил Пэт.

— Я понимаю причины, побудившие Агриппину избавиться от императора Клавдия. Он лично был ей противен, вечно надоедал ей своей ученостью, и если действительно он умер, поев отравленных грибов, то я готов поверить, будто она сказала при этом: «Грибы — кушанье, превращающее людей в богов». Все это мне понятно, хотя я считаю это низким и гадким. Потом она влила отравленную воду в вино благородного Британника. И здесь я должен допустить целесообразность ее побуждений, основанных на честолюбии бессовестной женщины. Но я не могу постигнуть причин, заставивших ее немедленно посягнуть на жизнь Флавия Сцевина из-за нескольких слов, в сущности, бывших лишь намеком цезарю на то, что он больше не дитя. Нельзя же стрелять в птиц из метательных снарядов.

Наступила пауза.

— Пэт, — снова заговорил Флавий Сцевин, — ты еще раньше делал мне разные намеки, но врачи не позволяли нам беседовать прежде, чем я поправлюсь совсем. Я полагаю, что тебе известно больше, чем подозревает Бареа Сораний. Так говори же теперь откровенно, для того, чтобы друзья наши, а в особенности государственный советник, узнали все, без утайки.

— Охотно, — возразил Пэт. — Я уже хотел это сделать, когда меня остановил красноречиво подчеркнутый скептицизм друга Бареа. Сенека не удивится, так как он знает нравы императрицы и ее необузданно кичливый характер.

— Действительно, — подтвердил Сенека, — ее дерзость с каждым днем становится все более угрожающей. Я простил ей прошлое ради Нерона и потому, что считаю приличным для истинного философа быть строгим к самому себе и снисходительным к другим. Однако пришла пора преградить бурный поток, иначе он зальет всю страну своими дымящимися красными волнами.

— Вот до чего мы дошли с нашими надеждами! — вздохнул Флавий Сцевин. — Мы дошли до этого под скипетром кроткого, человечного Нерона, страстного поклонника искусств, восторженного друга природы, обладающего лишь одним недостатком — слишком горячо привязываться ко всему, что его вдохновляет.

— Мы заходим в постороннюю область, — заметил мрачный Бареа. — Пэт хотел сообщить нам свои наблюдения.

— Итак, мой дорогой Флавий Сцевин, — начал Тразеа, — преступление, совершенное над тобой императрицей-матерью, было лишь наполовину политическое и, как таковое, оно оказалось крайне безрассудным и преждевременным, ибо оно заставило каждого из нас спокойно и уверенно смотреть в глаза висящей над нашими головами опасности и с двойной энергией приступить к осуществлению наших планов. Из твоего тоста она поняла, что и ты, которого она считала наполовину обращенным, будешь камнем в стене, воздвигаемой против нее древним, непобедимым римским духом. В припадке внезапного раздражения она могла решиться устранить тебя, и как можно скорее. Но раздражение это не было бы столь безмерно, если бы Ото, которому несколько дней тому назад она тайно предлагала свою благосклонность, но не добилась ничего, кроме вежливых уверток (это мне рассказала Поппея), не улыбнулся с таким удовольствием при этом тосте. Это произвело взрыв.

— Но кто же знает, чему он улыбнулся? — прервал его Бареа. — Быть может, красивым формам своей жены или бесстыдной рожице Ацерронии.

— Не горячись, достойный Сораний, — продолжал Пэт. — Все равно, чему бы ни улыбнулся Ото. Факт тот, что он улыбнулся, что императрица заметила его улыбку и отнесла ее к своему затруднительному положению. Я прекрасно видел, как она побледнела при этой, столь многократно упоминаемой улыбке, между тем как Флавий уже давно произнес свои самые резкие слова. В ней вскипел гнев отвергнутой,

жаждущей любви женщины. Она хотела показать Ото, от которого она все-таки не отказалась, что выпадает на долю дерзкому наглецу, осмеливающемуся оскорблять прекраснейшую женщину Рима, какой она себя считает.

— Гм! — проворчал Сенека.

После короткого молчания Тразеа Пэт продолжал:

— Я тотчас заметил, что она что-то замышляет. Быть может, этим быстрым наказанием ей вздумалось поразить влюбленного в свою жену Ото. Словом, воспользовавшись первым удобным мгновением, она поручила своему любимому гвардейцу исполнить то, что произошло с такой ужасающей ловкостью, но, благодарение богам, без предполагавшихся последствий.

— Я также видела минутную беседу императрицы с одним из центурионов, — заметила Метелла. — Мне это показалось неприличным, но я подумала, что дело идет лишь о любовной нежности. Мы знаем через Поппею, что Агриппина не имеет предрассудков в выборе любовников. Вчера это знатный юноша, сегодня — рослый солдат: вот ее добродетельные обычаи.

— Но она умеет скрывать все это, — сказала египтянка Эпихарис. — По крайней мере до меня, как я ни прислушивалась повсюду, ни разу еще не доходили рассказы о ее приключениях.

— О подобных вещах болтать было бы неосторожно, — усмехнулся Пэт. — Но тогда публичной тайной было ее полное благоволение к центуриону Галлиену, который и доселе, в известные часы после полуночи, одержим безумной мечтой, будто он, ничтожный солдат, повелевает повелительницей Рима.

— Все это ничего не доказывает, — вскричал Бареа Сораний. — Уверяю вас, что до того мгновения, когда мы услышали крик Сцевина, центурион не покидал своего места позади ложи его повелительницы.

— Превосходно, — возразил Пэт. — Но мой вечный порицатель Бареа Сораний не хочет допустить, чтобы в продолжение кратких мгновений, протекших между разговором императрицы с Галлиеном и построением стражи вокруг ложи, подобное поручение весьма легко могло быть передано дальше, и личному его исполнителю вручен кинжал, что действительно и случилось на моих собственных глазах.

— Конечно, это весьма важное свидетельство, — отвечал Сораний. — Но все-таки я принуждаю себя сомневаться до тех пор, пока есть хоть малейшая возможность иного истолкования. Неужели все, следующее одно за другим, должно иметь между собой основную связь? Не теряй терпение, Тразеа Пэт! Я только развиваю мою идею. Во всем остальном я доверяю твоей испытанной проницательности гораздо больше, чем моей.

— Даже не веря в мою так называемую проницательность, ты должен был бы поверить моим словам правдивого человека. Я не только подозреваю, я знаю, что убийца — Агриппина. Я это узнал от женщины, присутствовавшей на празднике и достаточно близкой к Агриппине, чтобы изучить ее свойства. Женщина эта нашла даже орудие покушения — кинжал, признанный ею за собственность императрицы-матери.

— Клянусь Геркулесом, теперь я молчу! — воскликнул Сораний.

— Кто эта женщина? — единогласно спросили все.

— Я не могу назвать ее.

— Жаль, — заметил Флавий Сцевин.

— Но я догадываюсь, — сказала Метелла.

— Где же нашла она кинжал? — спросил Бареа Сораний.

— Очевидно, на месте преступления, когда убийца бросил его, — отвечал Сенека. — Но если я могу

дать вам совет, то вот он: будем думать о том, что предстоит, а не о том, что прошло. Агриппина поставила себя вне закона: это несомненно. Но будь она так же чиста, как богобоязливая Ифигения, все-таки благо империи потребовало бы ее свержения с престола. Я говорю «свержения», ибо никто лучше меня не знает, насколько она в действительности императрица, между тем как Нерон, мой чудный, божественно-одаренный ученик, держит в своих руках один лишь призрак власти. Сначала это было полезно; теперь же все благородные римляне возмущены тем, что славной империей Августа правит женщина, да к тому же еще тайная любовница преторианцев. С каждой неделей опасность для государства возрастает. Хотите ли вы дожить до того, чтобы Агриппина, в своем все сильнее разгорающемся честолюбии, поступила с родным сыном так же, как с своим пасынком Британником? До того, что она заключит цезаря в цепи или умертвит его ради свободного разгула с гвардейцами и безжалостного высасывания крови из римского народа, подобно ядовитому пауку? Я вижу ее перед собой, и, право, она походит на чудовищного паука. В центре ее паутины стоит Палатинум. Все же остальные нити, до крайних пределов, усеяны солдатами, купленными ею на богатства наших провинций. Она стремится править миром из своей спальни; она льстит всему сенату, на случай если балеарские стрелки откажут ей в своих свинцовых снарядах. Горько раскаиваюсь я в том, что был так уступчив сначала и что, уверенный в способностях Нерона, я сам помогал увеличивать влияние ненавистной женщины.

Он остановился.

Знаменитый оратор никогда еще не говорил с такой убедительной силой выражений и жестов.

Нужно, однако, сознаться, что его весьма вдохновляла забота о собственном благе.

Шпион донес ему, как жестко высказалась Агриппина о нем и его поведении относительно Нерона.

Теперь следовало предупредить императрицу-мать, если он не хотел потерять игру. Тот же шпион — греческий раб, которого он однажды спас от гнева Агриппины своим кротким вмешательством, — кроме того, сообщил ему о том, что говорилось между юным императором и его матерью об отпущеннице Актэ, и Сенека, со своей стороны, сделал попытку отсоветовать цезарю поддерживать эту связь.

В этом случае, то есть если бы Нерон согласился обуздать себя, друзья Тразеа Пэта нашли бы в цезаре сильную поддержку. Но, к несчастью, оказалось, что на содействие влюбленного юноши нельзя было рассчитывать. Вследствие этого заговорщики были лишены могущественнейшего рычага, который неприметно сдвинул бы с их пути тысячу затруднений. С помощью молодого императора удаление Агриппины могло бы произойти без всякого шума, даже под видом добровольного отречения. Теперь же, при существующих обстоятельствах, весьма вероятно было, что придется прибегнуть к насилию.

В продолжение своей речи Сенека взялся указать наиболее доступные пути для такого насилия. Прежде всего, он указал на необходимость привлечь на сторону заговорщиков начальника преторианцев Бурра, а затем и гвардию.

До сих пор Нерон аккуратно выплачивал жалованье преторианцам, при случае удваивая и даже утраивая эту плату.

Стараясь укрепить свое господство, императрица-мать из собственных средств платила гвардейцам больше, чем Нерон, присоединяя к этому особые почетные подарки военным трибунам и центурионам.

Бурр, не проявляя видимого чванства, был, однако, под чарами благосклонности императрицы, отлично умевшей опутать его, и разрушить эти чары казалось делом не легким.

Несмотря на это, Сенека брался выполнить обе трудные задачи.

Влияние на солдат должно было исходить от некоторых центурионов, снабженных огромными денежными средствами.

Что же касается Бурра, то этот медведь, которому так не пристало ухаживанье, прежде всего был солдатом. Служба независимому императору, наверное, покажется ему славнее, нежели его теперешнее положение, совершенно вопреки его характеру напомилавшее Геркулеса за прялкой Агриппины. Как скоро Бурр будет вовлечен в заговор, останется только выполнить последнюю задачу.

Сенека попросит Бурра держать наготове всех преторианцев в большой казарме. Затем государственный советник с высокой свитой из сенаторов и жрецов приведет туда императора и попросит его в короткой речи объявить солдатам, что ради блага империи царствование Агриппины должно прекратиться. При этом людям должна быть подарена сумма, в двенадцать раз превосходящая все дары Агриппины вместе взятые. Между тем военный трибун Юлий Виндекс, которому уже давно все доверено, будет ожидать с отрядом знатных юношей, чтобы в случае непредвиденного сопротивления возбудить народ к борьбе против женского владычества. Под громадными сводами погребов египтянки Эпихарис лежат груды оружия.

Римляне, в своей приверженности к Нерону, несмотря на нынешнюю изнеженность, наверное, вновь схватятся за меч, чтобы доказать, что в них еще не угас дух увенчанных лаврами Фабиев. Тразеа Пэт в собрании сената, немедленно созванном Сенекой в Капитолии, должен силой своего красноречия и своей внушительной личностью уничтожить приверженцев Агриппины, заставить сенат признать совершившееся законным и торжественно выразить заговорщикам признательность спасенного отечества.

Все глубоко перевели дух, когда Сенека окончил свою пламенную речь.

Никто не возражал. Роли казались распределены так удачно, отдельные колеса механизма так точно подходили одно к другому, что нельзя было найти ни одного опровержения.

— Да будет так! — воскликнул наконец Бареа Сораний. — А когда все окончится, тогда открыто обвините императрицу-мать перед государственным уголовным судом как преступницу и сошлите ее под строгим конвоем в Пандатарю, где она может в изгнании размышлять о том, что жажда власти прилична лишь мужчинам, а не женщинам!

Глава II

На следующей неделе, несмотря на разгар весны, небо покрылось густыми тучами. Вечером 2 мая дождь сплошным потоком низвергался на Вечный город, как будто бог погоды задавал свои мрачные декабрьские оргии.

Императрица-мать находилась на своей прелестной даче в Албанских горах, где среди весенних красот роскошной природы она, по-видимому, забывала все, что обыкновенно занимало ее изменчивую душу.

Об этом, под печатью строжайшей тайны, из уст в уста ходили удивительные вести. Фаракс, замечательно сложенный центурион, внезапно возвысился до звания военного трибуна.

Он воспользовался несколькими днями отпуска для того, чтобы достаточно заручиться расположением маленькой ловкой Хаздры — компаньонки Поппеи Сабины. Теперь для осуществления намерений влюбленных требовалось только разрешение императрицы.

Агриппина выказала при этом странную медлительность...

В то же время замечали, что Фаракс часто прогуливался вдвоем со все еще очаровательной императрицей в уединенных аллеях албанского парка, а раз ее даже видели нежно сжимавшей обеими руками его могучую руку...

Между тем разрешение на брак с Хаздрой все откладывалось...

Октавия также покинула город и переехала на свою аппианскую виллу.

Один Нерон еще жил в Палатинуме, где он уединенно проводил утренние часы в тишине библиотеки, в то время как Бурр и Сенека занимались текущими, не представлявшими особой важности, государственными делами, посылали ежедневных курьеров императрице-матери и старались как можно скорее открыть летние каникулы, для того чтобы и для них, этих главных работников империи, пробил наконец час отдыха.

Нерон теперь почти всегда обедал у Актэ.

Он редко возвращался домой раньше полуночи и, оставшись один в своей роскошной спальне, он часто бодрствовал до четвертой стражи, серьезно занятый размышлениями о ближайшем будущем.

При его переселении в одну из очаровательных вилл Кампаньи, его возлюбленная Актэ, конечно, не останется в Риме.

Больше всего ему хотелось тайно снять виллу на берегу озера Бенакуса в Северной Италии, выдав себя за дворянина из Мутины или Вероны, Актэ же — за свою жену.

Но скоро он осознал всю неисполнимость этой идеи.

Если император исчезнет на целое лето, так что даже Октавия и Агриппина не будут знать ни о его местопребывании, ни о цели его отсутствия, это непременно поведет к объяснениям, которых он желал избежать. Насколько тверда была его решимость противостоять Агриппине в одном важном пункте, настолько же был велик его тайный страх перед проявлением ее гнева. Он знал теперь, что в груди этой женщины живет демон, который, раз вырвавшись на волю, может разрушить все.

Поэтому он счел за лучшее остаться еще на некоторое время в Риме, между тем как его поверенный Софоний Тигеллин искал для Актэ уютное гнездышко в многолюдной Байе, где у Нерона была великолепная вилла. Таким образом, в глазах света он будет жить один, не нарушая наружного уважения к

своей супруге, и в то же время будет видеться с Актэ так часто и долго, как ему вздумается. Казалось, что по крайней мере на несколько месяцев главнейший вопрос разрешался очень счастливо.

Как раз в ту минуту, когда Нерон принимал это решение в своей спальне и, успокоенный, улегся на ложе, по аппианской дороге промчался отряд всадников с албанских гор.

Широкие кожаные плащи, из под которых виднелись рукоятки мечей, защищали людей от непогоды. Несмотря на непрерывный дождь, ночь была довольно светлая: луна сияла среди медленно плывших туч.

Во главе отряда ехал окутанный с головы до ног Паллас, доверенный императрицы.

Это он выследил Актэ, открыл ее жилище и вооружил против нее императрицу Агриппину. Теперь он выполнял план, который был ему самому еще более по сердцу, нежели Агриппине.

Его снедала безумная ревность и ярая злоба к счастливой чете, наслаждавшейся в тихой вилле весенним сном первой любви.

Как несправедливо разделяет судьба блаженство и горечь, благословение и проклятие!

Как она должна была обожать этого юношу, если предпочла, подобно римской куртизанке, сделаться его любовницей, между тем как он, Паллас, предлагал ей брачный союз! И разве, несмотря на свое знатное происхождение, Нерон был выше Палласа, отпущенника, сделавшегося из ничего — всем, возвысившегося благодаря самому себе, своим влиянием на императрицу-мать, часто делавший больше, чем воспитанник Сенеки вместе с его учителем?

Уже на третий день после тяжелой сцены между императором и Агриппиной, Паллас осмелился сделать некоторые скромные намеки, был одобрен и, наконец, получил поручение дерзко, по-македонски, разрубить неразрешимое.

Звучно раздавался на аппианской дороге топот скачущих коней; перед отправлением солдат заставили произнести священную клятву навеки сохранить в тайне все, что случится во время ночной экспедиции, в особенности же им было под угрозой смерти запрещено когда-нибудь проговориться, что ими предводительствовал страшный Паллас.

Все дальше неслись всадники по окаймленной памятниками дороге...

Кругом царила мертвая тишина. В окнах роскошных дворцов не горели огни. Владетели их уже переехали на свои загородные виллы, а остававшиеся управляющие давно уже спали.

Через полчаса всадники завернули налево.

Еще триста шагов, и Паллас скомандовал людям спешиться.

Двух солдат оставил он стеречь лошадей. С остальными он отправился к вилле, где Актэ сладко спала, и, трижды громко стукнув молотком в виде пантеровой головы в дубовую, окованную дверь, крикнул измененным голосом подошедшему привратнику:

— Отвори!

— Кто ты? — отвечал раб.

— Ты не узнаешь мой голос?

Привратник помолчал с секунду.

— Нет, — спокойно сказал он. — Но кто бы ты ни был, что тебе здесь нужно в такой поздний час?

— Ты это узнаешь, когда отворишь.

— Я не могу открыть прежде, чем не узнаю.

— Безумец! — вскричал Паллас. — Или тебе не дорога твоя голова?

— Я не знаю, что может угрожать моей голове.

— Именем императрицы Агриппины повелеваю тебе: отвори!

— Агриппина только мать цезаря. Я отказываюсь отворить — именем императора.

— Так я прибегну к насилию.

— Насилие против императора?

— Я сказал. Даю тебе несколько минут на размышление.

— Я употреблю их на то, чтобы поднять весь дом. Нас здесь двадцать человек и между ними двенадцать германских наемников.

— Что значит двадцать против шестидесяти, окружающих вас со всех сторон? К тому же, ты знаешь, все наемники преданы Агриппине. На моем пальце сверкает перстень с печатью повелительницы, который убедит вас, что я действую от ее имени. Со мной есть и послание...

— Хорошо. Подожди.

Конский топот и громкий разговор Палласа с привратником разбудили уже большую часть обитателей виллы.

Сама Актэ, накинув на плечи белоснежный плащ, вышла в атриум. Всюду зажигали факелы и сосуды со смолой. Справа и слева из зал бежали рабы и отпущенники Актэ, вооруженные мечами и копьями, между тем как данный ей императором отряд телохранителей в военном порядке показался из перистилия. Начальник маленького отряда отправился с привратником к входу и тоном, ошеломившем-таки Палласа на мгновение, спросил:

— Что значит этот ночной беспорядок? Я императорский центурион и вполне заменяю здесь повелителя вселенной.

После короткого размышления, Паллас дал ему такое же объяснение, как прежде привратнику.

— У тебя перстень Агриппины, — возразил солдат. — Знай, что у нашей повелительницы перстень божественного императора. Выводи из этого заключение сам!

— Я не вывожу заключений, а действую. Императрица-мать повелевает мне немедленно привезти в албанскую виллу Актэ, отпущенницу Никодима.

— В этот час? — засмеялся солдат. — Ты с ума сошел, господин? Уходи по добру с твоими спутниками и не нарушай больше нашего спокойствия! Нерон, император, повелел нам не впускать сюда никого, кто нам покажется подозрительным, даже днем, не говоря уже о ночи, когда одни только разбойники и грабители выходят на работу.

— Очень жаль, — с иронией сказал Паллас, — но мы не смеем вернуться, не исполнив поручения. Я ручаюсь тебе моим имуществом и положением, что Агриппина не скажет ни одного оскорбительного слова прекрасной возлюбленной императора.

— Имущества твоего мне не надо, кто ты — я не знаю. Едва ли кто-нибудь порядочный, иначе ты не пускался бы на подобные гнусные услуги. К тому же один из наших, видевший вас сверху, говорит, что на вас капюшоны и лица ваши наполовину закрыты. Послушайте моего совета и убирайтесь поскорее, пока вас не схватила городская когорта. Пожалуй, строгий префект присудит вас к распятию.

— Так ты противишься?

— Противлюсь.

— Так пеняй на себя. Вперед, солдаты! Ломайте дверь!

— Первого, кто войдет в нее, я положу на месте, — вскричал центурион. — Этот вход мы сумеем защитить.

Трое из солдат Палласа подошли к двери и, выхватив свои топоры, начали осыпать ее могучими ударами.

Широкая железная оковка сначала не поддавалась, но при шестом ударе начала ломаться и обваливаться; дерево затрещало по всем швам, одна петля оборвалась, и в следующее мгновение дверь рухнула с оглушительным шумом. Запыхавшиеся разрушители поспешно отступили, и в отверстие бросилась толпа солдат с грозно сверкавшими мечами.

Телохранители Актэ и даже ее рабы и рабыни готовы были, однако, отразить нападение, и первые четверо ворвавшихся в дверь упали, пронзенные мечами защитников.

Одного из них убил Фаон, верный раб императора.

Но остальные всадники непреодолимым потоком бросились вперед, через тела своих убитых и раненых.

Закрываясь щитами, достигли они остиума, где между обеими сторонами завязалась отчаянная борьба.

Внезапно раздался резкий свисток.

Нападавшие мгновенно отступили.

Так как они почти уже могли назваться победителями, то изумленные защитники Актэ спокойно смотрели на их отступление и не попытались отнять у них и раненых. Даже самому воинственному центуриону казалось благоразумнейшим по возможности облегчить их уход.

Едва успел последний солдат покинуть остиум и честный привратник уже начал изобретать способ снова сложить раздробленные доски, как из перистиля на главный двор с криком прибежала рабыня Кротиона.

— Горе нам всем! — со слезами восклицала она. — Цезарь отдаст нас на съедение своим муренам! Ее украли, ее похитили, нашу кроткую, божественную госпожу Актэ!

— Невозможно! — вскричал Фаон.

— Да, да!

— Так ты предала ее?

— Я? — воскликнула девушка, вне себя от искреннего горя. — Она была сама любовь и приветливость, и добра ко всем нам, как сестра. Я — предать мою Актэ! Стыдись, Фаон, ты этого не думаешь сам! Но послушайте, как все случилось! Она тотчас догадалась, в чем дело. Желая избежать кровопролития, она решила скрыться через постикум. Мы отперли тихонько, тихонько, и только она хотела свернуть на боковую дорогу, как на нее бросились два разбойника, один поднял ее к себе на лошадь, и прежде чем я успела воскликнуть: «Умилосердись над нами, Юпитер!», негодяй уже исчез в темноте.

— Да умилосердится же над нами Юпитер! — вскричал центурион. — Когда император узнает, как плохо мы стерегли его сокровище...

— Нам уж не так плохо придется, — перебила одна из рабынь, — весь гнев его падет на его мать,

Агриппину.

— Кто знает, может быть, это наказание богов, — сказала Кротиона. — Он любил горячо и беспредельно свою очаровательную Актэ, но ведь Октавия его законная жена....

— Глупости, — пробормотала остийская младшая рабыня, обязанная подметать двор. — Ото, супруг Поппеи, также не спрашивал, замужем я или нет, когда покупал меня у Флавия Сцевина. Бессмертным богам много дела и без того, чтобы еще заботиться о всякой жалкой любви.

— Дура! — крикнул на нее Фаон. — Ты все еще продолжаешь свою ребяческую выдумку, будто Ото ухаживал за тобой? Посмотришь лучше в зеркало! Но стыдно нам терять попусту время.

— Товарищи, — заговорил вдруг центурион, словно разбуженный словами Фаона, — мной овладевает сильная тревога. Неужели мы останемся здесь, чтобы встретить первый порыв отчаяния разгневанного императора? Не поспешить ли в албанскую виллу, чтобы заслужить милость императрицы?

— Хорошая мысль, — сказал один из солдат.

— Я служу императору, — заметил другой, — и господство женщин мне ненавистно.

— Мне также!

— Конечно, оно нас бесчестит!

— Хорошо, так останемся! — сказал центурион.

— Император поймет, что нас не в чем упрекнуть.

— И ему, наверное, понадобятся верные слуги в этом разборе с матерью.

— Проклятый народ! — ворчала младшая рабыня, принося метлу и травяные полотенца. — Весь атриум — разбойничий вертеп и больше ничего.

Остальные девушки и женщины в это время занимались ранеными, которых перенесли на лишь недавно покинутые ими постели, перевязали их и напоили прохладительным напитком.

Фаон был невредим. В первую минуту он подумал было о преследовании, но тотчас же отбросил эту мысль. Она была смешна уже потому, что во всей вилле не было ни одной лошади.

Задумчиво ходил он взад и вперед по перистиллю. Дождь унялся, но ветер жалобно завывал в пустынной колоннаде, как бы оплакивая ужасную неотвратимую судьбу.

Глава III

Отъехав шагов за тысячу от арены ночного нападения, всадники разделились на два отряда.

Более многочисленный из них, с убитыми и ранеными, поскакал по Латинской дороге к освещенным луной горам, так как густые тучи начали рассеиваться.

Остальные, с Палласом во главе, последовали по аппианской дороге и после быстрой скачки достигли городка Бовиллэ, где и остановились.

Жирный хозяин закопченной таверны у ворот города был немедленно разбужен: после усилий последних часов необходимо было подкрепиться.

Оставив восемь или десять всадников в первой комнате, Паллас со смертельно бледной Актэ, которую он тотчас за последним домом аппианской дороги взял на своего коня, вошли в боковое помещение, предназначавшееся для почетных посетителей.

Прислужница-самнитянка, с растрепанными густыми черными волосами, взобравшись обнаженными ногами на деревянный стол, засветила висячую лампу в виде крокодиловой головы, тускло замерцавшую своим едва тлевшим фитилем.

Попросив Актэ сесть, Паллас открыл свое лицо, скрестил на груди руки и, подойдя к ней, дрожащим голосом спросил:

— Ты узнаешь меня?

— Да, и лучше прежнего.

— Что это значит?

— Прежде я считала поверенного императрицы справедливым и честным человеком, теперь же я знаю, что он негодяй.

Он схватился было за меч, но овладел собой.

— Актэ, — сказал он, — объяснимся вполне. Я с намерением молчал всю дорогу, это ты поняла. То, о чем нам нужно говорить, не должно быть услышано моими людьми.

— Так говори же! — холодно отвечала она.

— Актэ, презренная, проклятая, я любил тебя неизмеримо. Я предложил тебе то, что с гордостью приняла бы даже свободнорожденная: мою руку, мое сердце и мой дом. Актэ, ты могла бы сделаться честной женой честного человека. Ты предпочла быть любовницей сластолюбивого императора, губительницей императорской семьи, преступницей перед Октавией. Весь мир возмущен, весь народ указывает на тебя пальцами... И когда, по поручению императрицы-матери, я являюсь, чтобы разорвать эту позорную связь, бесчестная развратница дерзает называть меня негодяем! Жалкий ребенок, спроси саму себя, не заслуживает ли смерти твоя дерзость?

Актэ подперла голову рукой, и на ее задумчивом лице на одно мгновение отразилось глубокое унижение. Но тотчас же щеки ее вспыхнули, она подняла чудные ресницы и гордым взглядом смерила поверенного Агриппины.

Чем жестче и беспощаднее были его слова, чем более она сознавала их справедливость с точки зрения Октавии и императрицы-матери, тем сильнее шевелилось в ней неясное, но могучее сознание ее прав на возлюбленного, дарованных ей высшей властью.

Доброжелательный назарянин, попытавшийся бы проникнуть в ее душу кротким, ясным увещанием об обязанности всякой христианки отречься от личного счастья там, где оно противоречит заповедям божественного Спасителя, быть может, направил бы ее на должный путь.

Но Паллас, говоривший от имени Агриппины и оскорбленного римского общества, в действительности же следовавший лишь влечению собственной страсти, не годился для внушения ей уважения к правам и желаниям императрицы-матери.

Она посмотрела на него и спокойно возразила:

— Нет, я не заслуживаю таких оскорблений. Я говорю тебе в лицо, и не стыжусь этого, потому что это есть зерно моего бытия: я живу только с тех пор, как люблю Нерона! Да, Паллас, я люблю его, люблю как ничто в мире. Я была его женой, и не вижу в этом ничего дурного, ибо меня привлекла к нему одна лишь непреодолимая привязанность. Он же не любовник мой, как вы это понимаете, повторяя болтовню Публия Овидия, но мой настоящий супруг. Он делил со мной все, что волновало его сердце, и если бы не существовала Октавия, без сомнения добрая и благородная, но не удовлетворяющая его глубокого ума, то он открыто и свободно возвел бы меня на престол.

— Ты лжешь! — закричал Паллас.

— Я не лгу. Он клялся мне в этом сотни раз, когда лежал у моих ног. Я отвечала ему: «Оставь это, мой дорогой! Мне не нужен блеск дворца, не нужна даже честь называться твоей супругой перед лицом света; мне нужен только ты, Нерон, один ты, даже если бы ты был последний из твоих рабов!

— Фразы, жалкие, пустые фразы!

— Это правда. И он любит меня так же страстно, как я люблю его. Императрица-мать отлично знает это, и потому кипит такой безумной яростью. Но она не может ничего изменить, ибо любовь его неизмерима, подобно бушующему морю, которое вам не исчерпать, хотя бы вы трудились целые века. Что касается тебя, то я тебя презираю. Ты обманываешь госпожу, которой будто бы служишь. Не справедливость, а ненависть и жалкая ревность твои путеводные звезды.

— Называй как хочешь! Одно лишь верно, и ты должна принять это в соображение: что ты в моей власти.

— В твоей власти? — засмеялась девушка. — Сначала меня ошеломило ваше нападение. Мною овладело почти отчаяние: все мне показалось так странно, так невероятно... Теперь же я говорю тебе: я смеюсь над вашим презренным коварством. В эту минуту, быть может, Нерон уже принял меры к спасению своей Актэ. Рука императора простирается дальше, чем ты воображаешь. И когда ты будешь томиться в цепях, — тогда я замолвлю за тебя словечко в благодарность за то, что ты не был груб со мной, когда вез меня на твоём седле. Да, вы все будете помилованы, ради моего заступничества. Как счастлива и горда я буду, когда он объявит вам: вы свободны, потому что так хочет Актэ, моя белокурая любимица!

Остолбнев от изумления, Паллас смотрел на красавицу, казалось, еще более возвысившуюся в своих чувствах.

— Девушка, — сказал он, — хочешь ты выслушать меня?

— Охотно, — с улыбкой отвечала она. — Если ты раскаиваешься в твоём поступке, я прощаю тебе все, все. Отвези меня назад в мое счастливое жилище, и я еще богато вознагражу тебя. Быть может, стыд сделает тебя верным слугой человека, которому ты хотел изменить.

С горькой улыбкой взял он ее за руку.

— Ты забываешь, что я тебя люблю. Никогда в жизни ты не вернешься к нему. Рука императора

простирается далеко, но повелительницу Рима зовут Агриппиной. Через несколько часов мы достигнем Антиума. В стороне от гавани нас ожидает лодка, которая перевезет нас на быстроходный корабль. Твоя судьба определена очень ясно. Я отвезу тебя в Сардинию и продам, как рабыню, главному начальнику государственных рудников, уже давно беззаветно преданному императрице-матери. Там, голубка, за тобой будут тщательно присматривать. Вздумаешь ты бунтовать, тебя на несколько дней спустят под землю, в шахты, где работают каторжники. Никто не узнает, куда делась прелестная Актэ. Люди, напавшие на твой дом, все принадлежат к любимым телохранителям императрицы. Все были закутаны до неузнаваемости. Ни один убитый, чье лицо могло бы выдать нас, не остался в нашем атриуме. Поэтому оставь всякую надежду! Замысел Агриппины удался вполне! Актэ вычеркнута из книги живущих.

Она в смущении смотрела ему в лицо.

— Неужели это правда? — тихо спросила она. — Или ты только мучаешь меня из мести за мой тогдашний отказ? Не делай этого, Паллас! Разве это моя вина? Разве смертные вольны в своих чувствах? Прошу тебя, не вымещай на мне то, чему причиной одна судьба! Неправда ли, ты хочешь только испугать меня? Сардиния! Какое ужасное слово! Я знала молодого лигурийца, сосланного на два года в глубину рудников: он вышел оттуда стариком. Говори же, Паллас! Твое молчание страшнее твоего гнева! Агриппина, мать моего возлюбленного Нерона, не может быть так жестока... но если бы и была, то ты не оказал бы ей содействия в подобном преступлении!

— Как ты прекрасна в твоей боязливой мольбе! — прошептал Паллас. — Но я сказал тебе истину, призываю в свидетели всех богов. Императрица повелела так, и я должен повиноваться, если не хочу потерять ее высокой благосклонности. Есть только одно, единственное средство...

— Назови его! Я не побоюсь никакой жертвы, если она вернет меня к Нерону!

— Не об этом речь, а о твоем жалком заключении. Слушай же! Я спасу тебя с опасностью для собственной жизни, я отошлю близ Антиума моих людей и сяду с тобой, бедным, измученным ребенком, на александрийский купеческий корабль, который на рассвете снимается с якоря. Одного лишь требую я, чтобы ты позабыла Клавдия Нерона. В несметной толпе египетского портового города отдельные личности теряются, подобно песчинкам на морском берегу. Не смотри на меня так гневно! Я не переменялся. Ты будешь моей законной женой, не возлюбленной. Я перенесу все, что произошло, хотя мозг мой пылает при одном воспоминании... Я возьму тебя, как невинную девушку, несмотря на то, что ты покоилась в объятиях другого; я буду уважать и почитать тебя, не взирая на твое бесчестие. Подумай, Актэ! Не спеши с ответом! У нас еще есть полчаса времени. А пока, выпей глоток вина и съешь немного хлеба! Я люблю тебя, Актэ! Люблю глубоко и страстно. То, что кажется тебе жестокостью, есть только непреодолимое побуждение моего сердца.

Налив в металлический кубок вино из поставленной хозяином на стол глиняной кружки, он благородным движением подал ее Актэ, в то время как служанка принесла несколько ломтиков ячменного хлеба.

Медленно выпила Актэ весь кубок до дна. Паллас пил, отойдя в сторону, объятый несказанным волнением; лицо его пылало, а рука, державшая стакан, дрожала, как в лихорадке.

Спустя четверть часа он вновь подошел к Актэ.

— На что же ты решилась? — беззвучно спросил он.

— Можешь ли ты еще сомневаться? Сознаюсь, постоянство твоей любви трогает меня, но если ты хоть на одно мгновение вообразил, что я могу изменить ради тебя цезарю, которому я принадлежу душой и телом....

— Не ради меня, — прервал ее Паллас, — но ради тебя самой...

— Все равно! Если ты вообразил, что я могу быть неверна звезде моей жизни, ради спасения своего существования, то ты безумен. Мне следовать за тобой! Мне быть твоей женой! Разве каждая минута моей будущей жизни не была бы полна безутешной тоски и презрения к самой себе? Нет, я предпочитаю худшее! Право, я говорю это не с целью оскорбить тебя. Всякий другой, будь это прекраснейший из знатных юношей, показался бы мне одинаково ненавистен. Разве же я продажный товар? Или Никодим дал мне свободу для того, чтобы я воспользовалась моим правом? Лошади и собаки, копья и картины, кольца и ожерелья могут переходить из рук в руки, не теряя своей ценности, но женское сердце?.. Паллас, признайся: ты чувствуешь сам, как несказанно низка была бы моя уступчивость тебе!

— Да, если бы это зависело от твоей воли. Но ты повинешься необходимости...

— Я не повинуюсь ей. Говорю тебе коротко и ясно: лучше убить меня, чем заставлять слушать дальше твои предложения. Отвези меня в Рим! Не святотатствуй перед господином, могущим вознаградить тебя или уничтожить!

— Это твое последнее слово?

— Последнее.

— Хорошо же, твоя судьба решена. Через несколько часов ты будешь в открытом море, и Сардиния на веки погребет тебя.

— Бедный, смертный человек! — вскричала Актэ, величаво выпрямляясь. — Можешь ли ты предсказать, что случится завтра? Можешь ли предвидеть, сколько ты проживешь или когда Агриппина вместе с тобой низвергнется в пучину? Не хвались победой, не узнав всей силы твоего противника! Клавдий Нерон обещает всю землю и найдет меня, ибо теперь я позволю найти себя! Но тогда горе тебе и всем, соединившимся для моего несчастья!

— Ты говоришь так уверенно, — заметил Паллас.

— Да, и я мужественно принимаю эту кару на свою грешную голову, ибо я знаю, что согрешила. Наказание всемогущего Бога очистит меня! Его же, возлюбленного, я увижу снова! Безошибочное предчувствие говорит мне, что мои уста еще прикоснутся нежно к его челу, когда бедной Октавии давно уже не будет, так же как Агриппины и тебя, ее презренного орудия!

— Молчи, или я прикажу связать тебя! — вскричал Паллас, задрожав всем телом. — Я — твой тюремщик, а если понадобится, то и палач. Поэтому не раздражай того, кто может уничтожить тебя. Впрочем, ты узнаешь, что и у Палласа непреодолимая воля. Ты будешь моей, раньше чем ступишь на берег Сардинии... хотя бы это стоило мне жизни!

Актэ сложила руки и губы ее прошептали молитву. Паллас же подошел к двери и, приказав людям собираться, снова обратился к Актэ.

— При первом же твоём крике, — сказал он, — тебя пронзит этот кинжал!

И он поднес оружие к ее лицу.

Пять минут спустя отряд скакал дальше.

Глава IV

Паллас снова взял на лошадь трепетавшую Актэ.

Мозг его пылал от противоречивых стремлений. Им поочередно овладевала то безумная жажда мщения, то нежное милосердие назарян, платящее добром за зло.

— Не бойся ничего! — прошептал он ей под влиянием мимолетного раскаяния. — Мои угрозы были безумны. Прислонись к моей руке, ты не так утомишься. Попробуй заснуть, если возможно. У моего коня очень спокойный шаг. Утешься, Актэ! Будущность ведь в руках богов, и кто знает, может быть, все устроится хорошо.

И Актэ, побежденная усталостью, последовала его совету, как послушное дитя. Доверчиво прислонилась она к плечу врага, в глубине сердца чувствуя, что ее не коснется ничто дурное, пока она останется верна Нерону.

Перед самым Антиумом отряд свернул налево, чтобы избежать приморского города с его рано просыпающимися жителями.

Уже начинало светать. Показалось море и на нем стройный корабль, стоявший на якоре в стороне, за несколько тысяч локтей от берега. Паллас с невыразимой скорбью посмотрел на прекрасное лицо спящей девушки.

Воздух становился все свежее; сняв с плеч свой плащ, Паллас закутал им свою пленницу, и две крупные слезы скатились из-под его ресниц на руку Актэ, которая слабо вздрогнула.

С гневом, как будто стыдясь своей слабости, Паллас провел ладонью по глазам. Но в душе его все жарче и сильнее разгоралось всепобеждающее великодушие. Он чувствовал, что существует самоотверженность, умеющая побеждать заветнейшие желания и жертвовать всем ради достижения одной цели: счастья любимого существа.

Он уже почти было решил вернуться обратно, вопреки Агриппине, отвезти похищенную в Рим и броситься к ногам императора. Помилует ли его Нерон или пронзит его мечом, все равно: Актэ будет счастлива.

Но тут же, словно тигровыми когтями сжала ему горло ужасная картина опьяняющего счастья, которым они снова будут наслаждаться в благоухающей, заросшей цветами и зеленью вилле.

Он дал шпоры коню и поскакал, далеко опередив своих спутников, точно боясь возврата столь мучительно подавленного искушения. Актэ в объятиях торжествующего императора! Лучше вечный упрек в ее гибели! Пусть она умрет жалкой смертью, в томительной муке: поцелуи цезаря никогда больше не будут гореть на ее дивных устах, если Паллас не лишится рассудка!

Всадники ехали уже по широкой прибрежной дороге, ведшей из Антиума в Астуру и Клостру, когда Актэ проснулась и со страхом оглянулась кругом.

Значит, ночное нападение было не сон, а ужасная действительность, и она в руках жестокого, неумолимого Палласа, увозящего ее от единственного сокровища ее сердца!

Восток светлел все больше и больше. Прохладный ветер дул с Тирренского моря на зеленеющий берег. Сочные луга, поросшие медвежьими лапками, поля высокой пшеницы, кое-где уже начинавшей желтеть, сверкали утренней росой. Из разбросанных тут и там хижин и домов вился голубоватый дымок, поднимающийся с очагов, на которых варилась полбенная похлебка, с незапамятных времен употреблявшаяся римлянами на утренний завтрак.

Вот и ужасный корабль, залитый розовым рассветом! Двойной ряд длинных весел неподвижно опускался в синюю воду. Высокая мачта, реи с зарифленными парусами, скрещенные снасти, все это издали производило живое, художественное, сильное впечатление, но все-таки Актэ задрожала всем телом.

Позади качавшихся прибрежных камышей она увидела и лодку, в которой ее перевезут на корабль... Милосердный Иисус, неужели же нет спасения от этого несчастья?

Паллас хорошо приметил потрясающее впечатление, произведенное на Актэ видом открытого моря и корабля, и воспользовался ее волнением для последней попытки.

— Подумай еще раз! — сказал он. — Этот корабль может одинаково отвезти тебя или в рабство, или на свободу... Я позабуду все, все. Пусть обрушится на меня гнев бессмертных богов, если я хоть одним словом напомню тебе прошлое! Я буду любить и беречь тебя, как мое драгоценнейшее, святое сокровище. Рана, теперь гложущая твое сердце, постепенно заживет. Ты будешь счастлива и в конце концов поблагодаришь меня за мою неотступность. Слышишь? Отчего ты не отвечаешь? Вот мы приехали...

Он соскочил и помог девушке сойти.

Один из всадников присоединился к ним, остальные уехали обратно со всеми конями, предварительно поспешив стащить в лодку различную поклажу, привезенную ими на седлах.

Загорелый, мускулистый матрос в фригийском колпаке взмахнул веслами...

Лодка быстро понеслась, прыгая по белогривым волнам, прямо к кораблю. Вдалеке лежал Антиум, залитый красными лучами восходящего солнца. На юго-западе, почти на одном расстоянии с Антиумом, виднелся городок Астра. Из обеих гаваней в море уже выходили рыбацьи лодки, казавшиеся белыми или ярко-желтыми точками на подернутой мерцающей рябью темно-синей поверхности...

Паллас сел возле безмолвной Актэ.

Корабль становился все ближе. Уже можно было ясно различать расписанную пурпуровой краской орлиную голову на киле, название корабля «Цигнус» и фигуры гребцов, сидевших рядами на двойных скамьях и с любопытством смотревших сквозь круглые люки.

Каждая из этих фигур казалась палачом для втайне трепетавшей Актэ, и она все с большим ужасом вглядывалась в роковое судно.

— Что же? — прошептал Паллас, под складками своего плаща касаясь ее левой руки.

Она быстро отодвинулась, не отвечая.

— Актэ, — спустя несколько минут, заговорил он по-гречески, — говори со мной на языке твоей покойной матери, если ты стесняешься моих солдат и гребцов. Дело становится серьезно, Актэ, очень серьезно. Через пять минут мы будем на корабле и, клянусь могилой моего отца, что, раз я отдам приказание главному кормчему, уже будет поздно!

Она по-прежнему молчала, но вдруг, ясно и твердо взглянув на него, произнесла на мягком ионийском наречии:

— Отодвинься от меня!

— Зачем?

— Чтобы я могла ответить тебе окончательно. Твоя близость смущает меня.

— Как ты желаешь.

— Так, — тихо продолжала она, — если бы я хотела, мне было бы легко доказать тебе, как мне

отвратительно твое ненавистное предложение. Прежде чем ты успел бы помешать мне, я скользнула бы за борт в морскую пучину, и таким образом освободилась бы от ваших замыслов и коварства, от твоей ненависти и мнимой любви...

Паллас хотел вскочить, но она удержала его движением руки.

— Я могла бы это сделать, но не хочу. Сиди спокойно! Моя вера в волю всемогущего Бога запрещает мне это. А еще более удерживает меня сладкая, неотразимая надежда! Да, я еще увижу его, прекрасного, единственного, которого я люблю сильнее, нежели все на небе и на земле! Я увижу его, я уверена в том, мне это говорит тайный голос, не способный обмануть. Клянусь кровью Спасителя, пролитой ради искупления наших грехов, я увижу его! Увози же меня! Исполни, как покорный раб, нечестивые приказания твоей повелительницы. Мне не нужно никаких сокровищ мира, купленных ценой измены и позорного бесчестья, не говоря уже о жалкой свободе с тобой!

— Развратница! — проскрежетал взбешенный Паллас.

— Молчи и не поноси меня, или я расскажу на корабле, как ты, добровольный раб Агриппины, хотел изменить твоей госпоже ради благосклонности этой «развратницы».

— Посмей только! Я сумел бы наказать тебя за ложь, как ты того стоишь, я убил бы в тебе надежду, которой ты сейчас хвалилась, я ослепил бы тебя. Видишь, вот этим кинжалом я выколол бы тебе глаза, эти проклятые, голубые, лучезарные звезды, вовлекшие цезаря в погибель.

— Ты этого не сделаешь, — смело сказала она. — То, что принадлежит цезарю, раб его обязан беречь, а не уничтожать.

— Нет, я этого не сделаю, потому что не хочу. Ты слишком ничтожна для моего гнева. Ты будешь жить и видеть, чтобы глубже чувствовать свое несчастье. Пусть тебя пожирает безутешное страдание, пусть ты будешь корчиться, как раздавленная змея, стонать и отчаиваться — и во всем этом ты будешь виной сама, и твое ребяческое безумие, подстрекнувшее тебя мечтать о скипетре римской империи!

Она сострадательно пожала плечами.

Скоро Паллас и его пленница уже стояли на палубе корабля. Матросы распускали паруса, и треск снастей напоминал карканье зловещих ворон.

Солдат Палласа оставался в лодке.

Паллас, придав своему лицу ужасное выражение, отвел главного кормчего в сторону, в то время как двое из матросов схватили девушку за руки.

— Я привез осужденную, — прошептал Паллас и тихо прочитал пергамент с подписью и печатью императрицы-матери.

Он так странно подчеркивал некоторые места послания, что кормчий со страхом искоса взглядывал на него. Окончив чтение, Паллас вручил ему пергамент с советом хорошенько спрятать его и буквально следовать его содержанию.

— Агриппина умеет награждать по-царски и наказывать безжалостно, — прибавил Паллас. — Доставь куда следует эту куколку и не забудь надеть на нее цепи, когда ее поведут в дом управляющего. Она быстра, как каппадокийский жеребец и способна на всякую выходку. Во время плавания держите ее в трюме и охраняйте как государственное сокровище!

— Хорошо, господин! Все будет исполнено в точности.

— Тем лучше для тебя. Вот пока кошелек с золотом на твои личные расходы. Как только мы получим уведомление от управляющего рудниками о ее благополучном прибытии, тебе отсчитают втрое больше

этого в Савоне, куда вы потом поплывете, и столько же для раздачи твоим людям. Но вы должны быть немые, как могила, или вы погибнете все до последнего человека!

— Не беспокойся, господин!

— Прощай! Да пошлет вам Афродита счастливое плаванье!

При этих словах слева над килем с пронзительным криком промчалась чайка.

— Да не будет это предзнаменованием! — произнес кормчий, согласно римскому предрассудку.

— Да не будет предзнаменованием! — повторил Паллас, сходя в лодку.

Пристав с своим спутником к берегу, он отправился прямо в Антиум. После короткой ходьбы никем не узнанные путники вошли в жилище одного из фаворитов Агриппины, где они подкрепили свои истощенные ночными похождениями силы обильным завтраком и продолжительным, спокойным сном.

Глава V

Четверть часа после похищения Актэ Фаон с несколькими факелоносцами поспешил в Палатинум, куда он имел свободный доступ во всякий час дня и ночи.

Часовые у входа с удивлением спросили, что нужно в такое необычное время доверенному императора.

— Я сам скажу это повелителю, — отвечал Фаон. — Пусть его разбудят и без промедления проведут меня в спальню!

Торопливость и смятение Фаона были красноречивее его слов.

Один из преторианцев провел его в покои цезаря и передал бдевшим здесь рабам желание Фаона.

— Ступай и разбуди его сам! — отвечал главный раб.

Между тем Клавдий Нерон, обуреваемый тяжкими сновидениями, проснулся сам. Услышав сдержанные, взволнованные голоса, он провел рукой по глазам, точно сомневаясь, не во сне ли это, и со вздохом позвал раба.

— Кассий, что случилось?

— Господин, — отвечал вместо него Фаон, — я принес тебе роковую весть. Могу я войти?

— Фаон, ты? Я предчувствую нечто ужасное. Скорее, говори!

Нерон приподнялся на своем ложе.

— Насилие, поступок не имеющий себе равного! — сказал Фаон, входя в спальню. — Актэ, твоя избранная супруга, только что похищена!

И в коротких словах он рассказал о происшедшем.

Мгновенно вскочивший на роскошную львиную шкуру, что покрывала мозаичный пол перед бронзовой кроватью, при мерцанье светло-голубой висячей лампы, Нерон казался освещенной луной восковой статуей.

— Кассий, одень меня! — металлическим голосом приказал он. — Ты, Эльпинор, прикажи седлать лошадей, десять, двадцать, тридцать! Отборные люди из когорты пусть соберутся на Via Sacra! Фаон, пожалуйста, дай глоток воды!

Напившись и продолжая одеваться, император заговорил по-гречески.

— Так вы защищались, Фаон? Мужественно защищались?

— Да, господин! Между нами нет презренных, жалеющих что-нибудь для своего императора. Я поклялся головой моей матери скорее умереть, чем допустить низких разбойников до спальни Актэ... Быть может, мы и одержали бы верх, несмотря на многочисленность врагов...

— Друг мой, — сказал тронутый Нерон, — с этой минуты ты свободен. И чтобы ты мог вполне наслаждаться твоей свободой, я дарю тебе двойное состояние всадника и мою виллу Кирене. Ты безупречно честен и справедлив. Кассий, — продолжал он, — непременно позаботься, чтобы сегодня же секретарь приготовил все нужные документы.

Фаон склонился перед императором и поцеловал его руку.

— Я защищал твое дорогое сокровище не ради вознаграждения, а из любви к тебе. К несчастью, мое

усердие было напрасно.

— Напавшие на вас были преторианцы?

— Я так думаю, господин, несмотря на их необычайные плащи и капюшоны. Привратник узнал их предводителя: то есть он не знает его имени, но голос показался ему знаком: это тот же человек, что доставил сюда восковую дощечку императрицы-матери...

— Меня удивляет, что никто из соседей не поспешил вам на помощь. Ведь все знают, что на этой вилле жила возлюбленная императора.

— Доблестный цезарь, ты знаешь осторожность римлян. Ночной шум загоняет их в жилища... А ведь подобные схватки не редкость.

— Ты не знаешь, куда умчались похитители? — спросил император.

— Они поскакали вниз по Аппианской дороге...

— Так еще есть надежда. Агриппина не дерзнет коснуться волоска моей Актэ. Она отлично знает, что, погубив девушку, она погубит меня. Кассий, подай меч! Ты будешь сопровождать меня, Фаон!

Он стоял, опоясанный мечом, подобный молодому богу войны.

— Клянусь Геркулесом! Кто позволил тебе входить сюда без доклада? — внезапно нахмурившись, воскликнул он, увидев входившего государственного советника, который помещался недалеко от комнаты цезаря. Ошеломленный столь резким приемом, Сенека спокойно отвечал:

— Долг, повелитель!

— Каким образом?

— Услышав во дворце шум в необычайный час, я вывел логическое заключение, что произошло нечто необычайное.

Выхватив меч, Нерон, как бешеный, схватил советника за тунику.

— Да, хорошо, что ты пришел, — свирепо вращая глазами, проскрежетал он, — я вижу, ты все знаешь. Сию секунду ты признаешься, куда вы девали ее, или, клянусь моим цезарским саном, я проткну тебя, как повар протыкает вертелом дрозда!

— Нерон, — возразил Сенека, — ты обезумел! Не поднимай руку на человека, доселе бывшего твоим вернейшим другом! Или нет: лучше убей меня, чем так непростительно меня поносить.

Несколько пристыженный Нерон отступил, но не выпуская обнаженного меча.

— Прости меня, — сказал он, с трудом овладев собой, — но обстоятельства свидетельствуют против тебя.

— Почему?

— Последние недели ты один с Агриппиной занимался всеми государственными делами, и то, что со мной сыграла моя нежная мать, настолько согласуется с ее прежними планами и понятиями о праве и законе, что я могу подозревать твое содействие...

— Содействие? О чем говоришь ты?

— Счастье мое разбито. Актэ во власти Агриппины. Понимаешь теперь? И несколько не изумлен? Клянусь Зевсом, ты сам сначала порицал мою любовь! Значит, все-таки ты сообщник императрицы.

И он снова занес меч. Сенека хладнокровно утверждал, что он невинен.

— Молчи! — крикнул Нерон. — Я верю тебе. Я был бы негодяй, если бы не поверил. Не может же человек быть до того низок, чтобы на словах желать мне добра, а в сердце измышлять средства для моего несчастья. Но теперь вперед! Агриппина должна отдать ее, должна, или земля разверзнется между ней и ее отчаявшимся сыном. Чего ты хочешь еще?

— Сопровождать тебя, — сказал министр.

— Зачем?

— Мое место возле императора, теперь как и всегда, даже в борьбе с властолюбивой Агриппиной. Мы исправим случившееся во что бы то ни стало.

— Ты говоришь серьезно? Ты, угрюмый старик, тысячи раз повторявший мне, что цезарь должен иметь только одну возлюбленную — империю?

— Я говорю серьезно, убедившись, что Нерон, обладающий этой девушкой, будет лучшим правителем, чем лишенной ее немилосердной судьбой.

На плитах *Via Sacra* уже слышался стук копыт.

Сенека накинул плащ.

Скоро император и его свита уже сидели в сверкавших золотом седлах.

Десять огромных факелов разливали на молчаливый форум колеблющийся свет, вспыхивавший даже на зубцах Капитолия. Колонны храма Сатурна и мрачные стены Мамертинской тюрьмы поднимались к облачному небу, озаренные багровым отблеском.

Нерон, в сверкающем панцире, с наброшенным на плечи длинным плащом, казался при этом освещении демоном. В нем нельзя было узнать кроткого, приветливого юношу, императора с милостивым взглядом, всегда так благоговейно поднимавшегося по лестнице в заседание сената, или благодарившего народ за восторженные клики «*Ave Caesar!*»

Впереди отряда поскакали двенадцать преторианцев.

Между целийским и палатинским холмами всадники свернули вправо и, промчавшись под мрачным сводом Друзовой Арки, выехали на бесконечную аппианскую дорогу.

Здесь, к востоку, позади роскошных зданий находилась вилла, где был счастлив Нерон, где в объятиях Актэ он забывал свет с его блеском и страданиями, где из чудных голубых глаз ему сияла разгадка жизни, перед которой он до тех пор тайно трепетал.

Он дико заскрежетал зубами.

Что, если он опоздал? Если Агриппина, в своей страстной ненависти, все-таки переступила границу возможного? Еще вчера он нашел среди рукописных свитков и письменных принадлежностей своего рабочего стола записку, на которую он, однако, не обратил внимания, весь поглощенный лучезарным образом своей возлюбленной. Теперь, при воспоминании об этой записке, у него точно пелена упала с глаз.

«Та, которая некогда оберегала тебя, — было начертано на зеленовато-серой полоске папируса, — теперь задумала твою гибель! Разве тебе неизвестна старинная сказка о львице? Молодой лев, вскормленный ею, наконец перерос ее, и она задушила его, пока он спал. Берегись, лев! Так говорят тебе твои покровители, духи императора Клавдия и несчастного Британника».

Сенека, еще сильный и бодрый, несмотря на свой возраст, в молчаливом раздумье скакал возле цезаря. Только накануне был он у Флавия Сцевина. Заговор, по-видимому, разрастался, однако

представились большие затруднения, нежели предполагали сначала. Происшествие с Актэ случилось совершенно неожиданно и придавало заговору необычайно удачный оборот. Даже в случае наружного примирения между Нероном и Агриппиной все-таки раскрылась теперь непроходимая бездна. Сенека был убежден, что Нерон никогда не позабудет всей муки этой страшной ночи. До сих пор советник делал все, чтобы скрыть от сына преступления императрицы-матери. Теперь же, при столь значительной перемене в положении вещей, можно было сделать хоть какие-нибудь намеки...

Так сошлись мысли императора и Сенеки почти в одно мгновение и на одной и той же точке.

Нерон сообщил советнику содержание оригинальной записки.

— Ты попадешь на пытку с моими рабами, — с негодованием воскликнул он, — если не дознаешься, кто дерзнул на такую выходку с императором!

— Повелитель, — с тихим довольством отвечал Сенека, — как тебе известно, египтянин Кир щедр на подобные — прощенные и непрощенные — предсказания.

— Кир, фокусник с Марсова поля?

— Он самый.

— Но как мог он попасть в Палатинум? Его все знают. Часовые задержали бы его.

— Вспомни о его непостижимом искусстве! Разве ты сам... не видел, как он вызывает жизнь из смерти? Человек, ежедневно проделывающий чудо «эвридики», до сих пор никем еще не разгаданное, легко сумеет проникнуть в Палатинум. Во всяком случае, предостережение это кажется мне присланным откуда-нибудь со стороны.

— Львица... молодой лев! — прошептал Нерон. — О, понимаю! Несчастье — превосходный учитель!

Он помолчал.

— Сенека! — вдруг позвал он.

— Повелитель?

— Молодой лев будет защищаться!

— В добрый час!

— В самом деле? Он не совершит преступления, восстав против матери?

— Нет, если она сама нападает на него. Но поверь, все обойдется лучше, чем ты думаешь. Как только львица увидит, что ее могучий сын потрясает гривой, она уступит.

— Еще вопрос! — после короткой паузы продолжал Нерон. — Что значит: покровители — духи императора Клавдия и несчастного Британника? Почему Клавдий и Британник мои покровители?

Сенека пожал плечами.

— С твоего позволения, повелитель, я отложу объяснение на несколько дней.

— Почему?

— Я могу заблуждаться...

— Заблуждаться? Как ты смотришь на меня, Сенека? Так робко, загадочно и вместе вызывающе! Говори! Клянусь Геркулесом, мне надоело вечно бродить во тьме! Знай я больше, я сумел бы воспользоваться временем, чтобы основательнее обсудить положение. Так что же насчет духов Клавдия и Британника?

— Повелитель, ты можешь приказать твоим солдатам заколоть меня, ты властен в этом, но никогда ты не заставишь меня говорить, когда благоразумие предписывает мне молчание. Я должен молчать, цезарь... ради тебя самого. Сначала посмотри, чего ты добьешься от Агриппины. От этого будет зависеть, могу я отвечать тебе или нет. Я считаю себя другом и советником Нерона, но не рабом его произвола.

Император нахмурился. С уст его готово было сорваться жесткое слово, но он овладел собой и сказал спокойно:

— Хорошо, я доверяю тебе. Даже больше: прошу простить меня. В припадке отчаяния я грубо обошелся с тобой. Я стыжусь этого. Мне известно, дорогой Сенека, сколь многим я тебе обязан. Я знаю, что ты значишь для Римской империи и для человечества. Отныне тебе вручена будет еще более неограниченная власть, чем та, которой ты пользовался доселе; ты будешь создавать и делать все, что ты захочешь, пусть ты даже воздвигнешь храмы учению Никодима и откроешь его последователям доступ ко всем должностям: только бы мне возвратили Актэ, мою божественную Актэ! Я не жажду ни славы, ни могущества: оставьте мне мое счастье и тихое созерцание! Видишь ли, когда вы отнимаете у меня одну ее, все остальное для меня ничто. Всего мира не достаточно для восполнения этой ужасающей пустоты.

Сенека кивнул, как бы начиная постигать весь первобытный жар этой страсти.

— Не истолкуй ложно мои слова, — продолжал Нерон, — я и не думаю изменить моим обязанностям правителя. Я исполню свой долг, но свободный от честолюбия и властолюбия. Я буду знатнейшим и усерднейшим слугой империи... Только отдайте мне Актэ! Иначе, я разрушу все! Скажи это моей матери! Твоему красноречию лучше, чем мне удастся раскрыть глаза ослепленной женщине.

— Я сделаю все, что могу, — решительно сказал министр. — Ты знаешь, и сейчас только что упрекнул меня за это, что я с самого начала не одобрял твоей связи с Актэ. Первая обязанность властителя — это уважение к закону. Но теперь мне ясно, что все мы впали в ошибку, соединив с тобой несчастную Октавию. Эрос упрям, он не уступает рассудку. Поэтому я буду изыскивать средства расторгнуть твой союз с Октавией...

— Расторгнуть? — в восхищении вскричал Нерон. — Какое счастье... и для нее также! Свобода! А Актэ? Будет ли тогда возможно?

— Мой юный друг, — сказал взволнованный советник, — необыкновенные люди требуют необыкновенных мероприятий. Благоденствие государства стоит на первом месте, а несчастный властелин — плохой правитель.

— Дорогой, мудрейший, благодарю тебя... Да, государство будет благоденствовать, и мир процветать, как один роскошный сад, если ты достигнешь того, к чему я так страстно стремлюсь.

Наступило долгое молчание. Все выше и выше громоздились перед всадниками Албанские горы, подобно призрачной, изрытой дикими ущельями стене. Казалось, дороге не будет конца.

— Еще полчаса, — сказал верный Фаон в ответ на громко выраженное Нероном нетерпение.

Дальше, дальше!

Наконец взмыленные кони остановились перед подъездом виллы. Фаон постучал. Привратник вопросительно взглянул из-за решетки.

— Император! — повелительно вскричал Нерон. Дверь повернулась на петлях. Старый остиарий почтительно преклонил колени.

— Моя мать... — с возрастающим волнением продолжал Нерон. — Доложить обо мне императрице-матери! Сию же минуту!

Помощник привратника позволил себе робкое возражение.

— На виселицу негодяя! — воскликнул возмущенный Нерон. — Ты доложишь или умрешь!

Теперь приблизилось несколько гвардейцев, которые, узнав императора, почтительно приветствовали его. Нерон повторил им свое желание немедленно переговорить с Агриппиной, назвал их своими верными и бросил им золота.

— Повелитель, — отвечал начальник, — если ты поклянешься нам богами, что не имеешь враждебного умысла против императрицы... С тобой большая свита, быть может, даже вся когорта Бурра...

Нерон побледнел.

— Враждебное? Я — сын, замышляю против матери? В своем ли ты уме?

Преторианец пожал плечами.

— Прости, повелитель... но так говорили...

— Кто?

— Не могу сказать, даже если бы ты приказал пытать меня. Быть может, какой-нибудь солдат или раб... Я слышал только мельком, мимоходом...

Император тяжело перевел дух.

Вот до чего уже дошло! Агриппина опасалась родного сына! Какое ужасающее извращение всех естественных чувств! Право, можно было бы сказать: боящаяся зла, сама способна на зло; говорящая о враждебности, сама носит в сердце враждебные намерения! И разве Нерон не имел яснейших доказательств этого? Даже теперь, в заключении с Актэ?

— Я позабочусь, чтобы ты был наказан за твои бесстыдные слова, — сказал он солдату и обратился к остальным:

— Я один, в сопровождении только государственного советника, буду ожидать здесь императрицу. А вы, — приказал он своей свите, — ждите моего возвращения у ворот!

— Что за шум! — раздался спокойный голос императрицы-матери, вместе с Ацерронией вошедшей в атриум прежде, чем Нерон успел перешагнуть за порог.

— Это ты, мой милый сын? Дай обнять тебя! Что привело тебя сюда в столь ранний час? Не случилось ли какого несчастья? Заклинаю тебя, говори!

— Не в присутствии твоих телохранителей, — возразил Нерон.

— Так следуй за мной. Ацеррония ведь может остаться?

Нерон сделал движение, не слишком-то лестное для рыжей пантеры.

— Пожалуй, — небрежно отвечал он.

Он подозревал ее в том, что она раздувала гнев Агриппины на Актэ.

При других условиях красивая кошачья рожица с веснушками и зелено-синими глазами, демонически сверкавшими при свете факелов, ответила бы гримасой даже самому цезарю на его жест. На этот раз, однако, краснокудрая гарпия осталась замечательно равнодушна. На ее цветущих губах играла странная усмешка; казалось, она более расположена целоваться, чем кусаться.

Дело в том, что Агриппина, которой уже окончательно наскучил красивый военный трибун Фаракс, вчера впервые намекнула рыжей кордубанке, что она может питать надежды относительно этого привлекательного человека. Фаракс, один из более утонченных и представительных офицеров, свободный

по рождению и даже, как «достоверно» открылось недавно, сын всадника, всепочтительнейше изложил императрице свои заветные желания относительно Ацерронии и горячо просил высокую повелительницу поддержать его искательство, что она ему, конечно, обещала, зная о тайной склонности к нему своей фрейлины. В действительности же, императрица посулила своему бывшему фавориту солидное состояние, если он согласится на брак с Ацерронией, после чего, буде он пожелает, ему дана будет отставка, чтобы на свободе проводить приятную жизнь с очаровательной подругой. Пантера, обыкновенно столь сметливая, решительно не подозревала всей этой комбинации; она твердо верила в бескорыстную любовь военного трибуна и была счастлива, как ребенок, получивший желанную игрушку...

Агриппина вошла в маленький покой, убранный с восточной роскошью, где, по ее знаку, один из преторианцев зажег лампу. Нерон следовал за ней под руку с советником. Позади всех шла улыбающаяся Ацеррония.

— Где Актэ? — спросил император, подступая к Агриппине.

— Что мне за дело до Актэ? — с полным хладнокровием возразила она.

— Ты велела ее похитить. Твои бандиты ночью украли ее.

— Сын мой, я не понимаю тебя.

Кровь бурной волной залила лицо молодого цезаря. Жилы на лбу его надулись, как предвещающие беду змеи.

— Тебе придется научиться понимать меня! — хрипло воскликнул он. — Но я сдержу себя, иначе может произойти несчастье. Сенека, говори вместо меня!

Советник в коротких словах объяснил то, что уже было известно Агриппине и прибавил, что неразумно натягивать лук слишком туго. Он прибег ко всей своей философии и красноречию, чтобы тронуть Агриппину. Тщетно.

— Мать! — воскликнул Нерон, судорожно сжимая кулаки. — Не лги! Я буду презирать тебя, как последнюю девку, если ты трусишь открыть нам правду.

— Хорошо! — отвечала она, бледная как мраморная статуя. — Хорошо же! Ты угадал: Актэ увезена по моему повелению и для блага государства. Я осудила ее на изгнание, и ты никогда не узнаешь, где она... Никогда!

— Ты умертвила ее! — простонал император, пошатнувшись.

— Нет, — твердо возразила Агриппина. — Клянусь моими священнейшими чувствами, моей любовью к тебе, которого я некогда ублаживала на коленях, я позаботилась о том, чтобы она была ограждена от каких бы то ни было страданий и горя! Верить ты мне?

— Да. Но все равно: к чему мне это жалкое уверение? Мы разлучены, и в этом уже довольно страдания и горя. Я хочу вернуть ее во что бы то ни стало! Где она? Ты должна и будешь мне отвечать.

— Никогда!

— Никогда? Даже если я от этого умру?

— По крайней мере Нерон умрет незапятнанным, на высоте своего несравненного величия, а не оскверненный вечной любовью к ничтожной, презренной рабыне.

— Мать!

Он занес руку. Дрожь пробежала по его лихорадочно пылавшему телу.

— Знай, что никто, кроме меня, не сумел бы пережить этого мгновения, — сказал он, опуская руку. —

Прощай! Я буду искать ее. Клянусь Юпитером, теперь я узнаю львицу, удушающую спящего сына! Берегись, мать, и обдумай все! Не приноси меня в жертву твоему высокомерию, твоей безумной гордости! Иначе...

— Ну? Что же? Иначе?..

— Прощай!

Нерон, вне себя, выбежал из дворца.

Глава VI

Стремительно помчались кони по долине. Скоро пришлось остановиться и дать отдохнуть выбившимся из сил животным. Им дали воды и хлеба и вытерли их вязовыми листьями. Через полчаса двинулись дальше, но уже с умеренной скоростью. Перед императором, подобно пробуждающемуся великану, расстился озаренный рассветом громадный город. Желтоватый туман, еще окутывавший высокие храмы, театры, дворцы и термы, клубился и волновался словно занавеси...

Наконец появилась Друзова арка. Неподвижно глядя в пространство, бледный император промчался по многолюдному форуму, не обращая внимания на приветствия, громче обыкновенного раздававшиеся вокруг него.

Повсюду стояли возбужденные группы, с лихорадочным оживлением толковавшие о необычайном происшествии — ночной поездке цезаря — причина которой уже сделалась известна благодаря рабыням Актэ, а в особенности Кротионе: едва оправившись от испуга, они поспешно бросились в Субуру для того, чтобы с плачем и сетованиями рассказать торговцам горохом и пекарям о приключениях этой ужасной ночи.

Ничего дурного нельзя было сказать о молодой Октавии, но все-таки общественное мнение склонялось в пользу императора, ибо Октавия, в ее величавом спокойствии казалась равнодушной к своему супругу, между тем как имя Актэ было окружено каким-то чудесным ореолом женственной нежности и любви.

— Я сам видел ее, прекрасную отпущенницу Никодима, — сказал один тощий клиент, только что вышедший из дома своего патрона. — Она обворожительное создание, и я могу представить себе, как цезарь сердится и негодует за свою потерю.

— Это верно, Люций, — отвечал его спутник. — Благоклонность Октавии рядом с пламенной страстью этой Актэ, по-моему, все равно, что душистое масилийское вино в сравнении с самым сладким кипрским. Ему ведь навязали супругу...

— Все шло бы еще сносно, — продолжал клиент, — если бы императрице-матери не удалось наконец получить согласие Октавии на похищение... Как она подстрекала Октавию! Теперь-то будет скандал! Сказать по секрету: Агриппина оказалась более ревнивой и негодующей, чем сама Октавия!

— Да, да! Она боялась, что Актэ со временем приобретет влияние на управление государством.

— Наверное. И она поступила, как крестьянский мальчик, разоряющий гнездо. Но я опасаюсь, что ее безумный поступок дурно отзовется на всех нас.

— Каким образом?

— Разве ты его не видал сейчас? Я говорю про цезаря. Он был подобен распаленному гневом Ахиллесу, явившемуся для отмщения за Патрокла. Никогда еще взор его не горел таким страшным огнем. Я задрожал при взгляде на него.

Так шли они по улицам, мимо людей, боязливо-притихшими голосами обсуждавших тот же самый предмет.

А тот, о котором в это раннее утро говорил весь Рим, в смертельном утомлении бросился на ложе и мгновенно заснул. Никакое сновидение не тревожило его освежающий сон. Казалось, благодетельный рок предоставлял ему запастись всеми силами, которые должны были понадобиться ему в предстоявшей борьбе.

Он проснулся только около полудня и потребовал прохладительное питье, коротко и раздражительно отказавшись от всякой пищи.

Целые часы провел он в своем рабочем кабинете в глубоких размышлениях. Рабы и отпущенники, как тени, скользили мимо запертой двери: никто не осмеливался нарушить уединение Нерона. Даже сам Сенека, осторожно постучавшийся в час ужина, получил в ответ полуповелительное, полуютчаянное приказание:

— Оставь меня!

Давно уже стемнело, когда Нерон наконец отворил дверь и велел рабу Кассию принести огня, хлеба и вина. Придворные и гости могут садиться за стол, когда и как заблагорассудится главному распорядителю. Государственный советник заменит особу императора.

Потом он послал за отпущенником Фаоном.

Когда поверенный вошел, император подал ему расписку в казначейство.

— Трать, расточай! — прошептал он, хватая его за руку. — Разошли повсюду десять тысяч гонцов и сыщиков, двадцать тысяч, сколько хочешь, и каждого на жалованье военного трибуна! Пусть они ищут так, как если бы от этого зависела их жизнь. Кто найдет ее, пусть требует какую хочет награду — хоть самый престол! Только найдите ее!.. Ступай! Я медлил уже слишком долго. Нет, нет, я ничего не хочу слышать... твоё присутствие противно мне... ведь ты носишь облик человека!

Глубоко потрясенный Фаон удалился. Нерон снова погрузился в безутешное раздумье.

— Все это тщетно, — простонал он. — Однажды я уже пережил то же самое... Все розыски бесплодны... Я это чувствую... Я это знаю!

Следующий день он провел в таком же состоянии.

Встав с солнцем, украдкой, подобно беглецу, пробрался он в кабинет, где Кассий уже позаботился приготовить завтрак.

Хотя Нерон должен был чувствовать голод, он не прикоснулся к пище. В угрюмом размышлении сидел он за рабочим столом, играя тростниковым пером или перекидывая с места на место желтоватые полосы папируса, сложенные перед ним аккуратными пачками.

Иногда он вскакивал, ходил как тигр в клетке, сжимал кулаки, или ложился, крепко стиснув пальцами горло. Вдруг он испустил крик, подобный крику хищного зверя, со стоном повалился на свое ложе и закрыл лицо руками. Так лежал он с четверть часа, то неподвижно, то содрагаясь всеми членами, как в припадке падучей болезни.

Наконец он встал и, подойдя к столу, за которым так часто писал стихотворения в минувшее блаженное время, взял один из желтоватых листков и написал следующее:

Завязав и запечатав послание, он несколько успокоился.

Он позвал раба, отдал ему приказания и затем отведал немного пищи, состоявшей только из молока, пшеничного хлеба и рыбного блюда. Но все казалось ему противно, и горло было сдавлено как в тисках.

Бросившись в роскошное кресло, он начал считать букеты на сирийском ковре, покрывавшем пол, потом бессмысленно уставился на художественно украшенный потолок, как бы не сознавая ни собственного существования, ни окружающей его обстановки.

Отсутствие Кассия показалось ему вечностью.

Все время сердце его мучительно сжималось страхом за участь Актэ. Вот уже третьи сутки, как он не

целовал прелестных губок, при каждом свидании говоривших ему так много милых, ласковых слов. Ее последнее божественно сладкое объятие! Если бы какой-нибудь бог шепнул ему, что случится несколько часов спустя! Быть может, это было последним объятием в этой жизни! Страшное предчувствие подсказывало ему: да, это было последним! Никогда, никогда больше он не будет так радостен, так богат и так счастлив...

Ужасно! Что для него весь обширный мир, если Актэ не наполняет его лучами своей любви? Даже самой пробуждающейся весне он радовался только из-за нее; розы благоухали так прекрасно только потому, что Актэ наслаждалась их благоуханием; багряная вечерняя заря, уносившая его в область поэтических грез, была так божественна только потому, что он мог переносить свой взор с рдеющего небосклона на глубокие лучезарные очи Актэ, в которых так чудно отражался горячий румянец заката. И когда она начинала петь одну из своих нежных песен и он вторил ей на сладкострунной кифаре, голоса их сливались в стройной гармонии, мир казался неизъяснимо прекрасен, а Палатинум с его императорским могуществом так далеко отступал на задний план, что Нерону чудилось, что он должен умереть в этом дивном очаровании, подобно сливающейся с морем волне. Да, это была любовь, это было счастье! А теперь?!

Он встал и открыл один из ящичков черного дерева, стоявших в ряд на длинных бронзовых полках и заключавших свитки рукописей.

Осторожно достал он изящно написанный, с блестящим красивым обрезом, список его любимого греческого поэта.

Как часто, сидя возле Актэ, он вместе с ней перелистывал бессмертную эпопею о возвращении на родину страдальца Одиссея, беззаветно увлекаясь потоком этой несравненной мелодии! Какая грустная перемена!

Печальны и пусты казались ему теперь стихи, некогда восхищавшие его душу и наполнявшие ее художественным восторгом.

А Кассий все не возвращается!

Он продолжал читать, стараясь обмануть свое нетерпение... Вдруг ему пришло в голову, что есть одно только средство для того, чтобы заглушить муку о потере Актэ: меч.

Да, если бы он мог, подобно кудрявым ахейским героям броситься на страшного врага, или разрушить Илион, тогда, быть может, он сумел бы позабыть радужный сон юности и привыкнуть к вечной ночи.

Солнце уже стояло высоко, когда Кассий вернулся из альбанской виллы.

Он привез александрийский, втрое перевязанный пергамент.

Император дрожащими пальцами развязал затканный серебром шнурок.

Послание гласило следующее:

Когда Нерон, судорожно обхватив дрожавшими пальцами ручку своего бронзового кресла, уронил письмо на колени, в комнату осторожно вошел Фаон. С полминуты он стоял у двери, из которой тихо выскользнул испуганный Кассий, подобно собаке, трепещущей от близости льва.

Наконец император вскочил.

— Она лжет, — раздирающим голосом крикнул он. — Она лжет! Актэ утонула! Жалкая сказка, это столкновение с испанским кораблем! Вот, прочти, дорогой Фаон, и подтверди, что это письмо лжет!

Тяжело дыша от глубокого волнения, Фаон быстро пробежал пергамент, и с трудом произнес:

— Повелитель, я отдал бы жизнь за то, чтобы признать ложью послание императрицы. Но я сам только что из Антиума...

— Несчастный! — прошептал Нерон.

— Великий цезарь, преклонись перед волей бессмертных богов! Агриппина говорит правду. Квириты уже знают об этом. Корабль потонул, и все, за исключением главного кормчего и двух матросов, нашли смерть в волнах.

— Но доказательства! Где доказательства? — воскликнул Нерон. — И ты обманываешь меня! Агриппина тебя подкупила! Доказательства, слышишь ты? Или голова слетит с твоих плеч!

— Клавдий Нерон безутешен, но он не сомневается в честности своего верного Фаона. Доказательства иметь не трудно. Испанское судно еще стоит в гавани; при столкновении оно получило значительные повреждения и без страшных усилий со стороны своих гребцов также пошло бы ко дну... Начальники гавани, добросовестность которых тебе известна, приняли экипаж испанца, так же как двух свободнорожденных матросов с потонувшего судна...

— Вернись в Антиум! — задыхаясь, произнес цезарь. — Пусть управляющий гаванью закует в цепи испанцев! Приведи их всех сюда, до последнего человека! Я брошу их на съедение зверям, они медленно изойдут кровью в когтях голодных тигров, эти бездушные негодяи, осмелившиеся ниспровергнуть в пучину сокровище императора!

— Будь справедлив в твоем горе, — сказал Фаон. — Испанцы совершенно не виноваты. Ответственность за ужасное несчастье падает на одного лишь кормчего другого судна, который вовремя не свернул с дороги.

— Так приведи сюда кормчего! Никакая пытка, никакая мука не будут достаточно жестоки для этого презренного. Я сам его задушу, разорву, уничтожу... вот так... так...

Скрежеща зубами, он поднял руки и судорожно согнул пальцы, как бы в жажде убийства и крови, подобно гэтулийскому льву. Потом он пошатнулся. Уничтоженный горем и страданием, упал он на руки верного Фаона, который бережно уложил его на подушки софы. Целительный обморок оковал больного, измученного цезаря.

Сложив руки, Фаон стоял возле него, не зная что делать и не сводя глаз с мертвенно-бледного лица Нерона. Быть может, ему жаль было лишиться несчастного этой минуты самозабвения; быть может, также, он думал, что и цезарю и римскому народу будет лучше, если измученный страшными бурями император никогда больше не проснется к жизни.

Очнувшись, Нерон потребовал кубок самого крепкого вина, залпом выпил его и приказал Фаону выйти. С принужденным спокойствием перечитал он еще раз пергамент своей матери и погрузился в мрачную неподвижность.

— Умерла... умерла! — шептал он иногда и снова упорно и молча глядел в пол, ничего не видя и не слыша.

Наступил вечер. Мозг Нерона все еще был окутан тяжелым покровом, скрывавшим от него всю глубину его несчастья. Вдруг покров этот разорвался.

Ужаснувшись самого себя, Клавдий Нерон вскочил с кресла и упал на колени. Со лба его катились крупные капли пота. Он заломил руки, как молящийся грешник, которому боги отказывают в милосердии.

— Все кончено! — простонал он. — Никогда, никогда больше в жизни не скажу я: Актэ, ты моя душа! Никогда, никогда! Кончено! Все разрушено! Если бы я мог еще один раз только взглянуть в ее милые,

божественные глаза, окруженные теперь вечным мраком, о, я отдал бы всю мою бессмысленную, жалкую жизнь и с радостью дал бы ей истечь в потоке моей дымящейся крови! О, если бы, умирая, я мог еще раз услышать ее чудный, кроткий голос! Что это за свет, в котором возможно такое преступление против красоты и добра! Актэ, моя возлюбленная, умерла! И эти бесчувственные стены стоят сегодня, как стояли вчера, и равнодушно будут стоять еще тысячелетия! Многолюдный Рим продолжает по-прежнему радоваться своему ребяческому, жадному до наслаждений существованию! Сенаторы идут в Капитолий, точно ничто не изменилось! Весталки приносят свои жертвы, преторианцы стоят на часах, сластолюбцы едят и пьют и бегают за женщинами, воры воруют, назаряне поют и молятся, точно сегодня то же самое, что вчера! Проклятие жалкой толпе, не остающейся горевать у себя дома, когда у повелевающего ею императора разбивается сердце! Славная верность! Но нет! Я прощаю им. Они не виноваты. Чего могу я требовать от народа, когда собственная мать моя посягнула на единственное счастье сына!.. Актэ! Актэ!

Он вскочил.

— Я пожинаю то, что посеял, — с невыразимой горечью произнес он. — Я был глупец, презренный раб. Зачем я допустил всему этому зайти так далеко? Добрая мать! Она хочет лелеять меня! Она хочет преданно разделять со мной заботы правления! Не заблуждайся, губительница моей жизни! Для того чтобы заживить такие раны, не довольно половины власти! Мир постигнет теперь, кому принадлежит престол Августа: тебе или мне! Фаон! — громовым голосом позвал он.

Казалось, он гигантским усилием подавил свою неизмеримую скорбь, и голос его зазвучал как возглас торжества.

Отпущенник робко вошел.

— Поди и позови ко мне государственного советника! — приказал император.

— Как повелишь.

— Еще одно, Фаон! Неизвестно, кто были разбойники, похитившие мою Акта?

— Нет, повелитель! Все розыски оказались бесплодными. Одни говорят, что это были рабы Агриппины, другие, что преторианцы...

— Молчи! Мой вопрос был неразумен. Даже если бы я знал... ведь они были лишь орудием в руках Агриппины. Позови же советника!

Сенека вошел к императору с достоинством и почти скорбящий.

— Мой друг, — с железным самообладанием сказал Нерон, — не бойся, я не стану сетовать и жаловаться на вечную утрату! То, о чем я хочу беседовать с тобой, касается далекого будущего.

Он коротко и ясно изложил ему свои планы.

— Воистину, ты цезарь по моему сердцу, — сказал Сенека, торжественно заключая его в объятия. — Все, что во власти моей и моих друзей...

— Да, я знаю, вы постоите за меня и, в случае надобности, обнажите за меня ваши мечи. Действуй, Сенека! Соображай, рассчитывай! Мой измученный мозг еще весь в жару...

— Не поддавайся только что побежденной слабости! Клянусь Зевсом, я не допущу этого! Сегодня я переговорю с Тигеллином Первое же сопротивление незаконному властолюбию Агриппины докажет римлянам, что Нерон сознал свой долг, предначертанный ему историей.

— Ты хотел многое рассказать мне об Агриппине, Клавдии и бедном Британнике...

— Подожди еще, даю тебе дружеский совет. Ты будешь величественнее и благороднее в глазах всех,

если начнешь действовать только сознав необходимость полной самостоятельности для правителя, нежели на основании слухов, которые, быть может, и в действительности только... слухи.

Нерон наклонил голову.

— Я доверяю тебе, — со вздохом сказал он. — Спаси меня от меня самого! Дай мне могущественный волшебный жезл для того, чтобы отогнать призраки прошлого, полные такой прелести и вместе такой муки...

— Этот жезл — скипетр. Держи его, как Геро!..

— Как Демон, если хочешь!

Глава VII

На шестой день после этих происшествий, атриум императорского дворца еще с рассветом был украшен праздничным убранством.

Мраморный подиум у входа в архив был покрыт драгоценными коврами; здесь стояли два трона на львиных ножках, с возвышавшимся над ними золотым балдахином.

Бесчисленные гирлянды из прекраснейших цветов и роскошной зелени обвивали колонны, свешиваясь со стен и покрывая полы.

Повсюду яркие ковры сливались с великолепной мозаикой стен, даже с крыш спускались тяжелые кисти и бахрома, сверкавшие все ярче в лучах поднимавшегося над горизонтом солнца.

Сегодня, во втором часу дня, должен был начаться торжественный прием послов хаттского народа. Для этой цели, вместо сенатского зала заседаний, было избрано обширное жилое помещение Палатинума, что придавало событию менее официальный, но зато более радушный и величественный вид.

Если бы не предстояло это давно ожидаемое дипломатическое представление, Сенека, вероятно, взял бы отпуск еще на прошлой неделе. Жара последних майских дней становилась невыносимой в городе, и в узком Субурском предместье вчера уже было несколько случаев заболевания лихорадкой. Но приходилось перетерпеть неприятность, так как дело шло о первой возможности нанести чувствительный удар честолюбию Агриппины не только перед собранием сенаторов, но и в присутствии иностранного посольства. Она должна была понять наконец, что в управлении римскими государственными делами начинается новая эра. Хатты, самое способное и развитое из германских племен и непосредственные соседи римлян, ожесточенные неоднократным насилием римских солдат, в течение последнего года возмущались все сильнее и вместе с сигамбрами участвовали во всевозможных враждебных замыслах против римлян. Судя по сведениям, доставленным лазутчиками пропретору, наместнику императора в северных провинциях, все свободные германцы готовились к нападению на Римскую империю.

Но из многочисленных германских племен только среди одних хаттов и сигамбров уже тогда укоренилось понятие о необходимости объединения. Остальные, включая гуттонов и ругов, забывая об эпохе великого Вара, истощали свои силы в междоусобицах и оставались вполне равнодушными к новой, быть может, еще действительно преждевременной идее. Даже между знатными хаттами существовали необузданные семейные распри. В этих условиях и при искусной дипломатической тактике императорского наместника легко удалось, с помощью некоторых уступок, в особенности же посредством уплаты вознаграждения за обиды, склонить хаттов к примирению и представить им значение дружбы с могущественными римлянами в таких блестящих красках, что после некоторого колебания, они решили послать в Рим двенадцать знатнейших вельмож под начальством главного полководца Лоллария, для передачи императору подарков и предложения мирного соседства.

С этой, отчасти театральной, задачей хаттских вельмож связаны были еще несколько более деловых пунктов, которые пропретор не осмеливался решать единолично.

Уже за несколько дней перед этим Агриппина выразила неуместное и, по понятиям римского народа, неприличное и оскорбительное намерение приехать из своей албанской резиденции, чтобы рядом с юным императором принимать посольство и буквально председательствовать при всей церемонии.

В эту-то ахиллесову пяту и собирался поразить Агриппину государственный советник, мягко, но явно для всего народа, отодвинув ее на задний план.

Вообще Анней Сенека не оставался праздным с того дня, когда его призвал Нерон, объявивший, что

блеском единоличного владычества он намерен вознаградить себя за счастье, похищенное у него Агриппиной и жестоким роком.

Сенека приветствовал внезапное воодушевление императора таким восторгом, что Нерон начал считать заслугой то, что было для него только потребностью.

В тот же вечер Сенека сообщил Флавию Сцевину, что если продолжится энергичное настроение цезаря, то самого Нерона можно считать в числе заговорщиков против императрицы-матери. Поэтому следовало пока отложить все враждебные Агриппине планы, так как на сенат и вообще на римский народ бесспорно сильнее подействует, если Нерон сам лично возьмет на себя инициативу противодействовать матери. Объяснившись с Флавием Сцевином, советник, однако, все-таки принял необходимые меры предосторожности, дабы оградиться от возможного насилия Агриппины. Ничего не подозревавшего о заговоре Бурра легко было заставить передать начальство над половиной дворцовой когорты агригентцу Софонию Тигеллину, так как с некоторых пор вождь преторианцев уже менее слепо обожал императрицу-мать. До него дошли слухи о необычайной благосклонности Агриппины к военному трибуну Фараксу, и некоторые подробности этого обстоятельства, хотя, конечно, глухие и неопределенные, казались оскорбительными для его гордости солдата. Не то чтобы он почувствовал поползновение возмутиться против повелительницы, но она должна была увидеть, что он уж не такое послушное орудие в ее руках, каким она его считала.

Получив от Бурра начальство над дворцовой стражей, Тигеллин тотчас же начал сорить золотом среди солдат, между тем как Нерон, по совету Сенеки, пока воздерживался от каких бы то ни было действий.

В то утро, когда императрица-мать уже сидела в карруце, запряженной четырьмя горячими каппадокийскими конями, и мчалась из своей виллы в столицу, Сенека счел уместным подогреть ожесточение Нерона против Агриппины, рассказав ему то, что он доселе отказывался открыть ему.

Пока рабы одевали цезаря для предстоявшего торжественного приема, дальновидный советник сидел в рабочем кабинете императора, скрестив на груди руки и тщательно обдумывая свою трудную задачу.

Главный раб Кассий уже доложил своему повелителю, что министр имеет обсудить с ним чрезвычайно важные дела раньше появления сенаторов. Нерон нетерпеливо торопил прислужников.

Когда наконец он показался на пороге кабинета в своей отороченной пурпуром тоге, Сенека с необыкновенной важностью подошел к нему навстречу.

— Иди, дорогой! — приветливо обратился он к цезарю. — У нас еще есть свободные полчаса. Садись и выслушай меня!

В коротких словах повторив императору некоторые правила государственной мудрости Августа и в особенности подчеркнув то, что иногда бывает полезно смотреть на прошлые преступления как на вовсе не содеянные, он старался оправдаться после упрека, будто он когда-либо одобрял деяния Агриппины.

— Поверь мне, — с волнением говорил он, — сто раз голос внутреннего божества настойчиво повелевал мне объявить всему народу, что нельзя ждать ничего доброго от Агриппины. Одно лишь всегда удерживало меня: боязливое уважение к тебе, безупречному сыну преступницы. Я знал, как ты искренно почитал свою мать, как один среди всех римлян был ослеплен ею, не подозревая того, что заставляло нас краснеть от гнева и позора.

Нерон слушал, затаив дыхание, и судорожно стиснув ручку кресла. Сенека продолжал еще многозначительнее:

— Нет, дорогой цезарь, я не брежу и слова мои далеко не порождения большого мозга. Спроси

Тигеллина, спроси, пожалуй, и Бурра, потому только извиняющего все ее преступления, что, несмотря на свою внешнюю суровость, он чувствительнее любого юного поэта...

— Что это значит?

— Ну, он любит Агриппину... и обладает ею! — отвечал Сенека, веско и монотонно произнося каждое слово.

— Ты говоришь это мне? — громко вскричал потрясенный до глубины души Нерон. — Бурр обладает ею? Мать императора — возлюбленная начальника казарм?

— Успокойся! — с большим хладнокровием произнес советник. — Это не первый случай в истории, когда благородное дерево, приносящее благородные плоды, внезапно поражается внутренним гниением... Потом ты говоришь: начальник казарм! К чему такое пренебрежение? Начальник лучше плебея рядового. Теперь вот толкуют... Прости, но я, право, не в силах выговорить этого!

— Или ты находишь нужным щадить меня? — засмеялся император.

После минутного молчания, Сенека продолжал:

— Все равно. Ты должен узнать все, ибо теперь предстоит вопрос: ты или она? Во всех слоях народа чувствуется грозное брожение. Сенат тайно ропщет. Всадники, мелкие купцы, ремесленники, даже самые рабы пылают яростью на недостойную женщину, по произволу попирающую ногами все государство. Прежде всего: она — пучина разврата! На Бурра я готов закрыть глаза. Но недавно я узнал, что она довольствуется одним возлюбленным...

— Ты лжешь! — вскочив, вскричал Нерон. — Она может забываться, может осквернять себя, но она никогда не может потерять свою необъятную гордость...

— Быть может, я преувеличиваю! — отвечал Сенека. — Но сделай снова то, что ты проделывал прежде: замешайся, переодетый, в народную толпу в предместье! Зайди в таверны, в харчевни, в лавочки цирюльников! Там ты услышишь много всякого о некоем трибуне Фараксе...

Нерон громко застонал.

— И все это — правда? — после продолжительной паузы спросил он.

— Такая правда, император, что ты можешь приказать живым закопать меня в землю, если я лгу! Зачем дрожишь ты, Клавдий Нерон? То, что я рассказал тебе, все человеческие слабости, постыдные, пожалуй, даже презренные, но простительные. Не опускай взора! Какая же печаль поразит тебя, когда я скажу тебе, что это еще не худшие из ее деяний!

— Говори! — воскликнул уничтоженный Нерон. — Теперь я приготовился ко всему. Не связывается ли она также и с погонщиками мулов, привозящими ей благовония и плоды? Мне доставляет мучительное наслаждение зарываться все глубже в эту отвратительную грязь.

— Повторяю, все это свойственно человеческой природе, — отвечал министр. — Пылкая женщина, всегда привыкшая только повелевать, не обузданная ни одним мужчиной, стареющая, но еще юношески-прекрасная, подобная сочной виноградной кисти, такая женщина, естественно, становится жертвой своей ненасытной жажды жизни. Но из-за этого все-таки ей нет надобности становиться убийцей!

При последних словах голос Сенеки зазвучал подобно отдаленному раскату грома.

Бледная, бессмысленная улыбка скользнула по губам несчастного императора.

— Знаешь ли ты, — продолжал Сенека, — каким образом умер твой жалкий отчим Клавдий? Я буду справедлив и не умолчу о недостатках жертвы. Клавдий не годился в мужа Агриппине. Домиций Аэнобарб

с его железными кулаками мог сдерживать ее; Клавдий же, вдовец Мессалины, был погибшим еще до начала борьбы. Но все-таки, разве он не любил ее нежно? Был ли он когда-либо виновен в каком-нибудь проступке, не говоря уже о преступлении? Он господствовал, или, лучше сказать, позволял господствовать. Преступление же его в глазах нежной Агриппины состояло в том, что он доверил верховную власть не ей и что он не изгнал или не умертвил бедного Британника, своего собственного сына, которого он уже лишил престолонаследия в твою пользу. Ее всевозможные интриги для захвата кормила правления открыли Клавдию ее намерения. Он решился расторгнуть свой брак с ней и снова возвратить Британнику отнятые у него права. Что сделала Агриппина? Ей предстояло два исхода: кротостью, покорностью и уступчивостью вернуть расположение супруга или же силой устранить его, прежде чем он успеет привести в исполнение свое решение. В те времена любимым оружием ее были капли отравительницы Локусты. Эта закоренелая, позорная злодейка доставляла ей жидкость без запаха и вкуса, обладавшую драгоценным преимуществом отравлять медленно, но зато верно. Любимым кушаньем Клавдия были грибы; выбрав превосходный, крупный гриб, Агриппина приказала одному из поваров пропитать его таким количеством отравы, которая должна была наверное причинить смерть. Блюдо подали на стол. Как заботливая хозяйка, она положила мужу отравленный гриб, имевший такой свежий, соблазнительный вид. Сама же она взяла себе другие грибы с блюда. Когда скоро после обеда Клавдия начало клонить ко сну, все думали, что он выпил лишнее. В течение ночи, однако, он постепенно потерял зрение, слух и способность движения. Он умер в страшных муках.

Сенека замолчал. Молодой император тупо взглянул на него.

— Что за чудовище! — прошептал он наконец. — Но кто же может поручиться, что все эти истории не вздорные сказки, выдуманные ее врагами и разглашаемые народным легковерием?

— Обещай полное прощение отравительнице Локусте, и она подтвердит тебе истину этого преступления, ибо повсюду, где яд играет роль, она была орудием в руках царственной убийцы.

— Сенека, мой учитель и друг, я верю тебе, хотя душа моя содрогается от стыда и отчаяния! Горе мне! Что должен я делать?

И в смертельном изнеможении он опрокинулся в кресло.

Не обращая внимания на отчаяние цезаря, советник продолжал:

— Знаешь ли ты, как умер твой сводный брат, Британник? Я меньше всех сожалел о том, что его лишили престолонаследия. Несмотря на свои превосходные качества, он все-таки далеко уступал сыну Агриппины. Поэтому государство только выиграло от его устранения. Но зачем Агриппине понадобилось затоптать эту цветущую жизнь? Британник был вовсе не себялюбив. Он сделался бы твоим другом и советником. Своей рассудительностью и хладнокровием он дополнял бы твою пламенную натуру. Потомство назвало бы вас Дамоном и Финтием, Пиладом и Орестом...

— Не говори мне об Оресте, — задрожав, прошептал Нерон.

— Почему?

— Мне страшно! Орест... умертвил свою мать.

— И хорошо сделал: в сообщничестве со своим любовником мать умертвила его дорогого отца.

Нерон жестом остановил его.

— Итак, — продолжал Сенека, — Агриппина умертвила Британника с такой несказанной хитростью, с таким низким коварством, подобных которым не найдется во всей истории мира. Британник был предупрежден. Он не принимал никакой пищи, не дав предварительно отведать ее рабу. Но мать твоя умудрилась погубить его самым чистым даром природы. Она приказала подать ему пряное вино таким

горячим, что для охлаждения его потребовалось прибавить свежей воды. Раб уже отведал дымящийся напиток, зачерпнув немного из чаши. Вино было безвредно. Но когда Британник подлил в него отравленную воду и выпил первый глоток, он тут же упал и уже через минуту превратился в труп.

— Как? — вскричал Нерон. — Но ведь я был свидетелем этого ужасного события. Тогда сказали, что это обморок и что он умер только несколько дней спустя, от удара.

— Так нам сказали тогда, чтобы не прерывать обеда. Поверь мне, мой дорогой, у меня есть доказательства и этого злодейства.

Нерон, бросившись ничком на стол, судорожно схватился за волосы. Сенека тихо подошел к нему и, положив ему руку на плечо, как бы с состраданием прошептал:

— Позволь мне умолчать об остальном! Одно только ты должен еще узнать: что покушение на Флавия Цевина было также делом разгневанной Агриппины. Его тост смертельно оскорбил ее...

— Молчи, молчи! — простонал император. — Я знаю довольно!

В это мгновение в атриуме раздался голос раба, глашатая часов.

— Пора! — сказал советник. — Успокойся, дорогой друг! Нерон-сын исчез; пусть же Нерон-император тем славнее засияет на высоте своего единовластия! Нет, не так, мой мальчик! Осуши слезы! Смотри на мир смело и свободно, подобно орлу, направляющему свой полет вверх, к солнцу! Покажи северным варварам, что величие и блеск римского имени вполне и совершенно олицетворены тобой, народным любимцем! Будь мужчиной! Будь Августом!

Клавдий Нерон медленно поднялся.

Действительно, казалось, что пережитый им страшный час всецело закалил и ожесточил его. Благородно и величаво стоял он перед своим старым наставником, также мгновенно позабывшим то, что доселе потрясало и волновало его, и вопросительно смотревшим в лицо молодому властителю всемирной империи. Теперь он уподоблялся мраморной статуе бога Аполлона, посылающего не одни лишь благодетельные лучи, но и гибельные стрелы. Все решительнее и спокойнее становилось выражение прекрасного рта, в течение многих блаженных недель знавшего одни лишь поцелуи и смех. Да, при виде этого сиявшего юноши-героя, упрямые хатты должны сказать себе: «Горе народу, имеющему врагом римского цезаря!»

Так вышел он с Сенекой из кабинета и нашел свою свиту, уже с четверть часа ожидавшую его.

Глава VIII

Между тем в атриуме собралось необыкновенное число сенаторов, необыкновенное потому, что большинство их уже переселилось в летние виллы и они прибыли в Рим, лишь повинувшись приглашению императрицы-матери присутствовать при торжественном приеме хаттских послов.

Императорский секретарь Эпафродит приветствовал прибывающих и почтительно провожал их к мягким седалищам, расставленным полукругом справа и слева перед разукрашенными арками. Утреннее солнце уже заглядывало в верхние окна залы. Рассыпанные повсюду цветы, орошаемые рабами мелкой водяной пылью, сверкали подобно цветнику, осыпанному росой, а драгоценные ковры с каждым мгновением казались все ярче и роскошнее.

Советник всегда придавал особое значение тому, чтобы такие торжества, как предстоявший прием посольства, происходили бы со скрупулезной точностью. Почти в то же мгновение, когда Нерон среди своей блестящей свиты направлялся к трону, громко приветствуя сенаторов, Сенека перед входом залы обменивался дружеским рукопожатием с высоким, седобородым вождем германских посланцев. Послы уже соскочили со своих густогривых коней.

Нерон, милостивым движением руки ответив на клик сенаторов: «Да здравствует император!», опустил на одно из двух роскошных кресел под балдахином.

Справа от него стоял Бурр с несколькими военными трибунами. Слева — агригентец Софоний Тигеллин, Ото, супруг прекрасной Поппеи Сабины, молодой поэт Лукан, в последние месяцы пользовавшийся весьма заметным покровительством Сенеки, секретарь Эпафродит и некоторые другие придворные и государственные вельможи с их знатнейшими подчиненными.

Дальше, направо и налево помещались небольшие отряды преторианцев в позолоченных панцирях, с ярко-красными конскими хвостами на блестящих шлемах, мечами на боку и с длинными копьями в руках.

Справа и слева, во главе сенаторов, сидели правящие консулы, должность которых, со времени недавнего государственного преобразования, имела одно лишь внешнее значение, что однако не препятствовало страстно добиваться этих мест.

Советник назначил почетный караул из преторианцев и для германского посольства; отряд этот, пройдя через остиум, остановился в надлежащем порядке слева от входа, прямо против трона. Затем появился государственный советник с предводителем хаттов, Лолларием. Остальные послы, стройные, высокие воины лет тридцати-сорока, все голубоглазые и белокурые, за исключением двоих, темные волосы которых указывали на их южное происхождение, вошли вслед за Лолларием и остановились посередине атриума, между тем как вождь их с вежливым Сенекой приблизились к устланному коврами подиуму.

— Всемогущий цезарь, — начал Сенека, — достойный и отважный воин, вместе со своими благородными товарищами вступивший в Палатинум как друг римского имени, есть князь Лолларий, первый между хаттских вельмож, знаменитый полководец и отличный знаток нашего языка, наших обычаев и законов.

Сказав это, Сенека отступил к Софонию Тигеллину, с изумлением и любопытством рассматривавшему хаттского князя.

Нерон встал и, сойдя до последней ступени подиума, с приветливой улыбкой подал руку послу.

— Привет тебе и твоим собратьям в нашем священном семихолмном городе, — сказал он. — В глазах

твоих я вижу прямодушие и мужество. Мне нравится это. Именем собравшихся здесь отцов отечества и свободного римского народа я предлагаю тебе честную дружбу. Ибо, как нам известно от нашего пропретора, соседа вашего на Рейне, вы прибыли в Рим искать нашей дружбы.

— Ты сказал, могущественный император, — на безукоризненном латинском языке отвечал Лолларий. И он так же, как ныне его старший сын, в прежние годы посещал всемирную столицу на Тибре, для изучения римских государственных наук и военного искусства. — После того как наместник твой удовлетворил нашим законным требованиям, я не вижу повода к вражде между хаттами и вами, хотя в то же время я глубоко сожалею о том, что императорские легионы постепенно уже превратили многие древнегерманские области в римские провинции.

— Почему сожалеешь ты об этом? — спросил цезарь.

— Потому что мы, северяне, которых римляне считают отдельными племенами, гораздо теснее связаны между собой, нежели италийцы с испанцами; потому что мы могли бы образовать одно великое, могучее государство, единого происхождения и народности, если бы частью Рим не отчуждал нас друг от друга, а частью нас не разделяли бы нестерпимые междоусобия. Одни только мы, хатты, да честные сигамбры сознают общность всех германских племен и постигают всю силу сплочения в одно государство, то есть именно то, что подняло Рим до его настоящего величия.

Император снова поднялся по ступеням и медленно опустился на свое место под балдахином, между тем как двое рабов, повинувшись взглядам советника, принесли к подиуму золотое седалище.

— Я понимаю это, — благосклонно произнес Нерон. — Прошу тебя, однако, сесть, неприлично заставлять послов, равно священных как по правам народным, так и по законам гостеприимства, стоять дольше, чем длится обмен приветствиями.

После мгновенного колебания Лолларий спокойно и самоуверенно взошел на подиум и сел.

— Лолларий, — продолжал Нерон, — ты видишь: одной нашей встречи было достаточно для того, чтобы выяснить вопрос, который мы намеревались обсуждать. Пока между нами нет открытой и честной войны, ни один римлянин не ступит на вашу почву с недозволенными намерениями. То же самое обещайте нам и вы. Во всем остальном мы также будем поддерживать дружелюбное соседство. Вы будете продавать нам добычу от вашей охоты и рыбной ловли, превосходные звериные шкуры, вкусную дичь и логанские форели. От нас вы будете получать изящные ремесленные орудия, тарентинские ткани, белоснежные одежды для ваших жен и дочерей, пояса и пряжки, а главное всего — дары бессмертного Бахуса. Ибо, как я слышал, у вас на севере не произрастает веселящая душу виноградная лоза: вы пьете странное варево из пшеницы и ячменя, которое изумительным образом превращаете в нечто подобное нашему италийскому вину.

— Цезарь, — отвечал Лолларий, с улыбкой поглаживая свою большую сидящую бороду, — у нас есть два напитка: сладкий и горький. Первый называем мы медом, второй — пивом, и право, когда пойдут по кругу застольные кубки с медом или огромные рога с пивом, зазвучит воинственная песнь и задымятся сочные ломти оленины или медвежьих окороков, — то и сам ты, цезарь, позабыв о римской роскоши, сознался бы, что германцы умеют жить!

— В этом я не сомневаюсь, — возразил Нерон. — У всякого народа свои нравы и обычаи. Итак, мы достигли цели. Вот моя рука! Мир и дружба! Только ради простой формальности секретарь мой Эпафродит напишет государственный договор, не в виду какого-либо сомнения, но лишь ради включения в архив. Наверное, и у вас есть здания или святилища богов, где вы храните ваши важнейшие акты.

— Жрецы и вельможи наши искусны в письме, — сказал Лолларий. — И хаттам также будет приятно иметь дружелюбные слова императора, начертанными на прочном пергаменте. У нас есть люди, которым

при случае следует повторять подобные вещи.

— Завтра же тебе будет доставлен договор для подписания, — сказал император. — Теперь, когда все окончено, прошу тебя, расскажи мне что-нибудь о себе и о твоих товарищах. Кто твои спутники? Ты мог бы привести их сюда.

Лолларий поднялся было, но Нерон удержал его.

— Прежде всего о тебе, — милостиво сказал он. — Тебя зовут Лолларий. Это почти латинское имя!

— Оно изменено на латинский лад для вас, не способных совладать с более грубым северным произношением. На германском языке меня зовут Лаутарто, что значит: великое сердце. Мой замок стоит на берегу Лана, по вашему Логана, недалеко от впадения в реку быстрой Визахи. Дальше тянется лесистая Птичья гора, названная так за бесчисленное множество тетеревов, наполняющих леса своим криком и токованьем. О, земля хаттов — чудная страна!

— Странно, — возразил Нерон. — Мы, римляне, не любим ни горных лесов, ни ущелий. Нас манит к цветущим лугам, лавровым рощам, в особенности же к берегу моря. У тебя поблизости нет ни моря, ни озера?

— Нет, император. У нас только одни безвредные реки: Лан и Визаха. Мы не знаем ваших могучих волн. Но, впрочем, я должен заметить, что всего в ста шагах от моего двора Визаха падает с крутого уступа вниз с таким шумом, который напоминает о прибое Тирренского моря. Народ называет это водопадом, и мой замок поэтому зовется замком на водопаде.

Цезарь продолжал беседовать с бородатым хаттским вождем, как будто собирался сделать ему в течение лета визит в его леса на Логане. При этом, однако, он иногда поглядывал на Сенеку, каждый раз отвечавшего ему едва заметным движением губ: «Еще есть время, повелитель!»

Наконец Лолларий сошел с подиума и привел троих, знатнейших из своих спутников.

Один из них, золотоволосый, румяный Хейло, должен был возвестить императору о почетном подарке: двух живых зубрах, привезенных в нарочно приспособленных для этого повозках по большой левой рейнской военной дороге через Везонцио в Массилию, откуда морем их переправили в Остию.

Корабль с предназначавшимися для императорской арены чудовищами стоял теперь на якоре у авентинского холма, и Хейло просил императора принять, когда ему будет угодно, дружественный дар хаттского народа.

Нерон поблагодарил, и так как Сенека все еще продолжал стоять спокойно, то он принял и остальных участников посольства, обращаясь к каждому с приветливыми речами. Потом он поднял правую руку. По этому знаку из-за колоннады вышли двенадцать придворных служителей в пурпуровых одеждах и подали всем двенадцати послам от имени императора по драгоценному мечу с золотой рукоятью в блестящих ножнах.

Сенаторы, поначалу возроптавшие было за чересчур ласковое обращение цезаря, сочли, однако, приличным присоединиться к приветственным кликам, раздавшимся с той стороны, где сидели Флавий Сцевин, Бареа Сораний, Тразея Пэт и другие члены высокого собрания. Несколько ярых приверженцев императрицы-матери с трудом могли сдерживать свою тревогу. С каждой минутой на их смущенных лицах все ярче выступал вопрос: где же Агриппина? Почему она не занимает своего места рядом с сыном, которого она возвела в сан императора! Но Агриппина еще мчалась по звонкой дороге в своей карруце с широким верхом.

По обычаю советник направил ей запрос, когда назначить прием хаттского посольства и получил от нее ответ. Агриппина рассчитала с излишком, сколько времени займет ее переезд.

Но разве это вина Сенеки, что император внезапно повелел начать церемонию ровно получасом раньше того, как желала Агриппина?

Она беспечно сидела рядом со своей поверенной, зеленоглазой пантерой Ацерронией и смеялась над необычайной легкостью, с которой можно было подтянуть построжки у разбуянившегося мальчика.

Она считала себя полной госпожой положения и втайне превозносила свою необычайную ловкость, которой так прекрасно помог и случай...

Да, да, эта Актэ оказалась бы опасной для властолюбия императрицы-матери; в постоянном общении с Нероном она могла бы наконец сообразить, как мало знания требуется для того, чтобы руководить империей. Страстная, фантастическая любовь была только прелюдией. Через несколько месяцев в ее душе созрели бы другие чувства, другие желания и надежды...

Например, если бы эта Актэ подарила цезарю ребенка, сына? Какое могучее побуждение для матери стремиться к влиянию и власти!.. Нет, судьба распорядилась гениально: Агриппина могла быть спокойна.

Довольная улыбка мелькнула на ее губах.

— Ну, Ацеррония? — произнесла она, покончив с приятными мыслями. — Что ты так холодна и равнодушна сегодня? Ты ни разу не выглянула из окна, несмотря на то, что сам красавец Фаракс предводительствует нашим отрядом. Еще так недавно ты вся кипела восторгом, а теперь вдруг так сдержанна? Уж не поссорились ли вы?

— Нет! — с изумительной резкостью отрезала красивая пантера.

Всякий другой смертный, наверное, навсегда лишился бы милости Агриппины за подобную грубость. Одна лишь Ацеррония в этом отношении пользовалась невероятными привилегиями.

Агриппина схватила ее за руку.

— Что с тобой, голубка? — с материнской нежностью спросила она. — Уже при отъезде я заметила, что ты грустна.

— Ну, уж этот Фаракс! — презрительно воскликнула Ацеррония.

— Он твой жених и, если богам будет угодно, он сделается твоим супругом еще до осени. Я должна была обещать ему это...

— Должна? — переспросила Ацеррония. — Но кто же может заставить тебя?

— Ну, он просил меня, умолял...

— Сколько есть просящих бесплодно!

— Я не понимаю тебя, — сказала императрица. — Или ты раздумала? Ведь Фаракс нравился тебе. С самой первой встречи...

— Да, он понравился мне, и нравится теперь; одно только мне неприятно, что он так сильно нравится тебе!

— Дурочка! — усмехнулась Агриппина. — Ты бредишь или хмельна? Как может быть тебе неприятно, что мне нравится избранный мной для тебя человек? Ты больше хотела бы, чтобы я находила его противным?

— Может быть... иногда мне сдается...

— Что?

— Могу я говорить откровенно?

— Конечно.

— Ну, мне сдается, что ты сама по уши влюблена в него.

Агриппина сделалась чрезвычайно серьезна.

— Благодарю богов, что цезарь не слышал твоих слов! Он приказал бы распять тебя!

— Мне все равно! — пробормотала Ацеррония, кусая губы и все больше нахмуриваясь.

— Брось глупости! — внушительно сказала Агриппина.

— Так запрети своим рабам болтать о тебе такие вещи, которые...

— И ты не горишь от стыда? Ацеррония, дочь кордубанского всадника, слушает сплетни рабов! Только теперь я понимаю! Знай же, Ацеррония, собственными ушами я слышала, что болтали между собой две работницы в албанском парке. Они дерзали позорить свою императрицу, ибо низкие души никогда не умеют отличить политическую благосклонность правительницы от любви женщины. Я говорю теперь не стесняюсь, потому что мне противно, что именно ты вступаешь в это грязное болото. Одно мое движение, и эти рабыни умерли бы. Но Агриппина слишком высоко ставит свое славное имя для того, чтобы мелочность и низость могли оскорбить ее. Артемизия пускала стрелы в дочерей Ниобеи, но она презирает лягушек в трясине.

Слова императрицы были полны такого достоинства и искренности, что сомнения Ацерронии исчезли.

— Прости меня! — прорыдала девушка, пряча лицо на плече своей покровительницы и как бы ища защиты от самой себя.

Потом она вдруг приподнялась и вытянула руки, словно хищница.

— Но я, я не высокородящая императрица, я могу снизойти до того, чтобы покарать клеветников, если еще когда-нибудь услышу такие позорные толки. И клянусь Юпитером...

— Успокойся, дитя! — прервала ее Агриппина. — Смотри, мы уже в городе. Оботри слезки! Тебе предстоит играть роль. Ты впервые появишься перед сенатом.

— Почему Паллас не с нами?

— Он лежит в лихорадке. Вчера вечером он прислал сказать, что болен.

— Признаюсь, повелительница, лично я вовсе не желаю, чтобы на меня глядели эти надутые, бессмысленные сенаторы...

— Ты не стесняешься в выражениях... Но это все твоя фантазия. Сегодня, при таком важном государственном событии...

— Мои рыжие волосы еще важнее. Что они прекрасны, ты сама говорила это; они почти не хуже твоих волос, черных, как ночь, а мужчины чем старше, тем безумнее.

Копыта коней стучали уже по мостовой Via Sacra...

Между тем Тигеллин получил известие о приближении экипажа Агриппины.

Пока император еще разговаривал с хаттами, агригентец вышел, чтобы приветствовать императрицу-мать с ее свитой.

— Повелительница, — сказал он. — Прошу тебя, поспеши! Если тебе угодно, пройди здесь в боковую дверь! Перед входом в остиум сидят в креслах послы.

— Как? Уже? — вся вспыхнув, спросила императрица.

— Да, уже. К сожалению императора и сенаторов, ты немного опоздала.

— Я? Как опоздала? Мы аккуратны, как смена часовых. Говори! Что это значит?

Тигеллин с притворной покорностью пожал плечами.

— Так пожелал наш цезарь и повелитель. Я возражал ему, но он сказал, что нельзя заставлять дожидаться хаттов, явившихся с такими превосходными намерениями. Но ведь время еще не ушло, высокая повелительница! Исторический акт еще может быть окончательно скреплен твоим появлением.

Агриппина задрожала. Не дожидаясь Ацерронии и остальной свиты, она величаво вошла в ближайшую боковую дверь.

Сенаторы встали. Агриппина направилась к подиуму.

Сдерживая закипевшую в его груди горечь, Нерон спокойно сошел с трона, поспешил навстречу матери и приветствовал ее обычным церемониальным объятием.

— Какая приятная неожиданность! — воскликнул он, предварительно наученный Сенекой. — Государственные дела уже окончены. Теперь побеседуем все вместе в приятном семейном кругу!

Шепот одобрения, вырвавшийся у большинства сенаторов, показал Агриппине всю полноту ее поражения. Она сознавала, что сделается смешна, если не сумеет проглотить пилюлю. Ее самообладание спасло ее.

— Благодарю тебя, — отвечала она, целуя сына в лоб, — за то, что ты так быстро и счастливо окончил в высшей степени трудное и запутанное дело. Мне кажется, что собравшиеся здесь благородные римляне и хатты ожидают, чтобы цезарь отпустил их. Исполни же их желание! Передай им, что я принимала сердечное участие в осуществлении дружественного союза, и затем следуй за нами к завтраку в маленький триклиний!

Она удалилась с величественным поклоном. Но в душе ее кипели дикая злоба и ненасытная ненависть.

— Это шутки Сенеки! — заскрежетала она, проходя мимо Ацерронии. — Я замечала в последнее время, что этот негодяй стал отдаляться от меня и вилять. Весть о случившемся полетит по городу, по всей латинской земле, по всем провинциям. Мое влияние поколеблено вконец! Повсюду будут говорить: Агриппина отказалась от власти... Отказалась? Нет и никогда! Время покажет! Терпение и сдержанность! Берегись, Ацеррония. Ни один человек под небом Юпитера, а в особенности он, неблагодарный, не должен подозревать, как глубоко проник мне в грудь этот жестокий удар. Иначе народ восторжествует. Терпение, терпение! Я могу незаметно завоевать обратно то, что он отнял у меня. О, я понимаю его. Это мщение за Актэ! Так я вдвойне радуюсь, что ее проклятое тело досталось на корм рыбам!

Глава IX

Главный кормчий и два матроса, спасшиеся при ужасном крушении корабля, не могли ничего сообщить об отпущеннице Никодима. Все полагали, что Актэ утонула, подобно остальному экипажу злополучного судна. Там, где в борьбе с неумолимыми волнами погибли сильные галлы и мускулистые иберийцы, могла ли уцелеть нежная юная девушка?

Тем не менее все заблуждались. Раньше, чем корабль погрузился в пучину, Актэ, схватившись за одну из оторвавшихся досок борта, бросилась в воду. Не теряя мужества и сознания, она вынырнула из клочковатой бездны, крепко прижимая к груди доску, и благополучно выплыла из толпы тонувших в мучительной борьбе матросов; моряки по ремеслу, они, в сущности, были плохие пловцы.

Актэ, привыкшей по получасу купаться и носиться по морским волнам, понадобилось лишь легкое усилие для того, чтобы с помощью доски держаться на поверхности. Плыть вперед она и не пыталась; безумно было бы надеяться достигнуть отдаленного берега. Ее должна заметить рыбацья лодка или корабль: в этом была единственная возможность спасения. Поэтому она решила использовать свои силы и не терять мужества и хладнокровия.

С невероятной энергией отражала она приступы страха, грозившего объять ее трепещущее сердце.

Она убеждала себя, что невысказанно, чтобы ее блаженный сон любви окончился так ужасно. Она старалась вернуть себе небесную самоуверенность, высказанную ею перед Палласом, и уговорить себя, что любовь Нерона охраняет ее и среди бесконечной водной пустыни.

Все напрасно. Несмотря на священный огонь ее чувств, она вполне сознавала свое отчаянное положение.

Между тем утренний ветер усеял море пенистыми гребешками. Несчастную Актэ могли бы заметить только с близко проплывающего корабля; ее бледное лицо, светлая одежда и блестящие волосы сливались с белоснежными гребнями волн. С равномерностью мощного дыхания вздымались и падали высокие водяные горы; Актэ то взлетала на пенившийся гребень, то, без силы и без воли, она скользила в темно-синюю пучину, для того чтобы снова быть подброшенной кверху.

Шум взволнованного моря теперь совершенно заглушал ее крики о помощи. Звонкий голос ее раздавался слабо и глухо. Все возрастающий страх смерти отнял у него его сладкую серебристость.

На восточном горизонте, подобно бледным, туманным призракам, проходили громадные купеческие суда, направлявшиеся в Панормию; но ни одно из них не приблизилось к месту катастрофы. Рыбацьи лодки из Антиума не рисковали пускаться в открытое море при таком ветре. Корабли же, плывшие в Остию из Испании или из Галлии, держались севернее.

Ветер все крепчал и все выше и выше вздымались белогривые Нептуновы кони. Волна за волной обрушивалась на слабеющую Актэ; с волос ее на бледное лицо струилась вода, смывавшая слезы с ее глаз.

В страшной опасности обратилась она к всемогущему Богу с немой, но пламенной мольбой о спасении. В жертву Спасителю она приносила свое сердце.

— Возьми все, — в нестерпимой муке взывала она. — Вся моя жизнь отныне посвящена будет Тебе; я буду странствовать по городам и селам, подобно святым апостолам, распространяя Твое учение до вечных льдов, до страны готов и скандинавов...

И ей показалось, что она видит перед собой кротко улыбающегося Спасителя мира. В ее измученную душу пролилась новая сила, — сила надежды.

Вдруг между ней и Кротким, Милосердным Галилеянином, подобно ночному метеору, встал очаровательный юноша, вчера еще державший ее в своих страстных объятиях.

Черты Спасителя сделались серьезны и строги, и Он отвернулся от нее.

Нет, она не могла молиться. Поступок ее был смертным грехом перед христианским Богом. Она была отступница, изменница.

Конечно, пресвитер часто говорил о милосердии всепрощающего Бога, радостно приветствующего возвращение грешника, если только сердце его преисполнено искреннего раскаяния и сожаления о своей вине.

Но увы! Она не раскаивалась!

Для того, чтобы чувствовать раскаяние ей пришлось бы возненавидеть все, что было ей дорого, пришлось бы отказаться от жизни, от самой себя.

Нет, она не раскаивалась!

А для нераскаянной грешницы нет спасения от этой ужасной смерти. Актэ затрепетала. Вдруг таинственно и загадочно у нее мелькнуло странное воспоминание.

Разве прежде она не знала иных богов, еще кротче и человечнее по чувствам и мыслям, чем Бог назарян?

Разве в раннем детстве глаза ее не устремлялись с верой на престол золотой Афродиты?

Афродита вышла из недр морских. Бурная стихия была ее родиной. Она укротит разыгравшуюся бурю, если к ней с верой обратится Актэ; ведь в глазах богини любовь к Нерону и его сладкие поцелуи не только не преступление, но доброе дело, угодное божеству.

Этот внезапно нахлынувший на нее могучий отголосок детства поверг Актэ в еще больший ужас. Перед ее умственным взором засверкали блестящие башни Коринфа; она слышала красноречивые речи великого апостола, видела его серьезное, выразительное лицо и благоговейное собрание верующих... Это было в то время, когда она три месяца прожила с Никодимом на Перешейке и только что приняла крещение. Громовой голос предостерегающего Павла проник в ее сердце подобно звукам судной трубы. Вечная погибель, адские муки и проклятие были участью отступников, однажды просвещенных милостью Господа и снова впавших в сети отвергнутого ими язычества.

— Единый истинный Бог, прости мой смертный грех! — простонала несчастная. — Спаси, о, спаси меня ради Твоего возлюбленного Сына! Аминь!

Все тщетно!

Среди бушующей пучины не было ни луча надежды на спасение; ничья бессмертная длань не протягивалась к утопающей... Старые боги потеряли свою мощь; они были лишь тени, бессмысленные создания фантазии. Истинный же Бог, пославший на землю Спасителя, безжалостно отвернулся от преступницы.

— Нерон, я умираю за любовь к тебе, — срывающимся голосом прошептала Актэ и почувствовала, что тонет.

Глаза ее застлал сине-зеленый туман, в ушах засвистела вода; кругом, среди бледных молний, носились невиданные чудовища. Потом наступила тишина... Волны по-прежнему вздымались в однообразном движении, а высоко в небе, облитая яркими солнечными лучами, с жалобными криками носилась чайка...

Актэ очнулась в богато убранной спальне.

Пылающая голова ее покоилась на мягкой подушке, покрытой кордубанским полотном. Одежда была из тончайшей тарентинской пурпуровой шерсти, затканной золотом.

Слева возле больной стояла на коленях девочка-подросток, омывавшая ароматическими эссенциями ее безжизненно висевшую руку.

Пожилая женщина со строгим, но привлекательным лицом, наклонившись над Актэ справа, накладывала ей на лоб холодный компресс. В ее ногах стояла, подобно мраморной статуе, бледная, прекрасная молодая женщина с кроткими, как у лани, карими глазами, слегка потупившимися, когда на них остановился вопросительный взгляд Актэ.

— Где я? — спросила она.

— У доброжелателей, — отвечала старуха, разглаживая компресс морщинистой рукой.

— О, это бесконечное счастье!

— Разумеется, бедняжка!

— Как я попала сюда?

— Помощью богов и человеколюбивого моряка, — отвечала старуха.

— Но ведь я тонула... все глубже и глубже... и мне казалось, что пришел всему конец...

— Так могло тебе показаться. И отважный Абисс, спасший тебя, сначала также думал, что все усилия его тщетны.

— Абисс? Я никогда не слыхала этого имени.

— Он египтянин и старший кормчий на корабле нашей повелительницы.

— И он спас меня?

— Да, мое дитя.

— Но как это было возможно? Кругом не было видно ни одного паруса, ни одного! А я молилась с такой верой! О, я опять тону!.. Тону!.. Помогите! Помогите во имя Христа!

Она закрыла глаза и на несколько минут лишилась сознания. Потом очнулась и пришла в себя.

— Нет, это ничего, — с признательной улыбкой ответила она старухе, заботливо спрашивавшей, каково ей.

— Скажите мне, как все это случилось?

Старуха вопросительно взглянула на высокую женщину, все еще неподвижно стоявшую у постели и, казалось, собиравшуюся с мыслями.

Не услышав запрета от своей госпожи, честная служанка коротко и ясно исполнила желание Актэ.

— Мы отплыли на рассвете далеко в море. Госпожа наша не могла заснуть; свежий воздух должен был успокоить ее. С восходом солнца поднялся сильный ветер. Мы быстро повернули обратно, прямо в гавань. Посреди открытого моря мы нашли красивую куколку, которая теперь лежит здесь. Ты судорожно цеплялась руками за расщепленную доску. Наш Абисс увидел тебя и, недолго думая, как стрела полетел через борт и, как раз в то мгновение, когда разжались твои руки, схватил тебя за мокрые волосы. Корабль наш метался как бесноватый, гребцы не знали, что делать; я в отчаянии зывала к отцу Нептуну, с руля слышались крики: «Спасайся сам, Абисс, и брось утопленницу!» Но госпожа приказала спасти тебя, и Абисс упорствовал, несмотря ни на какие вопли... Наконец он поймал брошенную ему веревку, обвязал тебя ею,

и тебя вытащили на палубу. Вслед за тобой влез и отважный пловец, обессиленный, но сияющий гордостью за свою победу. Госпожа безмолвно пожала ему руку; она не сказала ни слова, но мы все видели, как ошарашен был мужественный Абисс. Мне показалось, что он смахнул слезы с глаз и с той поры он заботится о тебе, словно ты его собственное дитя.

— О, благодарю вас! — прошептала Актэ. — Скажи, как зовут тебя?

— Меня зовут Рабония.

— Добрая Рабония! Чем заслужила я такую заботу о моей ничтожной жизни? Мне кажется, я видела долгий, долгий, тяжелый, ужасный сон. И теперь, при пробуждении, мне так приятно смотреть на твое честное лицо...

— Восемь дней пролежала ты в горячке, — сказала Рабония. — Только вчера тебе стало лучше. Теперь Абисс может уверить нас в твоём выздоровлении.

— Абисс? Который спас меня?

— Тот самый. Он не только искусный моряк, но и врач. Я думаю даже, что в этом отношении с ним не сравнится сам главный лекарь императора.

Актэ вздрогнула. Слово «император» наполнило ее сердце трепетом надежды и любви.

Вдруг она приподнялась на подушках. Взор ее неподвижно устремился на прекрасное, благородное лицо молодой женщины, все еще безмолвно смотревшей на нее.

— Это сатанинское наваждение? — простонала Актэ, дрожащей рукой указывая на неподвижную фигуру. — Октавия, супруга императора!

— Это я, — холодно отвечала Октавия. — Не бойся ничего! Под этой кровлей ты найдешь защиту от всех невзгод.

— Но знаешь ли ты меня? — в безутешном страхе воскликнула Актэ. — Нет, ты не подозреваешь... Горе, горе мне! Вы спасли меня из морской пучины только для того, чтобы подвергнуть мучительной, медленной смерти!

— Успокойся! — отвечала императрица. — Тобой опять овладевает горячечный бред.

— Нет, о, нет! — с волнением вскричала Актэ. — Мысли мои совершенно ясны. — Она сорвала со лба освежающую повязку. — Отошли женщин! Ради всего святого, заклинаю тебя, повелительница, отошли их! Наверное, ты не знаешь меня! Иначе ты не смотрела бы на меня так кротко и сострадательно!

Рабония и ее помощницы удалились.

— Императрица, — простонала Актэ, когда они остались одни, — поклянись мне, что ты предоставишь мне избрать себе род смерти!

— Что это значит? Не хочешь ли ты, едва избегнув ее, наложить на себя руки?

— Я не хочу! — с отчаянием вскричала Актэ. — Но ты, императрица, захочешь умертвить меня, когда узнаешь, кто я. Как? Уже прошло восемь дней? Значит, весь Рим знает об этом! Право, меня безмерно удивляет то, что ты ничего не подозреваешь! О, я задыхаюсь! Слушай же: я Актэ, отпущенница Никодима...

— Возлюбленная императора, — с печальной усмешкой докончила Октавия. — Я знала это, хотя ни разу не видала тебя раньше.

— Ты знала? И не убила меня? Не отравила? Не выколола мне глаза раскаленным железом?

— Нет, бедное, заблудшее создание! Успокойся же! Ты побледнела, как умирающая!

— Всемогущий Боже! — ломаю руки, рыдала девушка. — Какое святотатство совершила я! Возможно ли для меня прощение? Повелительница, если бы я могла высказать тебе... ты, ты меня берегла и холила? О, если бы земля разверзлась подо мной, чтобы поглотить мой уничижающий позор!

— Не считай меня добрее, чем я заслуживаю, — возразила Октавия. — Когда в первый раз я подошла к твоему ложу, на котором ты металась в горячке, призывая того, чье имя я не смею произнести, и узнала перстень на твоём пальце, одно мгновение мне казалось, что я брошусь на тебя, как дикий зверь. Но когда ты начала жаловаться и плакать по нему, как ребенок плачет по матери, во мне произошел странный переворот. Мне следовало лишь предоставить тебя твоей судьбе: болезнь сделала бы свое дело и без моего участия. Но в сердце моем заговорил голос, повелевавший мне нечто лучшее. Я пожалела тебя и последовала внушению божества. Мой египетский врач, Абисс, просиживал возле тебя целые ночи, и его искусству удалось оправдать наши надежды.

— Надежды? Как могла ты надеяться на выздоровление твоей соперницы, от которой с ужасом отвернутся все добрые люди?

— Да, ты — Актэ, и весьма возможно, что вместе с тобой я спасла свое собственное несчастье. О, я ведь знаю, вы любили друг друга глубоко, истинно, всеми силами души. Все равно: я не могла поступить иначе. Я охотно перенесу упрек в глупости и соглашусь показаться смешной, если только совесть моя не будет упрекать меня в себялюбии и бессердечной жестокости.

— Ты бредишь, Октавия! — сказала Актэ, бледная как смерть. — Так поступать не может смертная женщина. Нет, никогда, если она действительно любит.

Октавия сильно покраснела.

— Люблю ли я его? — горестно произнесла она, подняв глаза к небу. — Я отдала бы всю жизнь за то, чтобы на один только час овладеть его сердцем так же всецело, как ты!

Женская гордость, до этой минуты поддерживавшая ее, надломилась, слезы потекли по ее лицу, и она отвернулась.

— Ты низкого происхождения, — спустя немного, продолжала она, — но я нисколько не стыжусь завидовать тебе. В любви нет ни звания, ни знатности, пожалуй даже нет закона; ибо все это было против тебя. Императорские почести, прежде почитаемые мной небесным даром, теперь кажутся мне презренным прахом! Я желала бы быть последней рабыней, если бы через это могла добиться от него единственного взгляда, такого, каким он смотрел в твои глаза. Страшно и мучительно было мне слышать отголоски твоего несказанного блаженства, звучавшие в твоих горячечных речах... Я чуть не умерла от горя. И все-таки я перенесла это. Моя любовь к нему так глубока и священна, что и на тебя падает ее примиряющий отблеск.

Актэ сидела как окаменевшая.

— Ты все еще сомневаешься? — спросила Октавия, улыбаясь сквозь слезы. — Дай руку! Я прощаю тебе. Когда ты выздоровеешь, ты уйдешь отсюда свободно, куда хочешь. Что мне в твоём насильственном изгнании, на котором так настаивала Агриппина? Конечно, ты исчезла бы для него, но душа его по-прежнему осталась бы верна тому, что наполняло ее. Для настоящей, истинной любви, так как я ее понимаю, на земле не существует Леты!

Глубоко потрясенная Актэ упала на подушки. Схватив дрожащими пальцами протянутую к ней узкую, маленькую руку, она бурно припала к ней горячими губами. Но лихорадочное пожатие ее ослабело, она побледнела, как полотно, и глубокий спасительный обморок оковал ее измученный мозг, между тем как Октавия, побежденная страстной борьбой своего сердца, со стоном опустилась возле ложа молодой

девушки.

Глава X

Труд — всеисцеляющее лекарство. Случись все это зимой, цезарь мог бы броситься в кипучий водоворот внутренней и внешней политики, и кто знает, как сложились бы последующие обстоятельства. Но теперь солнце уже почти достигло созвездия Льва, государственные дела приостановились; по мнению аристократического света, Рим сделался невыносим и, таким образом, оставалось лишь перебраться на виллу в Кампанье с ее безумными, сказочными удовольствиями...

Над прекрасной Байей уже опустилась душная ночь. Шумные улицы постепенно затихали. Кое-где из матросских таверн раздавалась еще застольная песня. В роскошных виллах царило спокойствие пресыщения. Утомленные обитатели их при раскрытых дверях лежали на подушках в своих спальнях, ища по крайней мере хоть отдохновения, раз уж удушливая атмосфера прогоняла сон.

Но дальше, в нескольких сотнях шагов от берега залива, еще горели бесчисленные смоляные площадки, красноватый дым которых почти отвесно поднимался к небу.

Здесь, в розовых садах Сальвия Ото, пировали поздние гости, в беззаветном веселье осушавшие кубок за кубком.

По предложению своего высокого друга, императора, хозяин дома, Сальвий Ото, провозглашен был королем пиршества и с безукоризненным изяществом исполнял свою шутивную обязанность. Богато разодетые рабы беспрестанно наполняли серебряные кубки; прелестные испанки с длинными распущенными волосами, подобно крылатым гениям, мелькали в своих обтягивающих тело прозрачных одеждах, предлагая пирующим так называемые «беллarii», пряные лакомства, употреблявшиеся римскими кутилами для возбуждения сил. Король пира, Ото, гордо возлежал на верхнем конце стола рядом с гречанкой из Эпидамна, недавно прибывшей в столицу. Справа от гречанки сидел сердцеед Софоний Тигеллин с супругой одного из сенаторов, молодой Септимией, которая вела себя, как безумная. Взгляд ее буквально впивался в темные глаза ее кавалера. Несмотря на длину его «очаровательно-звучного» имени, она поклялась в течение часа выпить установленное число тостов, то есть осушить за здоровье обожаемого человека столько кубков, сколько было букв в слове «Tigellinus». Она уже дошла до буквы «и».

Слева от короля праздника помещался достойный Сенека, придерживавшийся горадиева правила, что нет ничего приятнее, как при случае кутнуть на славу. Быть может также, совесть извиняла его высшей властью высокополитических, государственных причин: по мнению философа, Нерон именно теперь находился на лучшем пути к окончательному уничтожению влияния императрицы-матери. Для успешного поддержания этой оппозиции юный цезарь нуждался в известном опьянении. Несмотря на все открытия относительно прошлого Агриппины, в нем все еще жила его знаменитая сыновняя привязанность; в часы уединения император искал оправданий для преступлений матери, «грешившей всегда лишь ради него!» Поэтому советник считал полезным, когда цезарь вместо того, чтобы предаваться размышлениям, открыто и искренно бросался в шумный праздник жизни. Соседка Сенеки была немногим серьезнее и умнее Тигеллиновой Септимии, но она всегда придерживалась моды, а теперь была мода на философию. По этой причине она нисколько не завидовала своей подруге Септимии. Тщеславие в ней превосходило жажду поклонения.

Нерон сидел на последнем месте в конце стола, для того, как льстиво заметил Ото, чтобы превратить нижний конец в верхний.

Собеседницей императора была Поппея, супруга Ото.

Танцовщицы и флейтисты, жонглеры и декламаторы, по исконному обычаю, наполняли все перерывы пиршества. Было уже за полночь. В сопровождении нескольких факелосцев показалась всеми любимая певица Хлорис. Следуя за течением столичной жизни, она также покинула Рим в майские дни, и переселилась в Байю, где зарабатывала огромные деньги своим пением в домах богатых аристократов. Против ее собственного желания, вместе с деньгами, она приобретала также симпатии многочисленных кутил, повсюду преследовавших ее и призывавших Юпитера в свидетели их вероломных клятв.

С неподражаемой грацией подняв стальной плектрум, она запела любовную песню, при свете спокойно горевших факелов поразительно напоминая собой Мельпомену...

— Очаровательная невинность! — прошептала Септимия, нежно прижимаясь к плечу агригентца.

Голос ее звучал насмешливо. Хотя Тигеллин и не принадлежал к числу людей, уважающих непорочность женщины, он все-таки почувствовал себя втайне оскорбленным. Кроме того, его раздосадовало то, что влюбленная Септимия вовсе не оставляла ему времени для одержания над ней победы, но сама прямо так и давалась ему в руки.

— Действительно, девушка эта безупречна, — заметил он. — Вид ее освежает мою душу, подобно благоуханной росе.

— О, я не знала, что ты такой поклонник невинности, — несколько нервно возразила прекрасная Септимия.

— Почему же мне не быть им?

— Ты славишься, как ее самый опасный противник.

— Недурная эпиграмма! Но это клевета.

— В самом деле? Значит, длинный список твоих жертв — миф? Разве ты сам не признался мне час тому назад, что твои походы под орлами Афродиты были не совсем бесславны?

— Смею ли я напомнить прекрасной Септимии, что ее пурпуровые губки с привычной непоследовательностью отклонились от предмета разговора? Ведь речь шла не обо мне и не о моих «подвигах».

— Разумеется, мы говорили о Хлорис. Ты защищаешь ее, ты ручаешься за ее добродетель. Быть может, мой друг Тигеллин потому так уверен в ее неприступности, что недавно сам был отвергнут ею?

— Не я, — со спокойной вежливостью отвечал Тигеллин, — но были другие, и даже очень искусные претенденты, например... но не следует называть имен.

— Мне ты можешь довериться.

— Невозможно!

— Быть может, Ото? — с лукавой улыбкой шепнула она.

— Что с тобой, Септимия? Ото, вечный новобрачный, влюбленный в свою Поппею Сабину!

— Правда, что он влюблен. Но она плохо отвечает ему. Или уж не была ли и Поппея занесена в список Тигеллина?

— Щекотливый вопрос. Нет, Септимия. Наша Поппея, несмотря на свою красоту, всегда оставляла меня равнодушным. К тому же ведь еще неизвестно, не постигло ли бы и меня у Поппеи то же, что постигло твоего высококоротенного супруга у очаровательной Хлорис.

— Что? Моего супруга? Энея Камилла, этого вернейшего и трусливейшего из всех мулов, когда-либо впряженных в супружеское ярмо?

— Ты сказала.

— Я смеюсь над твоими выдумками.

— Это не выдумка, а факт, и я говорю это тебе в наказание за твою насмешку над Хлорис.

— Смотри-ка, как ты защищаешь свою Виргинию! Впрочем, какое же это наказание? Я думаю, тебе известно, что и к величайшей глупости Энея Камилла я так же равнодушна, как к шалости школьника. Ты не поверишь, Софоний, как меня тяготит его любовь. Я благодарю богов за то, что удалось наконец послать его в горы. Врач, мой поверенный, уговаривал его просто до хрипоты, и только с большим трудом добрый Камилл поверил наконец что морской воздух вреден ему.

Тигеллин отвернулся. Эта молодая, красивая женщина внушала ему отвращение.

Септимия осушила еще полный кубок.

— Это за «s». Твое имя окончено.

Она поднялась и громко сообщила о своем подвиге Сальвию Ото.

— Рукоплещите! — воскликнул он. — Тебе, прекрасная Септимия, награда принадлежит по праву. Наша маленькая финикианка Хаздра не замедлит увенчать твое чело венком победительницы.

Поверенная Поппеи, задумчивая Хаздра вышла из-за деревьев, где она все время печально сидела на каменной скамье. Шумный пир с удвоенной силой пробудил страстное горе, хранимое ею глубоко в сердце. Фаракс, пламенно обожаемый ею кумир, несмотря на нескладность его эпистолярного слога, Фаракс, с которым она уже имела тайные свидания, письмом уведомил ее, что его женитьба на ней несовместима с его новым званием военного трибуна. Письмо заканчивалось уверением, что он тем не менее будет вспоминать о ней с искренней дружбой. Но что это было для бедной, хорошенькой Хаздры, которую дружба великолепного Фаракса удовлетворяла так же мало, как голодного — список кушаний? Она была уничтожена. Под ее густыми ресницами сверкала страшная ненависть. Значит, доходившие до нее слухи — правда. Агриппина, мать императора... просто невероятно, невообразимо! Конечно, тот, кого заключала в объятия повелительница Рима, должен был быть поражен до безумства мечтой о своем величии. Финикианка, и без того считавшаяся варваркой, уже не годилась ему; с его стороны было даже милостью снизить до Ацерронии, дочери кордубанского всадника. О, эта красноволосая пантера с ядовитыми глазами и вечно кривящимся ртом! Но нет! Ведь Ацеррония только орудие Агриппины! Ацеррония невинна в сравнении с императрицей! Агриппина! Имя это для финикианки было равнозначно мучениям пытки. Возле лицемерной тигрицы на престоле Ацеррония была только безвредной дикой кошкой.

Такие чувства кипели во время пира в смуглой груди пламенной Хаздры. Держа в правой руке венок из роз, а левую прижав к сердцу, она с поклоном приблизилась к Септимии, начинавшей теперь ощущать серьезные последствия своего многобуквенного тоста, и грациозным движением возложила ей на голову искусно сплетенное украшение.

— Тигеллин! — прошептала Септимия, томно склоняясь на грудь агригентца. — Я внемлю твоим мольбам. Я хочу быть твоей, Софоний, твоей... твоей...

Тигеллин вежливо высвободился от нее.

Между тем прелестная Хлорис окончила пение, не смущаясь тем, что ее мало слушали во время «коронации» Септимии. Она колебалась, начинать ли новую песнь. Но Сальвий Ото пресек ее нерешительность, высоко подняв увитый виноградом кубок и слегка заплетавшимся языком воскликнув:

— Большой перерыв.

Те, кто еще мог встать, поднялись из-за стола и в одиночку или парами отправились бродить по роскошной роще, разведенной еще отцом Ото.

— Ты извинишь меня за минутку отсутствия, — сказал агригентец своей даме, — мне нужно сказать Хлорис пару слов.

— Арфистке? — удивилась Септимия. — Ты? Значит, все-таки...

— Только по делу. Она нужна мне послезавтра... для морской прогулки, которую я задумал. Я надеюсь, что император и прекрасная Септимия останутся довольны.

Лицо Септимии сияло самодовольством, пока агригентец тихонько отводил в сторону родосскую певицу.

— Так ты придешь? — спросил он, медленно обхватывая своей рукой ее левую руку.

Хлорис затрепетала и молча опустила взор.

— Ты не отвечаешь? — продолжал Тигеллин.

— Я не знаю, позволит ли мне Артемидор, — боязливо отвечала она.

— Артемидор? Отпущенник Флавия Сцевина? Во имя Кастора, скажи, разве он твой опекун?

— Не опекун, но жених.

— Смешно! Какое ребячество! Неужели ты серьезно веришь, что он женится на тебе? Ему это и не снится! Сегодня Хлорис, завтра Дорис! Его возраст — олицетворение ветренности!

— Он дал мне слово.

— Ну даже если и так: разве это составит твоё счастье? Ты, свободнорожденная, божественная артистка — и Артемидор, бывший раб, попавший уже однажды в руки палача...

— Господин, — пролепетала вспыхнувшая Хлорис, — он так благороден, так добр...

— Но ты не любишь его! Иначе ты не стала бы выставлять передо мной его преимущества, а просто заявила бы: он мой бог! И я также добр, обворожительная Хлорис, но все-таки никто не станет утверждать, что ты отдала мне твоё сердце.

— Конечно, нет!

— Вот видишь! Что значит твоё затруднение? Ты обещала мне украсить твоим соучастием мой праздник на заливе: я же лучше тебя знаю вкус моих гостей и хочу сам выбрать подходящие песни из твоей артистической сокровищницы. Неужели это кажется тебе так странно?

— Нет. Но я думала...

— Не думай ты ничего, моя сладкая голубка, а только чувствуй и пой! Итак, завтра, в третьем часу после восхода солнца! Слева четвертая дверь в перистиле. Но входи не через атриум, а через сад! Тебя не должны заметить, иначе весь сюрприз будет испорчен.

Она все еще колебалась. Тигеллин отечески похлопал ее по плечу.

— Ты олицетворение робости, прекрасная родоска! Положим, что Артемидор имеет на тебя право: так разве я требую от тебя что-нибудь худое? И неужели он сердится, если ты твоими рифмами украшаешь буйные пиршества?

— Это мое ремесло...

— И то, чего я от тебя требую, также твоё ремесло. Без подготовки нельзя выступать перед

слушателями. Ну, обещай же мне именем Аполлона, вождя муз, что ты не заставишь дожидаться самого ревностного из твоих почитателей!

Он протянул ей правую руку.

— Хорошо, я приду, — робко согласилась она. — Но ты, с твоей стороны, также честно исполнишь твое обещание?

— Все, все! — отвечал просиявший радостью агригентец.

— Твой искусный в художествах раб Пирр будет присутствовать при выборе песен?

— Конечно. Его суждение так драгоценно для меня!

— Наверное!

— Наверное! А теперь, взгляни мне в глаза хоть один раз! Неужели же я уж так страшен? Или я дикий зверь? Улыбнись же, очаровательная гречанка! Или ты все еще думаешь об Артемидоре?

— К сожалению, я думаю о нем слишком мало! — вырвалось у нее со вздохом.

В следующее мгновение она раскаялась в своих словах; но было уже поздно. Тигеллин понял, что робкая лань не ускользнет от него. Улыбка горделивого самодовольства мелькнула на его губах. Одна эта победа в его глазах стоила двадцати побед в кругу сенаторов и всадников.

Хлорис удалилась. Пока она поспешно выходила через боковую дверь, Тигеллин вернулся к своей пламенной обожательнице Септимии и любезно подал ей руку.

Она встала и всей тяжестью навалилась на него.

— Я хмельна! Божественный Тигеллин, я хмельна! — непрерывно хохоча, повторяла она. — Нет, вот так потеха! Все кружится около меня... и ты также, Софоний... ты также! Да держи же меня хорошенько! Так! Так! А теперь отведи меня туда, за пинии и поцелуй меня крепко... знаешь как... ах глупый, добрый Камилл! Ведь этот осел и целовать-то не умеет!

Тигеллин не был жестокосерд. Он храбро потащил в сад свою охмелевшую, спотыкавшуюся на каждом шагу собеседницу и кроме потребованного ею поцелуя дал ей еще несколько впридачу.

Большинство гостей парами гуляли по душистому саду или сидели на скамьях на вершине холма, где воздух казался свежее и чище, нежели за столом под вязами.

Один Сенека, как бы погруженный в размышление, стоял еще перед громадной кружкой и, отклонив услуги рабов, сам наполнял свой кубок.

— Безумный свет! — говорил он себе. — Он ничтожен, а все-таки может во всякую минуту заставить нас позабыть о своем ничтожестве! Пожалуй, Бахус все-таки самая лучшая из философий. Освободитель от забот, я приношу жертву тебе, ибо вот, я держу твое воплощение в моих руках, и мне не нужно предварительно воссоздавать тебя по законам логики.

Он вылил половину содержимого в кубке на землю. Остальную половину он выпил с подозрительной неуверенностью в движениях.

— Эвое! — воскликнул он, размахивая пустым кубком. — Эвое!

Затем, с большой величавостью направившись в дом, он бросился на бронзовую скамью, стоявшую в слабо освещенной колоннаде и, прежде чем замолкло эхо от его грузного падения, он уже заснул глубоким сном опьяневшего человека.

Глава XI

Несмотря на то, что во время пира Септимия всецело владела вниманием Тигеллина, он тем не менее успел заметить странное волнение Пoppей и постоянно изменявшееся выражение лица ее царственного собеседника.

Император казался все более и более очарован обворожительной супругой Ото. Несколько раз он заглядывал на нее взором, полным как бы сердечной признательности. Облако, обыкновенно появлявшееся на его челе посреди самого разгульного веселья, сегодня мелькнуло только на одно мгновение — когда Хлорис ударила по струнам своей арфы.

Тигеллин радовался этой перемене. Глупая история с Актэ, конечно, прелестной девочкой, пожалуй, даже не хуже очаровательной родоски, должна была быть наконец изглажена из памяти императора. Для этой цели Пoppей годилась как нельзя лучше. И как благотворны будут ее сети для Палатинума! Там, где господствует Пoppей, царят веселье, роскошь и наслаждение жизнью. Если она одержит эту великую победу, то дворец превратится в обитель богов. Тогда уже незачем будет боязливо скрывать свои похождения и сердечные тайны; тогда можно будет расточать миллиарды там, где теперь тратились только сотни тысяч или миллионы; короче, представится полная возможность проявлять свою личность такой, какой ее создали благосклонные боги, и топтать ногами все, что вздумало бы сопротивляться этому проявлению.

Блестящий кутила охотно подслушал бы беседу императора с Пoppей, остановившихся у мраморной ограды парка и смотревших на расстилавшийся перед ними залив. Но «хмельная» Септимия так крепко цеплялась за его руку, что он не мог стряхнуть ее, не выказав грубости.

Пoppей и Нерон стояли, близко прислонившись друг к другу.

Они молчали. Император широко раскрытыми глазами смотрел на голубовато-серые воды залива... Пoppей с милым кокетством положила ему руку на плечо, как бы желая сказать: «Помни, что возле тебя стоит друг, готовый сочувствовать всему, что волнует твое сердце!»

Долго не нарушалось молчание. Думы цезаря, казалось, унеслись в печальное прошлое.

Наконец Пoppей заговорила.

— О чем думаешь ты, цезарь? — спросила она. — Все еще о твоей вечной утрате?

Он не отвечал.

— Я знаю, — продолжала она, — что возвышенным натурам забвение дается лишь медленно и с трудом. Так я возьму на себя задачу постепенно залечить твою сердечную рану. Ободришься, мой друг! Или мне действительно следует сожалеть, что черты мои напомнили тебе умершую? А я надеялась благодаря этому незначительному сходству сделаться еще дороже тебе...

— Это так и есть! — возразил император. — Я чувствую, как с каждым днем ты становишься все необходимее мне...

— Я счастлива этим! О, потерпи еще немного! Твоя горесть о ней будет постепенно смягчаться, и наконец ты совсем перестанешь чувствовать печаль, теперь еще терзающую тебя. Клавдий Нерон! Посмотри на меня! Тебя воспитал великий мудрец Сенека. Можешь ли ты, воспитанник этого героя, вообще впасть в болезненную меланхолию? Покорность неотвратимому — вот в чем состоит мужество мужчины и человека. Ты весь погружен в прошедшее и удивляешься, что для тебя умерла весна!

— Прошедшее! — глухо повторил Нерон. — Ужасное слово! Сияющие подобно бессмертным богам, в

течение бесчисленных тысячелетий странствуют над нами звезды; но все-таки наступит наконец час, в который навеки погаснут и они, страшный смертный час великого Пана...

— И час рождения всемирной, всепоглощающей ночи, — вздохнула Поппея. — Как жалка и презренна участь человека! Мы не существовали целую вечность и, когда минет наше мимолетное бытие, мы снова исчезнем навеки. Что же значат печали, заботы, горе в этот короткий, дарованный нам промежуток? Актэ умерла, потому что так хотела судьба. Но все равно, она умерла бы прежде, чем протекло бы это столетие, даже если бы боги продлили ее жизнь до крайних пределов. То же самое относится и к нам, увы! Песок в часах Сатурна может высыпаться и для нас еще сегодня. А умирая, не пожалеешь ли ты о каждой минуте, проведенной тобой без радости, в тоске? Сегодня мы еще живем! Будем же наслаждаться!

Нерон глубоко вздохнул.

— Клянусь Стиксом, ты права! — внезапно выпрямляясь, сказал он. — Все одна тщета, а больше всего — жалобы о прошедшем.

Она взглянула на него полными слез глазами.

— Ты плачешь, Поппея?

— От радости, от счастья...

Нерон нежно обнял ее.

— Сегодня мы еще живем! — прошептал он, полуопьяненный ее непреодолимой прелестью. — Как ты прекрасна!

С ловко сыгранной робостью Поппея старалась освободиться от него.

— Сегодня еще у тебя розы в волосах и розы, розы на цветущих устах!

— Оставь меня, цезарь! — вкрадчиво просила она. — Вспомни Ото!

— Зачем один Ото будет Зевсом? Несравненная Ио слишком обворожительна для этого! Сегодня мы еще живем.

И он осыпал ее страстными поцелуями.

— Что нам до этих ледяных звезд с их унижающей человечество вечностью, когда мы жадно пьем наслаждение минуты? Поппея, в тебе олицетворены Фалес, Гераклит и Платон! Ты затмеваешь Сенеку, как солнце луну. Сладостная утешительница, за тобой я буду следовать всю жизнь!

Как бы в избытке счастья, Поппея бросилась к нему на грудь.

— Нерон, я обожаю тебя! — задыхаясь, прошептала она.

Он снова обнял ее, и ее губы припали к его губам в одном долгом, горячем поцелуе.

— А Ото? — спросил он вдруг, когда она оторвалась от него. — Ото, о котором мне так строго напоминала Поппея?

— Что мне до Ото, когда я знаю, что Клавдий Нерон любит меня? Я смело вооружилась бы долгом в защиту от прихоти властелина: но любовь твоя сильнее всего. Теперь я чувствую то, о чем лишь смутно подозревала прежде: что Ото для меня не более, как посторонний...

— Да, но увы! Ты все-таки останешься с этим посторонним, будешь делить его жизнь и его ложе...

— Что же мне делать? Разве я не жена его!

Наступило молчание.

— Когда и где мы увидимся? — внезапно спросил император. — Я подразумеваю: с глазу на глаз?

— Когда и где повелишь. Но берегись! Ото ревнив, как старик.

Нерон пожал плечами.

— Кому говоришь ты это, прекрасная Поппея!

— Не понимай меня превратно! Я говорю это не ради тебя, но ради себя!

— Что может он сделать тебе? К тому же ему вовсе ничего не следует знать пока. Я поговорю с Тигеллином. Он уж займет его чем-нибудь на стороне. Право, Поппея, ты оскорбляешь мое неожиданное счастье такими мелочными опасениями.

— Да, ты прав, — радостно сказала она. — Будь, что будет: я твоя рабыня...

— Моя путеводительница, — поправил ее Нерон, — моя очаровательная наставница в наслаждениях жизни!

— Да будет так! И я уверена, что мой юный ученик уже завтра позабудет о своей печали. Утром, после завтрака, ты найдешь меня в беседке...

— Я приду, божественная Афродита! О, я умираю от любви! Дай еще раз прижать тебя к сердцу!

— Слушай! Шаги! — сказала Поппея.

— Они далеко. Еще один поцелуй, возлюбленная! Так! А теперь уйдем! Вторая часть праздника сейчас начнется!

Громкие трубные звуки резко пронесли в голубоватом, ночном воздухе.

Поппея и Нерон, рука в руку, отошли от обвитой плющом стены и безмолвно направились к пиршественному столу.

В сердце молодой женщины звучала победная песнь.

Вялый, пустой, пошлый Ото узнает, на что способна любимая Клавдием Нероном Поппея!

Сам Нерон, по ее непоколебимому убеждению, со временем потребует от нее разрушения ненавистного супружества. Окончательно опьянив его счастьем ее любви, она распишет ему безумную страсть к ней ее мужа... Она разбудит ревность и царственную гордость Нерона и истерзает его сердце до того, что он по собственному побуждению потребует ее развода. Освободившись, она решит, как обеспечить свое положение, и попытается — мысль эта явилась у нее только сегодня — заставить императора, из противодействия страшной Агриппине, отделаться от страстно ненавидимой ею Октавии.

Поппея не могла говорить: так сильно бушевала радость победы в ее честолюбивой душе, не ощущавшей ни любви, ни увлечения. Поппея любила одну себя и, не колеблясь, принесла бы в жертву своему эгоизму решительно все, даже самые священные чувства.

Нерон между тем едва примечал ее молчание. Мысли его мчались, подобно облакам, в ту бурную ночь, когда незабвенную Актэ похитили из ее виллы. Он казался себе изменником.

Обладавший Актэ, мог ли он надеяться на счастье с Поппеей? И не был ли Ото, после агригентца, его лучшим другом? И этого друга он обманывал в его заветнейшем чувстве. Он рыл яму под его ногами и платил ему пунической верностью за нежную привязанность...

Но скоро им снова овладела прежняя горечь и непримиримый гнев на судьбу. Отнимая у друга жену, он делал совершенно то же, что сделали с ним самим бессмертные боги. «Всеблагий» Юпитер отнял у него Актэ, не думая, что разбивает его сердце. Теперь Нерон играл роль Юпитера. Такая перемена казалась ему

вполне справедливой. К тому же, если рассуждать по чести, оказывалось, что Пoppея сама навязалась ему. Он только пользовался неоспоримым правом пожинать то, что было для него посеяно.

А главное: сегодня мы еще живем! Слова эти шепнул ее обворожительный голос. Бери пенящийся кубок! Осуши его до опьянения! Не спрашивай, умирает ли кто-нибудь от жажды, пока ты можешь упиваться! Разве есть стыд у судьбы? Зачем у нее так мало избранников? Ото, потерявший Пoppею, не заслужил ничего лучшего. На его долю достаются насмешки и презрение. О, несчастный! Менелай, царь ахейцев, мог идти войной на похитителя своей супруги. Но ничтожный Ото, что сделает он своему могущественному императору? Преторианцы были лучшим оплотом, нежели стены Илиона. Бедный обманутый муж должен покориться, если не хочет, подобно взбесившемуся волу, слепо броситься на острия копий.

Нерон вздохнул.

Преторианцы! Впервые поправ закон справедливости, он ощутил потребность в этом железном оплоте. До этой минуты он никогда не думал о нем.

Ядовитый цветок тирании начинал прозябать.

Глава XII

Лето в Байе окончилось точно так же, как началось.

Праздник сменялся праздником благодаря соединенным усилиям Тигеллина и Поппеи, решивших не давать императору опомниться. При этом они умели устраивать так, что не чувствовалось ни малейшего пресыщения.

Длинный ряд великолепных зрелищ, игр и бегов часто прерывался освежающими катаниями по ночному заливу, когда не слышалось никаких звуков, кроме мерного всплеска весел.

Окончательно опутав императора своими сетями, Поппея заботилась теперь также о том, чтобы ему было достаточно времени для сна. Поэтому не менее прежнего разнузданные и буйные пиршества никогда не затягивались дольше полуночи.

Два вечера в неделю, по настойчивым убеждениям друзей, Нерон посвящал декламаторству, пению и игре на лире, или, по примеру известных модных артистов, представлял мимические сцены из древнегреческих легенд, как жертву Ифигении, страдания Филоктета, возвращение Лаэртидов и пр.

Прежде он делал это очень редко и только в самом тесном кругу близких ему лиц.

Теперь же приглашали половину Байи и, несмотря на то, что чувство приличия римлян сильно оскорблялось этими артистическими излишествами, тем не менее властителю мира рукоплескали, и даже с удвоенным усердием после того, как один старый сенатор, мирно заснувший при самых отчаянных жалобах Филоктета, был разбужен услужливым преторианцем ударом рукояткой копья в спину.

Начало осени также провели в Байе, «к сожалению, без всеоживляющего присутствия Ото», как лицемерно выразился Тигеллин. Милость цезаря возвысила Ото в сан пропретора Лузитании.

То-то были объятия и рукопожатия и взмахи ярко-красными вуалями, когда обманутый муж коварной Поппеи, «памятуя о своих патриотических обязанностях», отплыл от Мизенского мыса! Начальник флота Анкет лично командовал разукрашенным яркими вымпелами кораблем, с почестями увозившим лишнего супруга на берега Иберийского полуострова.

Замечательно! Прежде безумно ревнивый и пылкий Ото с некоторых пор сделался так тих и спокоен, что Нерон чувствовал себя неловко с ним. Уже по одной этой причине император избрал для «почетного изгнания» неудобного мужа отдаленную Лузитанию.

Из предосторожности он назначил адъютантом при новом пропреторе молодого германского офицера, обязанного следить за должностной и частной жизнью Ото.

Офицер этот был военный трибун Гизо, сын хаттского князя Лоллария.

Нерон считал его настолько же преданным себе, насколько умным, не подозревая, что Гизо, которому до глубины души претила развратная жизнь в Байе, давно уже втайне держал сторону Ото.

Поппею также смущала непостижимая перемена в ее муже.

Она ожидала открытой ссоры, когда объявила, что, к своему величайшему сожалению, вынуждена остаться в Италии, так как врач считает климат Лузитании для нее смертельным.

Но Ото так покорно принял ее отказ, что она была поражена. Неужели его прежняя ревность была лишь притворством? Или он разлюбил ее?

Или в своем возрастающем самомнении он считал серьезную измену невозможной? Ей почти казалось так, и прощальные слова мужа, по-видимому, подтвердили ее догадку. Садясь в лодку для

переезда на корабль, Сальвий Ото взволнованным голосом обратился к императору:

— Дорогой, — сказал он, — побереги мою верную Поппею и позаботься, чтобы она не слишком соскучилась до моего возвращения!

Нерон постарался справиться со своим замешательством.

— Отправляйся! — вежливо сказал он, сделав ему знак рукой. — Я не забуду твоего поручения.

— Мне известна беспредельная милость цезаря, — заметил агригентец. — Ручаюсь головой, что, если ты желаешь, он даст приют в Палатинуме твоей осиротевшей супруге.

— Это превзошло бы мои самые смелые ожидания, — улыбнулся Ото.

Ни малейшая тень горечи или иронии не омрачила его благородное, бледное лицо. Он еще раз кивнул с приветливой улыбкой и сел в лодку, между тем как окружающие многозначительно переглянулись.

Любовь Поппеи и Нерона была для всех, имевших глаза, несомненным фактом, хотя никто не осмеливался открыто намекать на это. Поппея весьма ловко умела соблюдать внешние приличия, чтобы тем вернее упрочить свое положение. Но чтобы Ото так-таки ровно ничего не замечал — этого она не могла допустить. Вспоминая улыбающееся, спокойное лицо уезжавшего мужа, она смутно чужала беду...

Ото отплыл. Во второй половине сентября наступили уже прохладные ночи. Несмотря на вечные прелести Кампании, избалованные римляне уже стремились в центр обитаемого мира — в свою столицу.

В половине октября туда потянулись сотни экипажей; у Поппеи была чудовищная свита.

Пурпуровые коляски, запряженные четырьмя, шестью или восемью кровными конями в блестящей золотом сбруе, вместительные повозки; плоские платформы с художественным мозаичным полом и свернутыми палаточными крышами, из которых во всякую минуту можно было составить сколько угодно мест для трапезы; широкие базарные возы; высококолесные телеги с посудой — все это богатством и пышностью напоминало роскошь древних персидских царей.

Во главе поезда, на белоснежных каппадокийских конях, скакали два отряда преторианцев в сверкающих панцирях. Позади странную и фантастическую картину представляли двадцать верблюдов, покрытых длинными, багряными покрывалами с желтыми кистями, на которых восседали увешанные кольцами, черные как уголь, африканцы. Это была фантазия Тигеллина, однажды для разнообразия устроившего на берегу Байи торжественный бег верблюдов и желавшего повторить это зрелище в большом цирке.

За верблюдами шли знаменитые пятьсот ослиц, великолепные мавританские особи, из молока которых прекрасная Поппея Сабина ежедневно принимала ванну в течение четверти часа для поддержания несравненной свежести и юности своего божественного тела.

Бедные поселяне, ошалев от изумления, провожали глазами этот фантастический хаос экипажей, людей и животных, тянувшийся по Аппианской дороге, пока последний отблеск солнечных лучей не исчезал на золотых подковах ослиц.

Об этих блестящих подковах уже говорили в Испании и Галлии.

Это был первый подарок императора своей возлюбленной в день ее рождения и стоил одиннадцать миллионов динариев.

Между тем вернулась в Палатинум и Октавия, ничего не подозревавшая об отношениях Нерона и Поппеи, так как никто из ее домашних не был достаточно смел или жесток для того, чтобы сообщить ей об этом. Ее сопровождали врач Абисс, Рабония и три из ее отпущенниц.

Актэ, в глазах Октавии искренне раскаявшаяся грешница, осталась на вилле в Антиуме под именем Исмены. Никто там не знал о ее прошлом, одни лишь Абисс и суровая Рабония узнали это у одра больной девушки, а им незачем было говорить о необходимости молчания.

Актэ-Исмена должна была вести хозяйство у старого, недавно овдовевшего управляющего, воспитывать его рано осиротевших внучат и вообще быть полезной по мере возможности.

Она сама желала именно такого положения в новом доме.

В действительности же ее ничто не занимало.

У нее была одна только мысль: скрыться от света, ни за что не встречать более цезаря, после того как Октавия сделалась ее благодетельницей, и раз навсегда позабыть о своем греховном счастье.

Часто думая о великодушии и благородстве молодой императрицы и о священном страдании, вызвавшем горькие слезы на ее сияющем юностью лице, она считала себя победившей и уничтожившей все свои личные чувства и стремления.

Но затем наступали минуты тоски, разрушавшей все, что в ней созидали самоотверженность, благородное усилие воли и горячие молитвы. Сердце ее было разбито, все существо ее надломлено. Тогда она не могла понять, как может быть грехом то, что казалось ей так сладко, так божественно и чисто, что осмыслило ее прежде бессознательное существование. Да, она любила его, теперь как и прежде, горячо и неизмеримо, хотя и осуждала себя за эту любовь безжалостнее и строже, чем это сделал бы Сам Иисус Назарянин...

Ко всему этому случилось еще, что до нее дошли слухи о триумфе Пoppеи, не достигавшие до юной императрицы. Бесконечная горестъ овладела ею при этом известии; она ощущала не страстную ревность, доступную лишь менее возвышенному сердцу, но несказанную жалостъ.

Она оплакивала Октавию, в которой снова разгорелась искра потухшей надежды и которая вернулась во дворец с робкой мыслью о возможности перемены к лучшему.

Она оплакивала императора, который все-таки должен был чувствовать себя невыразимо несчастным, если он искал у Пoppеи Сабины утешения в вечной утрате. Она уже раньше слышала от Артемидора о «первой красавице семихолмного города», о ее пустом тщеславии и коварном эгоизме. Она знала, что этой Пoppее никогда не наполнить жаждавшего счастья сердца императора. Она могла опьянить его чувства, временно заглушить его горестъ о прошедшем; но полное исцеление — если вообще возможно исцеление от мук любви — ему могла бы дать одна только Октавия. Это прелестное, девственно чистое и в то же время полное страсти существо, эта императрица в терновом венце одна была способна пролить бальзам на его кровавые раны и внести свет в его омраченную душу. Ей нужно было только раз доказать ему, что она действительно любит его, что любовь ее сильнее ее гордости и жестоко оскорбленного достоинства.

Но возможно ли это? Или злокозненный рок одарил ее непоколебимой сдержанностью? В таком случае, горе ей и горе императору!

Вскоре по возвращении из Антиума глаза супруги цезаря открылись благодаря Агриппине, сообщившей ей об этом обстоятельстве не в виде торжественного и важного открытия, но лишь вскользь упомянувшей об этом в разговоре. Императрица-мать полагала, что Октавии уже известны эпизоды из жизни в Байе.

Выражение дикого отчаяния на бескровном лице Октавии было ужасно.

Даже закаленная от всяких нежных волнений Агриппина совершенно растерялась.

Подхватив на руки падающую молодую женщину, она отнесла ее в спальню, задняя стена которой скрывала в себе смертоносный арсенал, и осторожно уложила ее на диван.

Достав из ящика, соседнего с тайным хранилищем ядов Локусты, живительную воду, пахнущую розами и лимоном, она, как мать над больным ребенком, хлопотала над бесчувственной Октавией, не призывая на помощь никого и даже не думая о том, что кто-нибудь может сделать нечто лучшее и более действенное, нежели она.

Наконец Октавия открыла глаза, но тотчас же начала бредить и выражать свою безмерную горесть раздирающими душу жалобными воплями.

— Бедная Октавия! — несколько раз повторила Агриппина. Она поцеловала ее в лоб и, на несколько мгновений, глубокое, тайное сочувствие, повсюду привлекающее женщину к ее страдающей сестре, превозмогло холодный эгоизм ее натуры. Из глаз гордой властительницы, презиравшей весь род людской и в течение многих лет знавшей лишь слезы оскорбленного тщеславия или гнева, теперь, на изголовье жестоко униженной страдальцы, упала слеза сострадания.

— Актэ! Поппея! Хлорис! — стонала Октавия, ломая руки. — Или вы все сговорились? Вы хотите отнять его у меня! А я так безгранично любила его! Вы делаете его несчастным! Да, я вижу, я вижу это! Чего нужно этим страшным всадникам, которые его преследуют? Его кровь! Вечные боги, его кровь! Помогите! Помогите! Спасите его! Актэ! Дорогая Актэ! Если ты истинно любила его, бросься же на их ужасные копья! Ведь они пронзят его! Они раздавят его! Стойте! Во имя всемогущего Юпитера, стойте! Вот моя грудь! Убейте меня! О, ведь я не могу жить, если вы отнимете у меня его! — Судорожно схватившись за тунику при этой страшной картине бреда, она обнажила свою белоснежную грудь. — Сюда! Бейте здесь! Сюда! — кричала она, хватаясь левой рукой за сердце, точно желая сбросить давившую его мучительную тяжесть.

Агриппина поспешно вышла в переднюю комнату.

— Скорей! — приказала она первой встречной рабыне. — Беги к Абиссу, врачу светлейшей Октавии, и попроси его тотчас же сюда.

Абисс немедленно явился и с глубокой горестью на умном, мужественно-прекрасном лице приблизился к ложу.

Он пощупал у больной пульс, осторожно приподнял полузакрытые веки и внимательно осмотрел зрачки.

Слегка кивнув головой, он приложил ухо к груди пациентки, чтобы прослушать сердце.

Все время Октавия не переставала стонать и бредить. Теперь новые видения окружили ее.

— Да, ты несчастен! — говорила она, пряча лицо в подушки. — Этот жалкий Фаон! Разве за это подарил ты ему прекрасную виллу? Фаон должен был бы защищать ее, а он допустил это похищение! Презренный! Разбить так твое сердце! Не плачь, Нерон! Я не могу видеть твоих слез! Я помогу тебе отыскать ее. Непременно! И я ее найду! Нет, нет! Прочь кинжал! Ты не смеешь убивать себя! Ты должен жить, жить с ней, с незабвенной Актэ! Поверь мне, она безгранично любит тебя! И я знаю, где она... Ее белокурые волосы, так сладко опутавшие тебя, блещут среди мирт! Это вилла Фаона? О, ужасный клинок! Фаон! Актэ! Удержите же его! Помогите! Нерон! Вон... Он занес руку... Нерон! Нерон! Уже поздно!..

Голос ее звучал дико, как у безумной. Потом она тихо плакала несколько минут и вдруг вскочила.

— Пустите меня! — отчаянно воскликнула она. — Я хочу к нему! Клянусь вам: он убьет себя! Он ведь обещал это перед сенатом! Его собственная мать велела ему сделать это! Агриппина! Позовите ко мне Агриппину! Или вы не слышите? Или все покинули меня?

— Я здесь, — склоняясь к ней, произнесла Агриппина.

Обхватив ее за шею правой рукой, Октавия повторяла с горячей мольбой:

— Сделай мне милость! Позови ко мне Агриппину! Ведь она, как известно всему свету, имеет большое влияние на Нерона! Гораздо большее, нежели я! Но это так и подобает! Видишь ли, я слишком ничтожна для Нерона! Он не может любить такое незначительное создание, даже если бы хотел. Скажи это Агриппине! Если он сошелся с Актэ, я одна виновна в том! И Поппея в тысячу раз лучше меня! Не преследуйте ее за это, умоляю вас! Пусть Агриппина простит ее! Мать Юнона, я самая отверженная из женщин! О, Нерон не может простить меня! Никогда, никогда! Никакое божество не простит бедную Октавию, даже Иисус Галилеянин, снизошедший к Актэ и сделавший ее блаженной! Блаженной, блаженной! Она была блаженна! Меня же распните на кресте, виселице позора! Прочь! Вы сверлите мне руки! Погодите, погодите! Я еще живу! О, повремените один только день! Я уже вижу приближение смерти, неумолимой смерти! Нет... скатилась последняя песчинка в ее часах! Я умерла! Умерла! И Нерон не видел своей бедной Октавии!

Рука ее бессильно упала с шеи императрицы-матери, и она опрокинулась на подушки.

Абисс, по щекам которого катились слезы, поспешно вышел.

Десять минут спустя он вернулся с молочно-белой жидкостью в металлической чаше.

— Повелительница, — прошептал он, с мольбой глядя в безумные глаза Октавии, — выпей это, тогда ты успокоишься.

Она прислушалась к его мягкому голосу.

— Кто говорил со мной? — улыбаясь, спросила она. — Говорил так кротко, так невыразимо ласково? Это Нерон, мой дорогой супруг. Подойди же!.. Ближе!.. Но я не вижу тебя. Неужели я слепа? Мои глаза задернуты дымкой.

Приподняв ее правой рукой, левой Абисс поднес напиток к губам Октавии.

Проглотив несколько капель, она быстро откинулась назад и пронзительно закричала.

— Яд! Яд! Вы хотите отравить меня.

— Успокойся, повелительница. Это я, Абисс, твой преданнейший слуга, готовый оберегать тебя как зеницу ока.

Прищуриваясь, она посмотрела на него.

— Да, я узнаю тебя! Благодарение бессмертным, что ты здесь! Приди, возлюбленный, поцелуй меня! Зачем ты отворачиваешься? Или ты все еще думаешь об Актэ? Нет, ты опять прижмешь меня к сердцу, как тогда! Помнишь, тогда? О, на моем лбу надет расплавленный золотой обруч! Как он стучит и горит! Дайте же мне снегу... Я умираю!

— Выпей! — повторил потрясенный Абисс.

Она повиновалась без сопротивления.

Между тем в комнату проскользнула поверенная Агриппины, зеленоокая Ацеррония, в сопровождении своей рабыни Олбии.

Пользуясь своим правом врача, Абисс сделал ей вежливый, но энергичный знак удалиться.

— Полнейшее спокойствие, — шепотом прибавил он, — есть единственное средство для постепенного прекращения этого страшного припадка.

Рыжая кордубанка повиновалась лишь очень неохотно, и из-под желтоватых ресниц ее сверкнул луч ненависти и ожесточения.

Абисс уже во второй раз ставил свои врачебные обязанности выше вежливости и придворного этикета. Прошлую зиму, когда императрица-мать внезапно захворала сильной головной болью, а ее собственный лекарь был нездоров, этот дерзкий Абисс осмелился также указать ей на дверь! Просто невероятно! Раб дерзал приказывать ей, дочери римского полноправного гражданина и всадника! Нахал! Самонадеянный, бесстыдный безумец! Конечно, быть может, ему удобнее без свидетелей прижимать чернокудрую голову к белоснежной груди своей пациентки и поддерживать ее, словно нежный жених!

Таковыми речами выражала она свою досаду, между тем как Олбия, по обыкновению, поддакивала ей.

Ацеррония вообще находилась в крайнем раздражении. Брак ее с Фараксом оказался очень неудачным. Почти тотчас же после свадьбы они стали жить отдельно: она в Палатинуме, он — в главной казарме преторианцев. Агриппина предоставила ему выйти из легиона и оставаться во дворце в качестве исполнителя ее поручений. Но короткая попытка сожительства с Ацерронией окончилась плачевно, так как Фаракс, некогда смело противившийся лозе центурионов, окончательно пасовал перед когтями своей длинногривой пантеры. Он также убедился, что прошлое Ацерронии было не так безупречно, как можно было бы заключить из пощечины, данной ею Тигеллину.

Не обращая ни малейшего внимания на яростный взгляд Ацерронии, Абисс обратился к Агриппине и, показывая ей остаток уже наполовину свернувшейся жидкости в чаше, тихо прошептал:

— Это усыпляющий напиток, состоящий преимущественно из мака. Если он подействует, то улучшение наступит завтра же. Прикажи только, чтобы никто не тревожил нашу больную.

— Благодарю тебя, — сказала императрица-мать, протягивая ему руку для поцелуя. — Никто не войдет сюда, кроме меня и отпущенницы Рабонии.

Абисс удалился.

Почти еще час Октавия продолжала метаться, вскакивать, бредить и кричать. Понемногу, однако, она стала спокойнее. Наконец ее объял тяжелый сон, продолжавшийся от первого часа ночи до следующего полудня. Когда она открыла глаза, сознание вернулось к ней. Она совершенно позабыла только то, что происходило после ее разговора с императрицей-матерью. Она также чувствовала невероятную слабость.

— Мы победили, — сказал Агриппине Абисс. — Теперь нужны заботливый уход, надлежащее питание и полнейшее умолчание об известных предметах. Ты понимаешь меня, повелительница!

В продолжение восьми дней Октавия не вставала с постели.

Прошло еще восемь дней, пока она окрепла настолько, что могла полчаса погулять в дворцовом саду.

Как раз в это время состоялось возвращение императора и переселение во дворец Пoppеи Сабины.

Нерон представил Пoppею, как приятельницу, отданную под его покровительство превосходным Ото. Его не извещали о болезни Октавии. Явившийся с подобной вестью мог в тот же миг подвергнуться всей мощи смертельного гнева Пoppеи, и сообщение, во всяком случае, осталось бы бесплодным, так как Пoppея до того всецело овладела пламенным императором, что ее могло вытеснить только одно событие: появление Актэ.

Агриппина пыталась направить цезаря на путь благоразумия. Она заклинала его отослать жену Ото в Лузитанию или на ее собственную родину, только не наносить молодой императрице оскорбления, невыносимого даже для последней римлянки: не поселять любовницу под одной кровлей с супругой.

Нерон оспаривал свою связь с Пoppеей Сабинной и тем крепче держался за свою безумную фантазию,

что не доверял матери и подозревал новые властолюбивые замыслы в том, что в действительности было лишь благоразумным предостережением мудрой женщины.

Октавия притворилась, что вполне верит ложным объяснениям цезаря. Она поступала как Ото, хотя и по иным побуждениям. Она была слишком бессильна, слишком надломлена, чтобы решиться на борьбу с презренной соперницей. Вообще борьба в этой области была бесполезной глупостью, это она сознавала яснее, чем когда-либо. Не глубина или искренность любви и не благородные поступки могли восторжествовать здесь: победа зависела исключительно от милости богов. Сначала она колебалась, не уступить ли просто свое место сопернице и навсегда удалиться в антиумскую виллу, но потом она откинула эту мысль.

«Долг предписывает мне терпеть, — думала она. — Если всемогущий Юпитер захочет, завтра же он наполнит сердце моего супруга любовью к отверженной, которая кажется ему теперь лишь тяжелым бременем. Тогда он найдет меня готовой принять его».

Обращение Октавии с императором было полно кротости и доброты. Она даже заставляла себя быть вежливой с Поппеей Сабинной, хотя сохраняя при этом большую церемонность и делая вид, что не замечает торжествующей усмешки, мелькавшей иногда на губах дерзкой женщины.

Эта тихая покорность судьбе имела на нее благотворное влияние. Она поправилась, несмотря на непосредственную близость той, которая оскверняла ее семейный очаг.

К ней вернулись сознание силы и нравственная свежесть, покинувшие ее со времени замужества. С трепетом тайной радости замечала она, что становится полнее, цветущее, оживленнее, чем когда-либо прежде. В ней зашевелилась надежда, настоящая, истинная надежда, а не пустая мечтательность, ожидающая чуда от богов...

Открытие это испугало Октавию. Всеми силами своей воли старалась она подавить то, что с такой коварной заманчивостью расцветало в ней. Разве ей мало прежних горьких разочарований? Она не хотела надеяться, она хотела только ждать, как посторонняя зрительница. Так провела она зиму.

Нерон кутил и веселился с Поппеей Сабинной, видясь с Октавией только когда этого требовала крайняя необходимость.

Молодая императрица лишь в редких случаях показывалась публично. Дворцовые сады, беседы с многоопытной Рабонией и тихие часы в обществе Абисса, посвященные чтению свитков о странствованиях и приключениях Лаэртида Одиссея, были единственными развлечениями в ее одинокой жизни. Она прервала даже сношения с антиумской виллой, так как письма честного управляющего нарушали ее покой.

Старик слишком горячо превозносил качества Актэ и ее кроткий, приветливый характер, согревавший его сердце и заставлявший его внучат забывать об утрате материнской любви.

Как ни мало была способна Октавия к низкой зависти, все-таки в ней каждый раз шевелилась мысль: «Эта Актэ, однако, была предназначена богами для того, чтобы составить истинное счастье моего единственного и несравненного супруга». А таких мыслей следовало пока избегать.

В начале апреля, по совету Абисса, Октавия снова переселилась в Антиум. Свидание с Актэ, благодаря деликатности молодой девушки, прошло без особенного волнения. Спустя короткое время общество Актэ-Исмены сделалось для Октавии так же необходимо, как воздух и солнце.

Глава XIII

На северном склоне горы Целии, недалеко от Via Sacra, находился дом Менения-младшего, искусного правоведа, недавно привлечшего на себя всеобщее внимание своим участием в тяжбе одной из провинций против вымогательств и притеснений ее наместника. Было начало мая, до полуночи оставался еще час.

Люций Менений, окруженный несколькими рабами, вполголоса отдавал приказания.

Он ожидал для серьезного обсуждения весьма важного спорного дела нескольких лиц, которые могли прибыть только очень поздно. Разговор будет весьма деликатный, и всякое нарушение его строго воспрещалось.

— Оберегайте нас хорошенько! — дружески продолжал он. — В особенности же не допускайте подслушивать таких любопытных, как Лэда и Хлоя, или велемудрый Филемон. Они способны вскочить с постели вначале второй стражи, только чтобы уловить слово, которое их не касается. Как стряпчий, я должен держать в тайне то, что мне доверяют друзья, не заботясь о том, что Хлоя с досады вырвет себе волосы. Вы понимаете меня?

Рабы, все испытанной преданности, утвердительно кивнули.

— Двое из вас, — после некоторой паузы продолжал Менений, — могут оставаться в атриуме, близ входа. Наш честный остиарий кажется мне немного рассеянным в последние недели. Недавно, когда я подошел к его оконцу, он вздрогнул, словно купающаяся Диана.

— Он влюблен, господин, — сказал один из рабов.

— Ромей влюблен? Вот превосходно! Вы расскажете мне об этом при случае. Теперь же, до свиданья!

Рабы удалились. Люций Менений вышел в облитую лунным светом колоннаду и тихо уселся на скамью. Четверть часа спустя в постикуме раздался шум.

Медленно приближалась высокая фигура в закинутой на плечо пенуле, с капюшоном на голове и с лицом, до самых глаз покрытым полотном.

— Эос и Титон! — произнес посетитель.

— Иди! Ты первый! — отвечал Люций Менений, и без этого пароля узнавший по голосу своего старшего брата Дидия.

Он быстро ввел его в ярко освещенную приемную и предложил ему сесть.

Затем он поспешно вернулся в постикум, куда почти в то же мгновение вошли еще два, точно так же закутанных человека.

Под плащами у них были надеты панцири преторианских военных трибунов. В комнате они сбросили свои верхние одежды. Один из них был очень строен, с умным, аристократическим лицом, блестящими глазами и симпатичным ртом.

Этот еще молодой, но уже совершенно созревший человек был Юлий Виндекс, отпрыск одного из знаменитейших аристократических родов Аквитании.

Спутник его, такой же рослый, но гораздо мускулистее и плотнее, оказался достойным сожаления Фараксом, морально и физически обездоленным супругом Ацерронии.

Прошло еще пять минут, и общество Люция Менения собралось в полном составе.

Люди, пришедшие сюда для тайного совещания, по происхождению, положению и характеру представляли резкую разницу между собой. Дидий Менений, девять десятых года проводивший в своих этрурских поместьях, был совершенной противоположностью бурно-красноречивому Люцию, не способному жить вне атмосферы римского форума. Мрачный Никодим, сидевший рядом со старым и все-таки юношески свежим сенатором Флавием Сцевином, казался от этого соседства еще тощее и угрюмее, между тем как поэт Лукан, олицетворение совершеннейшей утонченности, походил на благородного оленя в сравнении с буйволообразным, приземистым, ширококостным Марком Велином.

Одно лишь было общее у всех: грызущее, непобедимое ожесточение на постыдно-развратную жизнь некогда так многообещавшего императора.

Быть может, один только Фаракс питал личную ненависть к Нерону. Дело в том, что император с презрением оттолкнул его, когда отчаявшийся военный трибун на коленях умолял о расторжении его брака с Ацерронией. Грубая насмешка, брошенная ему цезарем в присутствии многочисленных придворных, неизгладимо уязвила душу первобытного сына природы. Агриппина также теперь едва примечала своего прежнего фаворита, а в последнее время даже вполне приняла сторону Ацерронии и обещала когтистой пантере свою деятельную помощь в случае его непокорности. Вследствие всего этого, несчастный выскочка кипел яростным негодованием и с дикой радостью присоединился к Юлию Виндексу, осторожно посвятившему его в планы смелого заговора...

В строгом смысле заговор этот был лишь продолжением заговора, возникшего вначале против невыносимого честолюбия Агриппины. Но с течением времени обстоятельства приняли такой оборот, что император, в чью пользу должна была быть свержена Агриппина, сделался сам главным предметом тайных враждебных замыслов. Только Бареа Сораний и Тразеа Пэт держались в стороне, не считая этот момент удобным для успешного возмущения.

Сенека же, так ревностно участвовавший в планах против императрицы-матери, на этот раз, по весьма понятным причинам, не был посвящен в тайну заговорщиков.

Положение его и без того было странное. Спокойно, почти мрачно, занимался он государственными делами. Нерон предоставил ему управление, но запретил философу вмешиваться в свою частную жизнь. Агриппина, по-видимому, отказалась от всякого влияния. В действительности же, она ожидала первую возможность ошеломить сына и снова овладеть кормилом правления. Фактически царствовала Пoppея Сабина, ибо Сенека, которому она оказывала величайшее уважение, убедил самого себя, что ей следует угождать для того, чтобы впоследствии снова привлечь к себе, позабывшего по ее вине всякую философию императора. Лъстивость хитрой, расчетливой женщины ослепила его разум. Он считал ее возвышенной натурой, и так как пропасть между Нероном и Октавией все-таки казалась непроходимой, то его стоически строгая совесть успокоилась.

Люций Менений открыл совещание кратким, почтительным приветствием союзников, а затем сдержанным тоном продолжал:

— Ясно как день, что все мы обманулись в цезаре Клавдии Нероне. С квиритами случилось то же самое, что с курицей баснописца, высидевшей хищную птицу. Сначала она принимает ее за цыпленка, а потом с ужасом примечает, как у молодого коршуна вырастают когти.

— У молодого стервятника! — фыркнул Фаракс.

Люций Менений с улыбкой покачал головой.

— К сожалению, это не так! — с горечью сказал он. — Он терзает не мертвых, но живых. Мы сами — его жертвы. Он пьет кровь Рима, чтобы обновить свои силы, нужные ему для его фантастических полетов. Повторяю: мы жестоко обмануты. Сенека, знающий его с детства, должен был бы давно уже понять его. Тут

нужна была страшная, железная энергия. Остроумными философствованиями нельзя искоренить врожденную распущенность. Я почти готов признать его соучастником, виновным во всем несчастье, в особенности теперь, когда он молча смотрит на всевозрастающую власть бесстыдной Пoppеи. Конечно, эта злодейка и есть причина всяких низостей. Агриппина побеждала преступлениями, Пoppея царствует посредством ухищрений разврата. Мне даже кажется, что из них двух я предпочитаю императрицу-мать...

— О, о! — воскликнул Флавий Сцевин.

— Прости... но жертве Агриппины трудно быть беспристрастным, — сказал стряпчий. — Прежде, с Агриппиной у кормила правления, Нерон хоть соблюдал приличия. С тех пор как его опутала Пoppея, он безжалостно топчет ногами все священное. Расточительность его граничит с безумием. Он открыто насилует справедливость для пополнения своей вечно пустой казны. Он позорит себя, выступая то как актер, то как борец, то как возница в цирке...

— Не ставь ему в укор эти мелочи; к несчастью, за ним есть довольно крупных проступков! — прервал его Флавий Сцевин. — Если он играет комедии или борется, то это еще можно извинить. Нерон скорее грек, нежели римлянин. Он вырос на Софокле и песнях Гомера. Он живет мечтой, что все, совершившееся ахейцами перед Илионом, позволительно и в Риме. Если некогда Одиссей и Аякс боролись за серебряный треножник, то сын Агриппины полагает, что это прилично и ему. Все это еще сносно. Нужно принять во внимание его пламенное воображение и страсть ко всему блестящему и сказочному. Но другое, большее!.. Право, Менений, в этом отношении, при всем твоём красноречии, ты не найдешь удовлетворяющих меня выражений! Ты упомянул о вопиющих нарушениях прав, о позорных государственных процессах, превращающих каждого гражданина в игрушку коварных доносчиков. Я дрожу от негодования при одном напоминании об этом. Но что еще сильнее возмущает меня — это низкое поведение цезаря относительно Октавии. Эта мысль заставляет меня мучительно краснеть, пальцы мои судорожно сжимаются, словно стремясь схватить кинжал мести. И все-таки... какое невыразимое мученье! Друзья, вы не подозреваете, как я любил этого мальчика. Я отдал бы жизнь за него. Он был для меня все равно, что родной сын. И он платил мне глубокой, сильной, трогательной привязанностью... Тем пламеннее ненавижу я его теперь. Нет, я обманываю себя. Флавий Сцевин не может так скоро вырвать укоренившееся в его сердце чувство. Я еще не научился ненавидеть его, несмотря на все мои усилия. Тем справедливее, тем беспристрастнее буду я. Я осуждаю его, как некогда Брут осудил собственных сыновей, и мой приговор гласит: повинен смерти!

— Не смерти! — возразил Никодим. — Я также непоколебимо убежден, что государство не узнает благоденствия, пока мы не свергнем с престола лицемерного тирана. Но убить его, значит присвоить себе право, принадлежащее только одному вечному Божеству.

— Меня удивляет твоя платоническая умеренность, — сказал поэт Лукан. — Ты в особенности имеешь причины ненавидеть его, так как из всех римских граждан он не одурачил никого хуже, чем тебя. Я знаю все от Сенеки. Вы задумали нечто удивительное. Не стану обсуждать достоинства или недостатки вашей идеи. Одно лишь, что я заметил, должно показаться и тебе оскорблением: это именно то обстоятельство, что в то время, когда никто не заботился о религии назарян, Нерон издал совершенно излишние эдикты о веротерпимости, между тем как теперь, вопреки этим эдиктам, он дозволяет преследование ничтожных рабов, слишком открыто прославляющих своего распятого Бога...

Никодим побледнел.

— Я говорю здесь не как заступник назарянства, — холодно возразил он. — И также я не знаю, насколько дядя твой Сенека счел нужным просветить тебя, так как здесь дело идет о...

— Клянусь Геркулесом, ты можешь быть совершенно спокоен! Мы ведь среди друзей! Итак: ты хочешь пощады цезарю?

— Мне противно кровопролитие, — отвечал Никодим. — Умерщвляя преступника, мы становимся сами так же преступны, как он.

— Ты слишком труслив, — проворчал Фаракс. — Разве Нерон думал о чем-нибудь, когда молодой Британник начал стеснять его?

Флавий Сцевин нахмурился.

— Не говори вздора! — остановил он его. — Британник пал жертвой Агриппины.

— Но кому же это принесло выгоду? — спросил племянник Сенеки. — Останься Британник в живых, то для Нерона не было бы места в Палатинуме. Сын Агриппины жил бы тогда в Афинах и играл бы главную роль в своей трагедии «Иокаста».

Все засмеялись.

— Я говорю совершенно серьезно, — сказал Лукан. — Наш превосходный Флавий уже заметил, как сильно привлекает цезаря все необычайное и фантастическое. Недавно он еще затеял забавляться ночными драками.

— Это я могу подтвердить по собственному опыту, — вскричал Велин. — В сопровождении нескольких товарищей он напал на меня третьего дня, когда я возвращался от Дидия в начале второй стражи. Я узнал его, несмотря на капюшон, так же как этого паршивого пса, Тигеллина. Их было пятеро, нас — трое, но мы таки задали им! Тогда светлейший свистнул, и внезапно мы услышали бряцанье оружия. Из Курианской улицы вышли преторианцы. Я дал Тигеллину еще здорового пинка, и мы бросились бегом за угол.

— Радуйся, что тебя никто не знает, — сказал Менений-младший. — Если бы агригентец узнал, кто его так угостил, он тотчас же обвинил бы тебя в оскорблении величества. Но время идет: мы должны приступить к делу. Юлий Виндекс, сообщи нам, что слышал ты нового?

Юлий Виндекс встал и, положив левую руку на позолоченную рукоятку меча, сказал:

— Несколько дней тому назад я был в Лупе, на речке Макра. Там, как давно уж условился, я встретился с Гизо, сыном Лоллария. Он прибыл под видом подрядчика построек, так как неподалеку от городка разрабатываются огромные залежи мрамора. Мы быстро поняли друг друга. Сальвий Ото не мог послать нам лучшего посредника, чем этот белокурый хатт. Сообщения Ото приятнее вестей из лагеря преторианцев. Он уже завербовал множество военных трибунов и центурионов. По мнению Гизо, в Лузитании восстание готово вспыхнуть хоть сегодня.

— Одна Лузитания есть только пьедестал без статуи, — заметил Сцевин.

— Я также думаю, — подтвердил Виндекс. — Итак, чтобы не отклоняться от главного, продолжаю: Ото решительно противится намерению войск провозгласить его императором. Он опасается, что восстание, порожденное лишь чувством строгой справедливости, тогда покажется проистекающим из презренного честолюбия. Я с ним совершенно согласен. Если мы не хотим, чтобы чистота наших побуждений была позорно перетолкована, то никто из нас не должен стремиться к власти.

— Никто! — раздался единогласный ответ. Один Фаракс молчал. Он был занят собственными мыслями. Ведь никакой прорицатель не предсказывал ему, что могущественная Агриппина будет называть его «милым мальчиком» и «дорогим любимцем». Кто осмелится указать предел полету счастливого орла? Фаракс Цезарь — это звучало вовсе не невероятно, а когда он достигнет этой цели, когда будет ежедневно раздавать тысячи преторианцам и будет в состоянии позолотить все ослиные копыта в Италии, тогда он накажет краснокудрую пантеру и поставит ее в такое же жалкое положение, в какое ставит Нерон свою супругу Октавию. Очаровательная Хаздра, отвергнутая им с такой излишней поспешностью, тогда,

наверное, не откажется играть у властителя мира Фаракса роль прекрасной Поппеи Сабины...

Глаза его засверкали при этих мечтах, и по лицу его почти можно было угадать волновавшие его радужные надежды.

— Товарищи, — продолжал Виндекс, — так я передам Гизо, что вы разделяете мнение Ото. Этого будет достаточно для того, чтобы сломить упорство офицеров. В Риме есть уже личность, пригодная служить украшением престола Августа: это Эней Кальпурний Пизо...

— Или Гальба, — сказал Лукан.

— Как вы решите! Оба они люди чести и смертельные враги этого невероятно позорного правления. Также, я ни на мгновение не сомневаюсь в согласии Пизо, в случае если мы скажем ему: путь открыт. Для этого нам необходима по крайней мере одна когорта дворцовой стражи...

Слова внезапно замерли на его губах. Заговорщики вскочили, точно от удара землетрясения и, с побледневшими как полотно лицами, начали прислушиваться по направлению атриума.

Глава XIV

Гости Люция Менения были неожиданно испуганы продолжительным, странным шумом, начавшимся сильной перебранкой, со зловещей отчетливостью раздавшейся среди ночной тишины.

Привратник Ромей, незадолго до этого завязавший нежные сношения с хорошенькой рабыней соседнего дома, вопреки господской воле отворил дверь на робкий стук своей возлюбленной, несмотря на строгое приказание соблюдать крайнюю осторожность именно в эту ночь.

Проскользнувшая в его каморку девушка, думавшая, по-видимому, только о любви, была подкуплена шпионами императрицы-матери.

Прежде чем остиарий постиг измену очаровательной змеи, Паллас с пятнадцатью солдатами уже ворвался в атриум.

Тщетно сопротивлялся им Ромей, поддерживаемый несколькими рабами.

Громовым голосом провозгласил он недавно еще возобновленный закон, строго воспрещавший тревожить ночью римского гражданина в его жилище, даже если он был под подозрением тяжкого преступления.

Напрасно.

— Отойди, — сказал Паллас, — или я проткну тебя копьем.

— Вперед! — закричали преторианцы.

В это время послышался хриплый лай, за которым последовал яростный визг, а потом страшный вой.

Огромная собака, лежавшая у третьей колонны слева, сорвалась с цепи и вцепилась зубами в горло одного из преторианцев. Удар мечом распростер расвирепешее животное на каменном полу. К стонам издыхающей собаки присоединились звон щитов, крики рабов, растерянные уверения, что Менения нет дома, грубые приказания предводителя.

Между тем заговорщики уже успели опомниться.

— Измена! — закричал Люций Менений после первой минуты оцепенения. — Таково решение судьбы! Спасайся, кто может! Я брошусь навстречу негодьям, чтобы задержать их!

Заговорщики колебались, но он снова повелительно крикнул:

— Бегите, ради нашего дела! Вы — Рим; если вы падете теперь, с вами умрет навеки свобода отечества. Для меня же нет спасения. Тиран накрыл нас в моем жилище; я обречен на смерть; он отыщет меня, даже если я найду убежище у сарматов.

— Я буду биться рядом с тобой, — сказал Менений-старший, — и на меня также падет подозрение, так как я твой брат.

— Бегите, бегите! — побуждал товарищей Юлий Виндекс. — Если вы хотите освободить народ, то должны научиться обуздывать вашу гордость и сердечные побуждения. Участь этих двух великих братьев завидна. Дорогой Люций и ты, благородный Дидий, мы будем помнить вас до последнего издыхания. Будь мне свидетелем всемогущий Юпитер: на их месте я сделал бы то же самое!

С обнаженными мечами поспешили заговорщики в постикум, между тем как Паллас с своими солдатами входил из атриума в перистиль.

— Проклятие! — прошептал Флавий Сцевин. — Бежать, вместо того, чтобы броситься на эту свору,

подобно гетулийскому льву! О, вот это кстати!

Последнее изумленное восклицание относилось к неожиданному столкновению с несколькими преторианцами, поставленными Палласом у задней стены дома, рядом с постикумом.

— Назад! — заревел ближайший солдат, направляя меч навстречу заговорщикам.

Страшный удар, нанесенный престарелым Флавием Сцевином был ответом на это «назад!». Шлем солдата разлетелся надвое, подобно гнилому ореху. Клинок вонзился на два дюйма в его череп, и он упал, не издав ни одного звука.

Второй преторианец также пал жертвой чудовищной силы ожесточенного Флавия. Остальные были убиты Фараксом, Юлием Виндексом и Луканом, между тем как приземистый, довольно медлительный Велин, несмотря на свое мужество, не подоспел к развязке.

Схватка продолжалась не более двух минут. Заговорщики скрылись. Ни один из них не был ранен, кроме полного блестящих надежд Фаракса, голова которого была почти отсечена от шеи вражеским мечом. Когда Юлий Виндекс нагнулся над ним, жизнь уже отлетела. Жалкий конец для господствовавшего в мыслях над миром Фаракса-цезаря! Невзирая на священные правила товарищества, труп его пришлось оставить среди трупов преторианцев, чтобы не подвергать риску судьбу всего заговора.

Между тем Люций и Дидий Менений стали у выхода в коридор, ведущий из атриума в перистиль.

— Если есть будущая жизнь, то сохрани для меня и там твою любовь! — прошептал Люций, протягивая брату руку.

— А ты сохрани для меня твою! Вот они! Меня не страшит безмолвная урна смерти. В империи Нерона жизнь не стоит ни одной слезы.

Отважные братья не отступили и не поколебались. До самых глаз закрылись они крепкими щитами, только что висевшими на стенах, как простое украшение. Не напрасно бились они оба в походе против парфян: их могучие и ловкие удары сеяли смерть.

Наконец нападающие начали одолевать. Раздраженные своими потерями преторианцы кинулись на братьев с непреодолимой силой.

Оттеснив их на площадку в колоннаде, они окружили их и через секунду Дидий уже упал, пронзенный разом двумя клинками.

— Да процветает родина! Долой тирана! — были последние слова умирающего.

— Стойте! — вскричал Паллас, понявший, что смерть Люция уничтожит результаты его разоблачения. — Пощадите его! Люций Менений, сдайся!

— Никогда!

— Тысячу динариев тому, кто его обезоружит! — еще громче воскликнул испуганный Паллас.

Наступила пауза. Тяжело дыша, стоял Люций Менений в трех шагах от нападающих, крепко оперши щит о мраморные плиты пола, с окровавленным мечом в правой руке, следя за каждым движением преторианцев и готовый убить первого, кто приблизится к нему. Вдруг, познав всю безвыходность своего положения, он отбросил щит и приставил к груди меч, намереваясь пронзить себя, как некогда Квинтилий Вар.

Но в то же мгновение один из преторианцев безумно смелым прыжком кинулся на него.

Люций Менений упал навзничь. Клинок, тяжело ранивший солдата, переломился надвое.

Спустя минуту, заговорщик был уже связан.

— Паллас! — вскричал он. — Будь благоразумен и умертви меня!

— Как бы не так! Сначала попробуй пытки, а потом подожди немного. Быть может, Агриппина окажет тебе милость и позволит самому избрать себе род смерти.

— То, что вы можете знать, я и сейчас могу сказать вам. Но больше этого из меня не вырвет даже самая ужасная пытка.

— Хорошо, так говори же! — усмехнулся Паллас, обрадованный надеждой передать точные сведения своей повелительнице.

— Я буду говорить, если ты обещаешь оказать мне одолжение. Оно очень просто и маловажно. Обещаешь?

— Послушаем, что это такое?

— Прикажи развязать мне руки! Цепи причиняют мне невыносимую боль. Ты видишь, ведь я обезоружен. С этой веревкой, опутывающей мои колени, я не могу убежать от вас.

Паллас согласился после того, как преторианцы тщательно обыскали, не спрятан ли у него под одеждой кинжал.

— Слушай же, — сказал Люций Менений, — и передай это слово в слово твоей всемогущей повелительнице! Я признаю себя виновным в том, что принадлежу к числу вождей заговора, проникшего уже до крайних пределов Италии и преследующего славную цель уничтожения развратного императора, его преступной матери и бесстыдно-честолюбивой Поппеи Сабины.

— Доказательства этого в наших руках!

— У вас их нет, высокомерный Паллас. Вы не знаете ни одного из заговорщиков, иначе вы уже преспокойно схватили бы их. Мое признание должно наполнить сердца царственных преступников ледящим страхом: ибо они любят эту преходящую жизнь, презираемую мной и моими товарищами. Также мне известно, что в государстве, принадлежащем кровопийце, одного подозрения уже достаточно для моего смертного приговора. Поэтому я ни от чего не отпираюсь. Несколько союзников были у меня, хорошо замаскированные, не узнанные ни одним из моих рабов. Ты хочешь знать их имена? Вот это было бы дело! Быть может, я удовлетворю твоему желанию, быть может, нет. Куда думаешь ты отвести меня?

— В государственную тюрьму, — отвечал Паллас, ошеломленный неожиданным тоном своего пленника.

— Хорошо. Так прикажи тюремщику, чтобы он приготовил мне приличное ложе и оставил бы мне мою тогу. Если ты придешь завтра и с подобающей вежливостью обратишься ко мне, я посмотрю, что тебе ответить.

Паллас с трудом сдерживал торжество. Ему хотелось громко выразить свой восторг. Этот Люций Менений был неоценимым сокровищем! Если безумно-отважный государственный преступник, по увещанию его, Палласа, откроет все тайные нити этого заговора, какая это будет великая заслуга со стороны поверенного императрицы! И как ловко устроили все это боги! Какая невероятная удача! Доселе никто не подозревает ровно ничего! Креатуры императрицы вызнали только то, что Люций Менений враг Палатинума и что сегодня ночью у него будет ночное собрание, вот и все. «Уранионы покровительствуют мне», — подумал Паллас, и обернувшись к Люцию, важно произнес:

— Да будет так! Я тебе это обещаю. Тебе приготовят такое ложе, к которому ты привык, и не отнимут твоей тоги.

Восемь преторианцев, которым Паллас предписал вполне почтительное обращение с пленником,

окужили его со всех сторон. Надсмотрщику мамертинской тюрьмы Паллас написал несколько слов на восковой дощечке.

Затем в сопровождении только троих солдат он на крыльях торжества поспешил в Палатинум. Агриппина выразила желание как можно скорее узнать о результате нападения. Нерон же вообще еще не знал о тайных попытках императрицы-матери к восстановлению своего влияния.

Оставив солдат на переднем дворе, Паллас с величайшей осторожностью направился в покои своей, уже нетерпеливо дожидавшейся, повелительницы.

Ему отворила рабыня в греческой одежде, тотчас же удалившись со странно-лукавой улыбкой.

Неожиданно и впервые в такой необычайный час Паллас очутился наедине с Агриппиной.

С потолка волшебной-роскошной комнаты спускалась знаменитая пурпуровая лампа в виде летящего феникса, превосходное произведение александрийского художника Антракса, разливавшая розоватый, очаровательный полусвет.

Агриппина сидела в кресле. Роскошная красота ее казалась еще соблазнительнее при этом сказочном освещении. Под ее прозрачной кожей, казалось, видно было, как переливалась кровь.

Паллас, опытный во всех тонкостях палатинских обычаев, почтительно преклонил колена, прижал руку к сердцу, как человек, с радостью готовый принести в жертву всю свою жизнь и сильно взволнованным голосом произнес:

— Повелительница, мы достигли цели!

Она приветливо улыбнулась.

— Я знала, что бесстрашный Паллас вернется только со щитом или на щите, — театрально произнесла она. — Но сообщи подробности!

Не поднимаясь с колен, Паллас рассказал о происшедшем.

— Завтра рано утром, — тоном повелителя вселенной произнес он, — пленник назовет мне всех руководителей. Затем один отважный удар — и многоголовая гидра уничтожена.

Агриппина протянула ему руку.

— Истинно велика твоя заслуга перед твоей признательной доброжелательницей! Поверь: в этот час вновь расцвело мое могущество! В лицо высокомерному Тигеллину, пустой Пoppей и, словом, всех опутавших императора, я брошу вопрос: что сделали вы для подавления этого заговора? И в ответ на их молчание, подобно громким трубным звукам, разнесется по всей империи весть о моих деяниях. Клавдий Нерон должен будет признаться перед целым светом: Агриппина спасла мне жизнь. Одна она способна охранять престол цезарей! А теперь, славный, счастливый победитель, приблизься. Я хочу обнять тебя.

Склонившись над белой рукой Агриппины, Паллас с легким трепетом припал к ней губами.

— Нет, не так, — нежно прошептала она, глядя на него блестящими глазами.

Паллас казался ей подобным Геро, возвращающимся в объятия своей возлюбленной после двадцати выигранных битв.

— Поцелуй меня! — говорила она. — Или ты боишься, неразумное, большое дитя!

... Почти в тот же момент Люций Менений ложился на приготовленное ему ложе в камерке государственной тюрьмы.

Шаги тюремщика затихли. Кругом царили мрак и мертвая тишина. Молодой человек закрыл глаза.

Перед ним возник приветливый образ женщины, уже не молодой и некрасивой, но несказанно кроткой и доброй — образ его матери, жившей в Региуме. Сердце его в последний раз сжалось мучительной болью.

Потом по красноречивым губам его скользнула улыбка. Глубоко переведя дух, он поднес к зубам левую руку и сразу прокусил вену.

Спустя три часа тюремщик явился будить его. Паллас уже стоял в приемной, горя нетерпением начать допрос.

На этот раз древний Рим Катона восторжествовал над современным распущенным Римом: поверенный Агриппины нашел залитый кровью труп.

Глава XV

На следующее утро, два часа спустя после восхода солнца, император находился в своей прохладной, освежаемой фонтаном спальне, где только что окончил завтрак в обществе агригентца, ставшего ему совершенно необходимым.

Тигеллин, имевший нескольких подкупленных им шпионов между рабами и рабынями Агриппины, с величайшей поспешностью доносивших ему обо всем и обо всех, давно уже знал о происшествии в доме Люция Менения. Его также уведомили с большими подробностями о нежном эпизоде между императрицей и предводителем экспедиции.

— Дорогой цезарь, — начал он, запив последнюю лукринскую устрицу сладким фалернским вином, — рассказывал я тебе, что Агриппина снова покушается на скипетр?

— Каким образом?

— Уже в течение нескольких дней она замышляет ловкую комедию... Она хочет убедить тебя, что одна она лишь обладает прозорливостью рожденной правительницы. Ты испугаешься, снова признаешь ее превосходство, словом, по-прежнему сделаешься ее игрушкой.

— Я не понимаю тебя.

— Дорогой цезарь, тебе известно прошлое Агриппины, но не ее настоящее. Поверь мне: супруга умерщвленного Клавдия не позабыла ничего... Я твой друг, цезарь... Я боюсь, ты взволнуешься, узнав нечто... Окажи мне милость! Если Агриппина войдет теперь — а она уже два раза справлялась, проснулся ли ты, — позволь мне вместо тебя отвечать на ее лицемерные речи! В то же время ты узнаешь, что все, что касается личности императора, известно Тигеллину по крайней мере так же хорошо, как императрице-матери, не переставшей восставать против тебя.

— Как хочешь. Я вполне доверяю тебе. Но во имя богов, прошу тебя, скажи мне...

Агригентец мигнул ему. Вошедший раб Кассий доложил о приходе Агриппины.

— Сын мой, — после короткого приветствия начала она, — тебе известно, что я никогда не желала хвалиться моими заслугами перед тобой или перед римлянами. Но все-таки можно сказать, что только благодаря заботливому надзору своей матери, император избежал теперь смерти от руки бессовестных убийц...

Нерон бросил на нее недоверчивый взгляд.

— Могущественная повелительница, — усмехнулся Тигеллин, — боюсь, что ты попусту тревожишь императора. Или, быть может, я сам заблуждаюсь, и дело идет не о пошлом заговоре Люция Менения?

Агриппина отступила.

— Откуда ты знаешь?..

— Нужно знать все, повелительница, что входит в круг долга. Мои солдаты, которые получили приказ арестовать сегодня на рассвете обоих Менениев, вернулись обратно с пустыми руками. Оказалось, что ночью там пролита была кровь по повелению императрицы Агриппины. Дидия убили, Люция схватили, и он наложил на себя руки в темнице. Вот какие приключения, повелительница! Очевидно, Паллас чрезмерно поспешил. Он слишком пламенно старается заслужить твою благосклонность. Во всяком случае, теперь по всему Риму прогремит скандал, между тем как можно было бы сделать то же самое законным порядком и без шума.

Императрица-мать побледнела. Уничтожающим взором посмотрела она на агригентца, уловку которого поняла, не будучи, однако, в состоянии опровергнуть его.

Овладев собой, она обратилась к Нерону:

— Дорогой сын мой, почему мне отвечает посторонний вместо тебя?

— Быть может, потому, что и ты действовала там, где должен был бы действовать я сам. Тигеллин заменяет меня.

— Весьма милостиво, хотя не совсем по моему вкусу. Когда мне нужен господин, я не обращаюсь к слугам.

В полном сознании своей безопасности, Тигеллин, улыбаясь, прислонился к мраморной колонне. Он не снял тогу, и в этой самодовольной позе походил на эллинского ратора, потешающего признательных слушателей блестящим изяществом своих антитез.

— Знай, — сказал Нерон Агриппине, — что Тигеллин — мой друг и советник, но никак не слуга.

— Клянусь Стиксом, он кажется мне чуть ли не твоим господином! Он присвоил себе полное влияние над тобой, и жалкие результаты твоих действий вполне соответствуют этому влиянию. Спроси Рим, чувствует ли он себя в последнее время более счастливым и более гордым? Я не стеснялась в выборе средств, открыто сознаюсь в этом. Я стремилась к железному царствованию, к торжеству абсолютной власти. Только такими средствами подавляются возмущения, оберегается порядок и поддерживается народное благоденствие. Теперь же, что за отвратительное торжество распущенности! Ваша тирания превратилась в такую же забаву, как скачки. Низкие выскочки-фавориты играют народным достоянием, как нищие заржавленными фишками. Люди, способные лишь на устройство роскошных празднеств, нахально выдают себя за государственных деятелей, почти выживают таких испытанных друзей императорского дома, как например Бурр, и льстят солдатам, как будто им уже завтра достанется звание главнокомандующего. Даже Сенека вынужден переносить это иго. При этом паразиты совсем не оберегают твою безопасность. Я должна бодрствовать над тобой. И когда я являюсь возвестить тебе, что ты спасен, меня встречает такой же... достойный Тигеллин и лепечет: «Успокойся! То, что ты сделала, было лишнее! Мы уже приняли меры...» Но я скажу тебе коротко и ясно: он лжет. И повторяю еще раз: он лжет.

В темных глазах Тигеллина сверкнула молния непримиримой вражды. Но это была лишь молния. Мгновение спустя истасканное, но все еще прекрасное лицо его снова приняло невозмутимое выражение царедворца.

— Повелительница, — с поразительным хладнокровием сказал он, — я сожалею о твоих словах. Тигеллин не смеет отвечать матери императора. Что я не заслуживаю упрека во лжи, Нерон это хорошо знает. Остальное меня не трогает. Он цезарь. Одна его воля может меня возвысить или низвергнуть. Теперь еще одно! Так как тебе были подробно известны планы мятежа, то, наверное, ты узнала, кто стоял во главе списка осужденных на гибель? Должен ли я прийти на помощь твоей памяти? Ты сама, императрица Агриппина, удостоилась этой чести, благодаря твоему бывшему фавориту, Фараксу. Вот видишь, теперь весь этот так называемый заговор приобретает совершенно иной вид. Тебе самой, божественная Агриппина, приходилось плохо, и только по этой причине мужественный Паллас разыграл роль судьбы. Будь возмущение направлено единственно против одного императора... с условием, что ты займешь его место на престоле... Паллас далеко не так усердно принялся бы за дело.

— Жалкий негодяй! — в бешеном негодовании вскричала Агриппина. — Нерон, сын мой, неужели ты веришь этому плуту? — обратилась она к Нерону. — Я... я... о, это ужасно! Разве я не взлелеяла в тебе, моем кумире, все самое дорогое для меня и возвышенное в жизни?

— Ты лелеяла и Британника, — простонал император, — и все-таки сделалась его убийцей.

— Кто говорил это? Укажи мне презренного, дерзающего на такую позорную ложь, и я прикажу умертвить его!

— Я желал бы избавить цезаря от неприятной обязанности называть источник его сведений, — тихо заметил Тигеллин. — Но если бы ему понадобилось лицо, готовое клятвенно подтвердить его слова, то он может указать на меня.

Агриппина остолбенела и, заломив руки, оглянулась кругом.

— Неужели в Палатинуме нет никого, кто заковал бы в цепи этого негодяя? — прерывающимся голосом вскричала она наконец.

— Никого, пока я под защитой Нерона.

Отчаянно скрестив на груди руки, Агриппина бросила на сына взгляд, полный глубокого презрения и невыразимой горечи.

— Так вот награда за мою безумную, беспредельную материнскую любовь! — дрожа, сказала она. — Безрассудный мальчик, предостерегаю тебя: будь осмотрителен! В конце концов, пожалуй, тебе еще придется испытать, на что способна Агриппина, прибегнувшая к силе!

Нерон подпер рукой омраченное печалью чело и, бледный, смотрел в пространство неподвижным взором духовидца.

— Если бы ты оставила мне одну ее! — беззвучно произнес он. — О, как было бы хорошо! Актэ, несравненная, умершая, неужели я обречен роком вечно, вечно оплакивать тебя?

— Как так! — усмехнулась Агриппина. — Кути до поздней ночи с развратниками и развратницами, а утром хнычь и жалуйся! Это по-кесарски! Это божественно!

Нерон не слышал ее замечания, но зато агригентец не проронил ни слова и с большой живостью возразил:

— Кого подразумеваешь ты под развратницами? Сияющую ли красотой юность, в опьянении жизненными наслаждениями сбивающуюся с пути добродетели, или перезрелых матрон твоего возраста, в запоздалой жажде любви бросающихся из одних объятий в другие?

Руки императрицы задрожали в бессильной, всепожирающей злобе. Из ее бурно вздымавшейся груди вырвалось хрипенье, подобное тому, какое предшествует реву дикого зверя.

Прошло довольно много времени прежде, чем она стала в состоянии сдвинуться с места.

— Будь здоров! — сказала она императору. — Обдумай то, что я сказала! Спасайся, пока еще не поздно!

Не обращая внимания на Тигеллина, она величественно вышла.

— Какое несчастье! — прошептал Нерон, когда занавес задернулась за ней. — Прежде я искренно любил ее. Лучшая из матерей, — был лозунг, данный мной преторианцам в день моего восшествия на престол. А теперь?

— Что делать! — вздохнул агригентец. — Но разве ты виноват в том, что она мало-помалу уничтожила твою сыновнюю любовь? Она не заслужила ничего другого, клянусь всем священным!

Нерон глубоко вздохнул.

— Пришли ко мне Кассия, — печально сказал он. — Пусть он оденет меня.

— Как повелишь. Я пойду к Сенеке и сообщу ему о случившемся. Нужно сегодня же произвести расследование и арестовать рабов и отпущенников Люция Менения.

— Пожалуй. Только прошу тебя, из-за этой жалкой истории не откладывайте моего переселения в Байю! О, эта освежающая, успокоительная Байя! Ее прелести вечно манят страдающее сердце. Там, на морском берегу живется легче, нежели среди стен семихолмного города. В Байе иногда можно забыть бедствие, которым наказали нас боги: мученье быть человеком.

Агригентец солгал, сославшись на беседу с Сенекой. В действительности же он направился в покои Поппеи Сабини, поселившейся, вопреки всяким приличиям, на половине императора. Быстро перешагнув он порог голубой комнаты, полной очаровательного аромата афинских фиалок.

Возлюбленная императора приняла его с дружеской короткостью. Они шепотом обменялись несколькими многозначительными словами. Потом Поппея кивнула своей отпущеннице Хаздре, в стороне преклонившей колена на мягкой подушке и молившейся со сверкающим взглядом. Поппея сказала что-то на ухо девушке. Хаздра опустила ресницы, кивнула, как будто дело шло о чем-то уже заранее условленном, и исчезла в соседней комнате.

Между тем император ожидал своего главного раба, сначала терпеливо, все еще думая о только что происшедшей сцене. Но внезапно он изумился дерзости, с какой осмеливались заставлять дожидаться его, повелителя вселенной, словно пирожника в лавочке брадобрея.

Ведь стоит ему сказать слово, и неосторожные рабы еще до заката солнца будут распяты на кресте! Ныне цветущие юноши превратятся в бесформенную массу; а куча растерзанных костей и мускулов останется от того, что пока еще полно жизненной силы! Он продолжал развивать эту мысль... Не только одни рабы были его игрушками: также все отпущенники, все граждане, все всадники и сенаторы, до самих консулов...

Какое странное чувство! Он провел рукой по глазам, как бы прогоняя внезапное головокружение.

В самом деле: собственно говоря, во всем неизмеримом Риме ни одна голова не сидела прочно на принадлежащих ей плечах. Она могла быть отделена от туловища, как только цезарю вздумается отрубить ее. Нужен был лишь пустяшный предлог, и императорский каприз становился законным деянием. Придворная же челядь, ползавшая у его ног, была так презренна, что присягнула бы за десять динариев, что Рим — деревня, а верховный судья — переодетая женщина... Ему одному принадлежит власть над всеми! Да, над всеми! Взгляд его мог превратить богатейшего сенатора в нищего, а добродетельную супругу — в порочную женщину.

Даже больше того! Если бы ему вздумалось, самый последний, самый грязный носильщик трупов завтра же мог стать пропретором, а разгульнейшая гадитанка получить равные права с благородными римлянками!

Цезарь! Имя это звучало так же величественно, как имя Юпитера!

Не величественнее ли?

Ведь Нерон в самом деле держал в руке громовые стрелы, между тем как Юпитер был только призрак. Нерон — цезарь во плоти — правил всемирной империей, Юпитер же существовал лишь в воображении черни.

— Да, это так! — мечтательно прошептал император. — Молитесь о дожде, жалкие, глупые поселяне, когда солнце превращает почву в пыль! Юпитер не услышит вас. Но цезарь, если захочет, может провести клавдиев водопровод до Соранты и оросит ваши нивы олимпийским нектаром. Плачьте о хлебе, когда запаздывают александрийские корабли с зерном, вы, простодушные плебеи! Юпитер допустит вас умереть

с голода, если цезарь не отворит вам свои неизмеримые житницы! Если бы вы, в вашем слабоумии, не уподоблялись животным, вы должны были бы понять, что мне одному приличны алтари, фимиам и пылающие жертвоприношения!

Он с утомленным видом бросился на ложе.

В это мгновение, с быстротой стрелы, в спальню ворвался маленький, проворный человек, с головой, обвязанной куском кожи вроде маски. Быстро махая кругообразно рукой, он направил в горло императора блестящий кинжал, несомненно оказавшийся бы смертоносным, если бы была достигнута его цель. Но чрезмерная поспешность повредила верности удара юного убийцы. Он промахнулся, и клинок вонзился глубоко в подушку ложа.

Нерон вскочил с гневным восклицанием:

— Так вот она — неприкосновенность его божественности?

Бешено бросившись на врага, он хотел схватить его за руку. Но убийца с проворством хорька выронил оружие и выскользнул в дверь.

Нерон побежал за ним и столкнулся с Тигеллином.

Вслед за ним явились прислуживавшие цезарю рабы.

— Негодяи! — обрушился на них Нерон. — Должен ли я приказать распилить вас живьем? Пока вы сидите, забившись по углам и пьянствуете или играете в кости, в покои вашего повелителя пробираются тайные убийцы!

Рабы затрепетали.

— Да сохранит тебя от этого Юпитер!

— Юпитер! Что может сделать Юпитер против предательского кинжала? Будь вы на своих местах, как вам повелевает ваш долг, то преступник совсем не смог бы покуситься на такое дело!

— Повелитель, — отвечал Кассий, — будь уверен в нашей готовности умереть за тебя! Но нас задержала императрица-мать. Она хотела дать нам какие-то поручения и, должно быть, позабыла потом, что мы ожидаем в колоннаде...

— Поручения... — прошептал Тигеллин, наклоняясь и поднимая с ковра трехгранный кинжал, брошенный убийцей. На лице его выразился сильный, почти театральный ужас. — Цезарь, мой обожаемый друг!.. — с неописанным смущением произнес он и вдруг обратился к рабам:

— Идите! — сказал он. — Возвестите римлянам, чтобы они принесли жертвы за спасение нашего славного императора! Идите, спешите! Я сам буду обслуживать цезарю.

Рабы удалились.

Тигеллин лицемерно упал на колени перед ложем Нерона и в притворном отчаянии спрятал свое лицо в складках пурпурового одеяла.

— Клавдий Нерон, — трагически произнес он наконец, торжественно поднимаясь, — этот смертельный удар нанесен тебе Агриппиной.

Юный цезарь дико зарычал.

— Софоний! — крикнул он, занося правую руку.

— Агриппиной, — повторил сицилианец.

— Докажи! — простонал император.

— Я могу это сделать, и твоя Пoppея подтвердит мои слова. Позвать ее?

— Делай, что знаешь! Но горе тебе, если ты обманываешь меня!

— Разве можно обманывать друзей? Я ручаюсь тебе головой, что Пoppея скажет тебе то же самое, что я. Я же говорю: этот сверкающий стилет взят из тайного смертоносного арсенала, скрываемого достойной Агриппиной в стене своей спальни. Там ты найдешь еще несколько подобных кинжалов, и если они не походят вот на это оружие, как две капли воды, то прикажи тащить меня к гэмонским ступеням!

Подойдя к двери, он послал одного из рабов, уже занявших свои обычные места, за коварной супругой Ото.

Маленькая финикианка Хаздра, по приказанию Пoppеи так искусно разыгравшая сцену покушения, не замеченная никем, уже успела вернуться к своей госпоже.

Выбежав от императора в первый коридор, она сорвала с себя кожаную маску и распустила свою высоко подвязанную одежду. Пoppея ожидала ее в лихорадочном нетерпении. Узнав, что все произошло именно так, как было условлено, она обняла девушку и осыпала поцелуями. Но Хаздра, по-видимому, не нуждалась ни в какой признательности. Глаза ее сверкали адской радостью. Потом она скользнула на свою обычную подушку и заплакала. Слезы ее лились о мертвом Фараксе.

Пришел посланный от Тигеллина. Пoppея не медлила. Что было ей за дело до остальных дворцовых обитателей, способных приметить, как она вошла в спальню Нерона? Именно теперь ей казалось даже нужным подчеркнуть настоящее положение вещей свободнее и смелее, чем в присутствии Октавии.

— Привет тебе, цезарь! — сказала она улыбаясь и как будто ни о чем не зная.

Она нежно обняла его.

— Повелительница, — сказал Тигеллин, — подари мне несколько минут внимания.

— Что такое? — с любопытством спросила она.

Агригентец рассказал сначала о происшествии в доме Люция Менения, потом о посещении Агриппины и, в заключение, об ужасном «святотатстве», совершенном против особы цезаря «неизвестным преступником».

Пoppея пришла в исступление.

— Нерон, мой возлюбленный Нерон! — восклицала она. — Ты живешь еще, или это только сон, что я держу в моих объятиях твою дорогую голову? Да, ты жив... О, я умираю при одной этой мысли... Тигеллин, я падаю... О, мой бедный, бедный, измученный мозг!

По ее щекам скатилось даже несколько слезинок, настоящих, крупных слезинок.

В это мгновение агригентец подал ей трехгранный кинжал и спокойно спросил:

— Смотри, повелительница, вот оружие, оставленное убийцей.

Пoppея пронзительно вскрикнула и, вовремя подхваченная Тигеллином, упала, прекрасно разыграв обморок, между тем как у императора в самом деле вся кровь прилила к сердцу. Он пошатнулся и обеими руками судорожно схватился за массивный бронзовый стол, так что зазвенели стоявшие на нем серебряные кубки и блюда.

Наконец он овладел собой.

— Пoppея, — беззвучно сказал он. — Не заставляй меня поверить такому ужасу... Это будет моей смертью, Пoppея!

— Не твоей, потому что ты невинен! Нерон! Если Тигеллин уже сказал тебе... он сказал правду. Кинжал этот...

— Кинжал этот... кинжал этот?.. — прошептал Нерон. — Подумай прежде! Ты ошибаешься, Пoppея! Ты должна ошибаться, или весь необъятный мир заслуживает одного лишь разрушения!

Пoppея Сабина покачала головой.

— Я не ошибаюсь. Виновницу этого страшного преступления зовут Агриппиной.

Она рассказала ему о странной случайности, открывшей ей тайну стенового ящика. Задвигавшая его дощечка тогда, вероятно, не полностью была закрыта, ибо впоследствии Пoppея снова попыталась открыть ящик, но безуспешно. Но ведь Нерон мог во всякое время приказать взломать стену.

Неподвижный, безмолвный, не сводя стеклянных глаз с ее разгоревшегося лица, слушал император ее рассказ.

— Что за коварство! — шептал он. — Значит, она сама раздает смертоносное оружие своим преступным слугам. Потеряется ли такой кинжал или сломается в груди своей жертвы, все равно по нему не узнаешь убийцу, которого можно было бы поймать, если бы он убивал своим собственным оружием. Искусно придумано!

Наступила пауза.

— Нерон, цезарь, — начал наконец агригентец, — сегодня решительный день: во-первых, по закону Агриппина заслужила смерть, во-вторых, ради твоей безопасности она должна быть удалена. Арестовать убийцу и в цепях повлечь ее пред сенат — вот, строго говоря, долг императора, чья высокая особа прежде всего принадлежит отечеству и народу. Но я знаю: на это ты никогда не согласишься, и твое сопротивление, говоря по совести, кажется мне понятным. Даже как преступница, она все-таки мать императора. Гласный суд подорвал бы достоинство династии, да и всего римского государства. Твое божественное имя не должно быть опозорено. Поэтому предоставь мне удаление презренной, угрожающей драгоценной жизни родного сына из жалкого властолюбия! Я тебе это советую, я требую этого — или я сам убью себя!

— Послушайся его! — молила Пoppея, бросаясь на колени. — Я не могу дышать свободно, пока опасность не будет навсегда отвращена от твоей дорогой головы!

Она рвала на себе одежду, судорожно терзала свои волосы и снова сумела выжать поток слез, еще обильнее прежнего.

Нерон противился сначала, но потом, стряхнув давившее его оцепенение, разразился припадком титанического гнева и поднимал кулаки к небу, словно обвиняя во всем богов.

— Презренная! — восклицал он. — Она уже по щиколотку в крови и все еще не насытилась ею! Ей нужно еще умертвить родного сына, для того чтобы спокойно спать! Прочь, жалкая слабость, замолчи малодушное, истерзанное сердце! Карай ее, Тигеллин! Действуй, убивай, как хочешь!

— Благодарю тебя, цезарь! Об одном только прошу тебя еще, если хочешь, чтобы все удалось как следует.

— Об чем?

— Отныне обращай с Агриппиной так, как я нахожу это нужным! Ты должен помогать нам только словами, только жестами: действовать же буду я один, и скорее, чем ты ожидаешь...

Нерон снова поколебался. Но перед ним сверкал клинок кинжала...

— Она сама этого хотела... — сквозь зубы прошептал он, и, подавая руку агригентцу, подавленным голосом произнес:

— Да будет так!

Глава XVI

Неделю спустя Нерон со своим блестящим двором уже находился в Байе.

Сенека же, которому предстояло окончить несколько важных государственных дел, и Бурр оставались еще в Риме.

Бурра удерживало «происшествие в доме Менения».

Так как в заговоре участвовал военный трибун — Фаракс, то Тигеллин весьма выразительно заявил о необходимости неусыпной бдительности, а в этом отношении «никто не мог заменить превосходного Бурра».

В действительности же, лукавый агригентец хотел лишь отдалить от театра задуманной им интриги единственного человека, казавшегося ему помехой его дерзкому замыслу против императрицы-матери.

Со времени тягостной сцены в спальне сына Агриппина больше не появлялась. Она провела два длинных, тоскливых дня одна в своих покоях, подавляя бушевавшие в ней гнев и жажду мщения. На третий день она поспешно выехала с небольшой свитой. Даже Паллас не должен был сопровождать ее: она хотела разыграть роль обиженной, осиротелой, отвергнутой... С этой целью она избрала своей резиденцией местечко, хотя также лежавшее на байском заливе, но удаленное от Байи; поселение ее там имело вид отчуждения и даже просто изгнания. «Как? — должен был воскликнуть изумленный свет. — Клавдий Нерон роскошничает под дивными колоннадами своих олимпийских вилл, его жизнь — непрерывный ряд наслаждений; Агриппина же, возведшая его на престол, живет в скромном Баули, на уединенной ферме? Что за мать!»

В Баули находилась прелестная маленькая вилла, недавно подаренная императрицей к свадьбе ее любимице Ацерронии. Теперь рыжая кордубанка была уже вдовой. Жизнь не застаивалась в императорском Риме.

Нерон и Тигеллин, казалось, теперь еще с большим увлечением и страстью предавались знаменитым байским кутежам. Поппея Сабина была всеми признанной верховной жрицей культа, состоявшего из смеси всевозможных наслаждений.

Это были то оргии, посвященные болезненно-восторженному обожанию природы, то преувеличенные, причудливые излишества в области искусства, то безумство в море чувственности. Между тем Тигеллин окончательно покорила прекрасную арфистку Хлорис. Позабыв о своем прошлом, она с торжеством бросалась ему на шею во время этих бешеных пиров.

Нерон презрительно усмехался, глядя на нее.

Он вспомнил вечер у Флавия Сцевина, когда еще беспорочная Хлорис пела перед гостями свою трогательную, незабвенную песнь.

Так-то меняется все на свете! Целомудренная невеста Артемидора — чем стала она теперь? Конечно, бывший раб переживет это, он скажет себе, что такова сила природы и воля рока. И к чему сияет девичья красота, если не для того, чтобы быть принесенной в жертву императорскому всемогуществу? Тигеллин в объятиях Хлорис уподоблялся увитой розами колонне кесарского дворца.

Но та песнь, та песнь! При этом воспоминании перед ним вставала прелестная, белокурая головка с большими, глубокими глазами. Отуманенные слезами глаза эти, казалось, говорили ему: «Я тебя любила больше всего на небе и на земле. Но теперь я уже давно мертва».

С лихорадочной поспешностью обвив левой рукой роскошный стан Поппеи, он громко воскликнул:

— Эвоз! — и осушил кубок до дна.

В этом водовороте наслаждений Тигеллин и Поппея, по-видимо-му, совершенно забыли об Агриппине. Иногда только агригентец немного опаздывал на представление сирийских танцовщиц или удалялся потихоньку раньше окончания шумного коммиссацио. Также могло показаться странным то, что начальник флота Аницет, корабли которого стояли на якоре недалеко у Мизенского мыса, теперь обращался с Тигеллином гораздо дружелюбнее прежнего и часто беседовал с ним. Но в Байе ни у кого не было времени серьезно вникать в поступки окружающих, а Нерон — единственный человек, которого это близко касалось, — старался намеренно опьянить себя.

Поэтому ни одна душа не подозревала, что коварный Аницет за три миллиона сестерций обещал взять на себя исполнение «приговора» над Агриппиной.

В начале третьей недели Тигеллин просил императора уделить ему «несколько минут его драгоценного времени».

— В чем дело? — спросил Нерон, которого весь день мучило мрачное предчувствие.

— Если тебе угодно, то следуй за мной! — сказал агригентец. — Таким образом мы избежим подробного объяснения.

Он повел императора в прелестную коричневую комнату, прилегавшую непосредственно к парку. В маленькое окно без стекла виднелось целое море цветущих розовых кустов. Справа от окна стоял драгоценный письменный стол на чугунных ножках, со столешницей из цельного куска великолепного кедрового ствола.

Здесь Тигеллин, в последнее время сделавшийся почти сопровителем императора, писал от его имени депеши Бурру и Сенеке.

Отсюда же он недавно известил Ото в Лузитании, что хотя до сих пор еще не удалось напасть на след соучастников заговора Менениев, но что тем не менее есть основания подозревать в сочувствии к заговору некоторых подчиненных Ото центурионов, о чем ему следовало немедленно произвести дознание, конечно, с соблюдением всевозможной осторожности. На этом же столе сочинялись банально-красноречивые любовные послания, которые победоносный Тигеллин, несмотря на решительное предпочтение, отдаваемое им родосске Хлорис, все-таки писал по полудюжине за один присест. Во всей Байе едва ли была хоть одна знатная горожанка, с которой Тигеллин не переписывался бы на богатом греческом языке, причем, конечно, его корреспондентка непременно обладала молодостью, любезностью и красотой. Только при таких условиях его быстрое перо могло изливать потоки страстных выражений и блестящей лести.

В настоящем случае, само собой разумеется, на обыкновенно заваленном изящными рукописями столе господствовал примерный порядок. Перед позолоченной урной с чернилами одиноко лежали две длинные полосы папируса, одна чистая, другая исписанная.

— Повелитель, — торжественно начал Тигеллин, — я поклялся тебе и себе, а главное — заботливой Поппнее, окончить по возможности, без твоего ведома, печальное дело, смутившее нас в последние дни нашего пребывания в Риме: я подразумеваю святотатственную попытку императрицы-матери. Но совершенно обойтись без твоего участия оказывается невозможным. Поэтому я прошу тебя списать это письмо и сегодня же отослать его императрице Агриппине. Письмо содержит все, что по зрелом размышлении, я нашел необходимым написать. Затем в течение дня тебе придется играть роль, которую благодаря великому артистическому таланту, дарованному тебе Аполлоном, ты проведешь успешно, хотя она и будет тягостна для тебя. Ты должен будешь изобразить по-прежнему приветливого, любящего сына, не подозревавшего о замыслах своей чудовищной матери.

Слегка дрожавшей рукой цезарь взял со стола полосу папируса. Послание гласило:

Нерон вопросительно взглянул на Тигеллина. Но агригентец убедительно просил его не требовать разъяснений.

С тяжелым вздохом принялся цезарь за письмо.

Окончив переписку, он поспешно направился в ванную, чтобы холодной водой освежить свой пылавший лоб.

Между тем торжествующий Софоний послал верхового в Баули с письмом. Ответ пришел в час ужина.

Императрица писала:

Тигеллин, открывший послание Агриппины, молча закивал головой, и тотчас же отправился к Пoppее, где его уже ожидал начальник флота Аницет.

Когда он переступил через порог, держа в левой руке голубоватый листок папируса, оба они со стремительной алчностью вскочили с кресел и уставились на него, как на привидение. Финикианка Хаздра, также участвовавшая в страшной тайне, вздрогнула и впиалась в лицо агригентца своими большими черными лучистыми глазами.

— Нет, — улыбаясь, прошептал Тигеллин.

Волнение товарищей забавляло его.

Когда Пoppей и Аницет познакомились с содержанием послания, решено было скрыть его от императора, так как рассудительный и доверчивый тон, принятый Агриппиной, казался опасным.

— Когда она приедет, — сказала Пoppей, — я уж позабочусь о том, чтобы ее самые нежные ласки не оставляли продолжительного впечатления. Если же он прочтет ее лукавые внушения, пожалуй, он начнет раздумывать и действовать сообразно своим размышлениям.

— Умно сказано, — кивнул агригентец. — Но к сожалению, время не терпит! Малейшая отсрочка может быть губельна для нас. Агриппина не сидит сложа руки ни одной минуты. Дайте ей срок, и старая змея опять проползет на прежнее место.

— Сохрани меня от этого моя счастливая звезда! — вздохнула Пoppей. — При одной этой мысли мной овладевает смертельный ужас.

— Что касается меня, — сказал агригентец, — я боюсь ее меньше, чем ненавижу. И мое тщеславие также поставлено на карту. Я не хочу и не могу проиграть игру.

— Нет, ты не должен проиграть, высокородный господин! — потирая руки, прошипела Хаздра. — Она считает себя богиней. Докажи ей, что она смертная! Убей ее, и я с наслаждением буду целовать прах у твоих ног!

— Что я слышу? — произнес Аницет. — Ты не только лишь послушное орудие твоей госпожи, но и сама питаешь враждебные чувства?

— Да, господин.

— Но по какой причине?

— Ты не знал Фаракса, военного трибуна? Когда он был простым преторианцем, он любил меня. Не насмехайся, Тигеллин! Некрасивая Хаздра, которая так не нравится всем вам, была действительно любима. Но высокая развратница отняла его от меня. О, если бы я могла хоть один раз схватить ее за ее бесстыдную, изолгавшуюся глотку!

Она стиснула кулак и погрозила по направлению к Баули. Лицо ее исказилось, за полуоткрытыми губами сверкнули крепко стиснутые зубы, белые и острые, как зубы шакала.

Искренность этой бешеной ненависти изумила Поппею.

— Успокойся! — благосклонно сказала она. — Агриппина умрет и без твоей помощи. Стыдись! Ты плачешь?

— О, нет! Я не плачу. Я давно уже разучилась плакать. Глаза мои увлажняются лишь от ярости, раздирающей мое сердце!

Между тем Нерон, приняв ванну, один лежал на подушках в прохладной галерее, то смотря на мраморные статуи, возвышавшиеся в коричнево-красных нишах, то перелистывая рукописи, недавно доставленные ему с нарочным из Палатинума.

Дневные донесения Сенеки и Бурра он только пробежал глазами, хотя в послании Бурра и были важные сообщения. Он доносил об аресте двух трибунов, сговорившихся умертвить императора и Поппею Сабину. Спрошенные о причинах такого намерения, они угрюмо отвечали:

— Наши мечи отмстят за благородную Октавию!

С минуту император думал об этом эпизоде, и чувства его выразились словами:

— Из-за Октавии возникают убийственные замыслы; следовательно, Октавия угрожает моей безопасности.

Но он тут же откинул эту мысль и вытекавшие из нее ожесточение и горечь. Гораздо более, нежели донесения Бурра, интересовала его записка Фаона, остававшегося в Риме в качестве главного управляющего дворца.

Фаон посылал ему план и смету стоимости новой роскошной виллы, что должна была быть построена на вершине цепи холмов между Байей и Кумэ, — блестящее доказательство расточительности императора и его чисто персидской жажды роскоши.

В течение нескольких месяцев это была уже пятая громадная постройка, затеянная императором для своей особы. Два дворца были уже окончены, — так как рабы и рабочие, под руководством архитекторов, живописцев и скульпторов трудившиеся день и ночь, составляли целую многочисленную армию.

— Восхитительно! — шептал Нерон, снова углубляясь в детали плана. — Клянусь Зевсом, вот это я называю правильным взглядом на жизнь повелителя мира! Конечно, издержки соответствуют отделке! Девятьсот миллионов! Сомневаюсь, чтобы сама Семирамида жила в такой великолепии. Девятьсот миллионов! Этого довольно, чтобы навеки освободить всю Александрию от всех податей и налогов!

Он подпер голову рукой.

— Для кого же ты сеешь, усталый поселянин Нильской дельты? Для кого охотишься ты за львом с опасностью твоей жалкой жизни, костлявый мавр? Для кого пасете вы ваши чудесные стада рогатого скота вы, грязные поселенцы голубого Дуная? И для кого выращиваете вы огненных коней, жители южной Испании и Каппадокии? Для меня, для цезаря, которому вы еще должны быть благодарны, если он не дает вам умереть с голода, для того чтобы вы могли продолжать сеять, охотиться и пасти! Дивное, олимпийское ощущение! Когда оно охватывает меня, земля бесследно исчезает предо мной, и я чувствую, что Цезарь выше Рока. Похитите у меня то, что я люблю: это мимолетная капля росы! Но то, над чем я господствую, что я могу превратить в прах — это неисчерпаемое море, целый океан визжащих, жалких созданий!

Он устремил восторженный взор в резной потолок, словно прозревая за изящным навесом бесконечность лишенного богов неба, для которого предназначался только один высокий житель — он

сам!

В таком состоянии его нашел Тигеллин.

— Повелитель, — деловым тоном произнес он, — Агриппина приедет завтра рано утром.

— Я знаю это, — рассеянно отвечал император. — Приказанием Клавдия Нерона повинуются даже упрямейшие из упрямых.

— Можешь ли ты назвать приказанием предложение, облеченное в столь льстивую форму?

Нерон провел рукой по лбу.

— Да, я позабыл, — сказал он, как бы внезапно очнувшись от заоблачных мечтаний. — Да, я просил... я, могущий одним взглядом разрушить вечный Рим! Но ты сам этому виной. Я только списал то, что ты положил передо мной.

— Я сделал это после зрелого размышления, повелитель! Посол мой сообщил, что Агриппина обрадовалась и взволновалась до того, что не успела прислать письменный ответ. Она шлет тебе тысячи нежных приветствий, считая тебя снова вполне покорным себе.

— Покорным, — насмешливо вскричал Нерон. — Она узнает это!.. Покорным! Могу ли быть покорным я, я, цезарь!

Он вскочил и в глубоком размышлении несколько раз прошелся по комнате.

— Прости! — сказал он наконец. — Твою руку, Тигеллин! Ты один из немногих, кому я искренно признателен. Я был рассеян. Сообщения Фаона... то есть Бурра, хотел я сказать... Вот, прочти! И так, она приедет? Что же мне нужно теперь делать? Ведь я поклялся тебе...

— Мы еще поговорим об этом, — прервал его Тигеллин. — Ты кажешься сильно взволнован. О том, что сообщает тебе Бурр, я уже слышал от Поппеи. Она знает все, эта жемчужина среди женщин. Двое возмущившихся трибунов, обезоруженных Бурром, были подкуплены Агриппиной.

— Кто говорит это?

— Поппея. И она скоро представит тебе доказательства. Не говори ей пока ничего! Она может взволноваться, а мы должны быть бодры и спокойны.

— Ты прав, Тигеллин! Ее следует беречь, особенно теперь, когда она готовится... подарить меня ребенком...

— Цезарь, друг мой! — взволнованно вскричал Тигеллин, как будто впервые узнав об этой тайне. — Твоя сладчайшая Поппея... О, ты трижды счастливый цезарь! Теперь я убежден, что все удастся нам. Дитя императора находится под защитой богов. Еще один день — и Нерон наконец освободится от ядовитой змеи, непрерывно угрожающей его дорогой главе. Иди, мой Клавдий! Обедай с твоей Поппеей! Оставайся сегодня с ней наедине! Это успокоит тебя. Ты закалишь свое и ее сердце для последней решительной борьбы. Будь счастлив, цезарь! Тигеллин будет работать за тебя!

Глава XVII

На следующее утро Агриппина рано выехала из Баули.

Окруженный блестящей свитой, Нерон торжественно встретил ее на пристани, приветливо помог ей выйти из ее биремы и поцеловал ей обе руки. Ацеррония также удостоилась милостивого приема.

Агриппина с цезарем поднялись впереди всех по ступеням к широкой, усаженной миртами дорожке, где уже ожидали их носилки. Императрица должна была быть избавлена от труда пройти даже несколько шагов до вестибулума: так строго придерживался этикета начальник флота, Аницет. Один из отпущенников императора в то же время получил приказание привязать бирему в стороне, в одной из выложенных камнем бухт, и позаботиться о покрытых потом гребцах Агриппины, равно как о ее рабынях.

Поппея Сабина, смиренно склонив голову и по восточному обычаю сложив руки на груди, ожидала у входа в атриум. Давно уже Агриппина вынуждена была признать в решительной Поппее равную себе силу. Император чувствовал к этой прекрасной, утонченно-льстивой женщине действительно страстную любовь, помрачавшуюся на минуту лишь тогда, когда пред ним вставал полупоблекший образ Актэ, или когда им овладевала та ненасытная жажда жизни, которую он всегда ощущал после глубоких философствований. В припадке такого экстаза, он желал воплощения всех женщин мира в одном прекрасном существе, в объятиях которого он мог бы изведать все, что Афродита в своем божественном безумии так жалко раздробила на части. Если экстаз был продолжителен, то Нерон по несколько дней старался сам собрать это раздробление воедино. Он переходил от одного воплощения идеала красоты к другому. С одинаковым жаром он целовал дочерей сенаторов и сиграмбрских рабынь, модницу Септимию и певицу Хлорис, изменявшую своему любовнику Тигеллину без малейшего угрызения после того, как она выбросила за борт свое истинное счастье — жизнь с Артемидором. Но после этого цезарь всегда с обновленной страстью возвращался к Поппее, которая была достаточно умна для того, чтобы не замечать походов властителя мира. Таким образом, он все больше и больше подчинялся ее непреодолимому очарованию.

Наконец теперь, когда повсюду шептали о том, что Поппея Сабина готовится стать матерью, а уведоленный об этом обстоятельстве Ото спокойно и без гнева выразил намерение развестись с ней, Агриппина должна была сознаться, что если она хочет победить, то ей не следует высказывать своей ненависти к этой развратнице.

И она сумела великолепно сыграть свою роль. Смирение молодой женщины было вознаграждено самым блестящим образом. Агриппина обняла ее, назвала своим дорогим другом, поцеловала ее в полуоткрытые губы и поклялась, что прекрасная Поппея никогда еще не была так очаровательна и прелестна, как теперь.

Тотчас после этого под навесом маленького триклиниума подали роскошный завтрак.

За завтраком присутствовали только пятеро: Нерон, Агриппина, Ацеррония, Поппея и Аницет.

Агригентец прятался весь день. Все думали, что он уехал. Впрочем, во время завтрака его имя не было упомянуто ни разу.

Разговор поддерживали преимущественно Аницет и Поппея. В особенности был говорлив обыкновенно молчаливый Аницет. Следовало во что бы то ни стало помешать императрице-матери объясниться с Нероном. Поощряемый громким одобрением Поппеи и Ацерронии, он рассказывал одну за другой истории о необыкновенных морских приключениях, и даже сама Агриппина по временам увлекалась его живым, интересным рассказом.

Посторонний зритель, наверное, подумал бы, что за этим роскошным, сверкающим золотом и

серебром столом царят искреннее веселье, душевное спокойствие и сердечное дружелюбие.

Но Агриппина боролась с странным беспокойством.

Подозрительность ее была скоро подмечена Поппеей, увидавшей, что императрица-мать постоянно принималась за поданное блюдо тогда, когда его уже отведали император или Поппея.

Раз, когда Агриппина отвернулась, она легким движением руки, понятным одному только Нерону, обратила на это его внимание. Нерон нахмурился. Опасения Агриппины казались ему ясным доказательством ее виновности.

Как бы случайно, он начертил на столе указательным пальцем букву Б.

Во взоре Поппеи засветилось тихое довольство. Она догадалась, что это Б означало: Британник.

Завтрак был превосходным. Тут были чудовищные устрицы и нежные, бескостные мурены; два паштета — один из мозга жаворонков, другой из копченой оленины с двадцатью пряностями; фрукты из знаменитейших кампанских садов; словом, всевозможные изысканнейшие кушанья подавались великолепно разодетыми слугами, между тем как холодное, искрящееся этнинское вино распространяло опьяняющий аромат. Но всем этим наслаждалась одна только испанка Ацеррония.

Она наслаждалась искренно и, выпивая один освежающий кубок за другим, внутренне горячо желала, чтобы уединенной жизни на вилле в Баули действительно пришел конец.

Как непохожа жизнь здесь, под прохладным навесом, на жизнь в подаренном ей доме! Благодарение бессмертным богам, она избавилась от ужасного мужа; теперь недоставало только прежнего веселого, пестрого общества и кого-нибудь для замены покойника! Она не выйдет больше замуж, ни за что на свете; но... ей хотелось бы завести себе друга. Всеблагая Киприда, тебе известна песнь молодых, веселых вдов!

Например, Аницет... Его нос немного широк, но ведь целуются не носом!

Он весело болтал и искренно смеялся, когда Ацеррония раздражалась хохотом; она не понимала, почему прежде так пренебрегала им! А ее смешное видение в парке Сцевина! Его оживленные глаза тогда были закрыты... по лицу струилась зеленоватая вода... рот был искажен, бледен, ужасен... А позади него Помона, внезапно принявшая черты императрицы-матери!

Как глупо!

Мудрая египтянка Эпихарис тогда же дала ей благоприятное истолкование. Она предсказала, что начальник флота в течение года благополучно доставит их в гавань... Конечно, гавань могла быть и аллегорией, обозначающей счастливую любовь...

Так она мечтала о радужном будущем.

В полуденную жару обитатели виллы предались отдыху.

Только за два часа до ужина все собрались в галерее, прохладнейшем месте дома, где Хлорис пропела несколько песен.

— Милая родоска, — сказал император, когда она вторично опустила арфу, — спой еще одну песнь, которую мы уже давно не слышали, спой твою нежную, мелодичную «Glykeia mater»!

Glykeia mater... О, сладкая мать... — так начиналась любимая народная дорическая песня.

Все присутствующие, а прежде всех Поппея и Аницет, начали рукоплескать цезарю. Агриппина легко поддавалась очарованию этого деликатного внимания. Она была вполне убеждена, что юный император снова в ее руках. Заметно трепетный голос Нерона, которым он высказал свое желание, она окончательно перетолковала в хорошую сторону. Сколько бы ни страдала ее гордость, сколько бы ни возмущалось ее

властолюбие против необузданного мальчика, так дерзко и неожиданно осмелившегося тягаться с ней, все-таки он был и оставался ее горячо любимым сыном. В первые слова песни Хлорис вложила столько огня и продолжала петь так нежно и трогательно, что несравненное самообладание Агриппины на несколько мгновений изменило ей и она позабыла о том, что всегда считала первой обязанностью своего достоинства. Глаза ее увлажнились, и две блестящие слезы готовы были скатиться по ее щекам, быть может, в искупление многих кровавых деяний, которые не могли быть больше смыты никакой молитвой.

А между тем гибель все приближалась к чествуемой жертве.

В четвертом часу пополудни все домашние и многочисленные гости сели за стол. По неотступной просьбе финикиянки Хаздры ей дозволено было принять на себя раздачу обычных венков. Одета в широкое красное платье, серьезно, медленно, торжественно, как бы совершая священный обряд, приблизилась она к празднично разубранным столам. Сверху в ее плоской корзине лежала гирлянда белых роз, отличавшаяся от остальных своими пышностью и красотой. С сверкающими глазами подошла она к почетному месту, где на роскошных подушках, между императором и Аницетом, покоилась гордо улыбавшаяся Агриппина.

Поверенная Поппеи торжественно подняла душистую диадему.

— Розы из Кумэ! — дрожа, сказала она. — Прекраснейшие в целой Италии! Клавдий Нерон, наш господин и повелитель, отдает их тебе. Тебе одной оказано это преимущество! Эти белые, царственные розы подобны свадебному убору богини мертвых, Прозерпины!

Возмущенный этим неуместным намеком, Аницет метнул на нее яростный взор. Но Хаздра только усмехнулась с презрением к алчному «деловому человеку», из-за золота решившемуся на измену и убийство, между тем как она с радостью пожертвовала бы миллионы ради одной возможности отомстить. Почти высокомерно прошла она дальше.

Агриппина едва слышала слова своей тайной ненавистницы. Равнодушно надев на голову венок смерти, она позволила Аницету поправить сапфировую шпильку, что он исполнил с почтительной ловкостью царедворца.

Давно уже ее взор задумчиво устремлялся на вечно веселую Поппею Сабину.

Как легко удалось этой сияющей красотой женщине подчинить себе цезаря! Агриппина верила, что сама она везде и всегда может помериться прелестями и очарованием с кем угодно, даже с Поппеей! Но в этом случае, к несчастью, она была мать...

Улыбаясь, она высказала эту мысль Аницету.

— Согласись, что борьба была неравная, — после некоторого молчания продолжала она. — Я была лишена самого надежного оружия. Полагаю, что я могу утешиться этим.

Аницет, втайне занятый своими планами, придал ее словам ложное значение и вздрогнул. Чудовищность намерения, в котором он ее заподозрил, заставила его затрепетать... Но тотчас же, с внутренним смехом, он поднес к губам кубок и мысленно выпил за «счастливое путешествие», которое он должен был приготовить увенчанной свадебным венком императрице-матери.

Уже наступила ночь, когда Агриппина поднялась из-за стола, чтобы возвратиться в Баули.

Над вершинами левгарских гор сияла луна, разливая мягкий свет на далекий зеркальный залив и на окружавшие его многочисленные храмы, театры и виллы.

Нерон проводил императрицу до берега. Большинство гостей следовали за ними. К удивлению, бирема Агриппины не была подана. Перед бухтой, где она была привязана, раздавались смущенные

голоса.

— Что это значит? — спросил начальник флота.

— В биреме течь, — отвечал один из гребцов. Агриппина нахмурилась.

— Непостижимо! Кто виноват в этом? Ты, Андрокл?

— Повелительница, клянусь моей жизнью...

— Молчи! — прервал его Нерон. — Завтра я узнаю, кто виновен. Кассий, арестуй этих двух людей! Ты же, дорогая мать, не порти своего хорошего расположения духа из-за такой безделицы! За сто шагов отсюда стоит увеселительный корабль, недавно подаренный мне любящим роскошь Аничетом. Живо, Эврисфен! Гребцов сюда! Мать, подожди немного на этой каменной скамье! Через пять минут ты уже будешь в море.

Он едва выговорил эти слова. Язык его прилипал к гортани. Но отступить он не мог: так должно было быть во имя справедливости, его собственного блага и безопасности Рима, ибо Рим — это он сам!

Равномерные всплески и журчанье воды возвестили о приближении роскошного корабля. Экипаж его состоял из храбрейших матросов Аничета, в простых морских одеждах сидевших теперь на скамьях и, по знаку кормчего, поднявших кверху весла.

Из судна на берег перекинули обитую ковром доску. Агриппина обняла цезаря и бледную, как мрамор, Поппею, подала руку Аничету, милостиво кивнула остальным и в сопровождении Ацерронии и служанок спокойно ступила на палубу.

Посредине судна возвышался персидский балдахин.

Под ним стояли мягкие скамьи и диваны. Агриппина села, кругом нее разместились ее спутницы, цветущие девушки в розовых туниках, с блестящими плащами из легкой шерстяной ткани, небрежно накинутыми вокруг бедер. Невольно вспоминалась Галатей в кругу nereid.

Последнее «Будьте здоровы!» послышалось с берега. Кормчий протянул правую руку. Два флейтиста заиграли нежную мелодию: «О, золотая Байя!», а гребцы в такт поднимали и опускали весла. Судно сделало оборот налево, и поплыло вперед по молчаливому заливу.

Ночь была очаровательна. Лунный свет все ярче и ярче сверкал на подернутой легкой рябью воде. Исчезающий вдаль Мизенский мыс, усеянные вилами холмы, высокие леса пиний, все, казалось, утопало в серебре и снеге. Серебро и снег пенистыми клочками взлетали над веслами, падали дождем на колонны балдахина и жемчугом скатывались на широкую палубу. Агриппина подперла голову рукой.

Мягкая лазурь неба, ароматный воздух, мелодичные звуки флейт, все это производило невыразимо успокоительное впечатление! Довольная улыбка мелькала на ее губах. Давно уже она не была так счастлива.

Незабвенный день!

Все, все, опять изменилось к лучшему. Сын ее снова нашел ту границу, где начинается ее материнский авторитет. Он поклялся уважать эту границу, вполне доверять матери и следовать ее советам до конца ее жизни!

Это было возвращение к былому, к цезарскому могуществу, к господству над империей.

А господство это так заманчиво, так божественно!

Чего только не может теперь совершить снова возвеличенная императрица-мать! Чего только она не создаст, не разрушит, не уничтожит! Прочь праздношатающиеся гуляки, превращающие Рим в таверну!

Прочь агригентский шарлатан, с его бессильными, бесцветными клеветами! В империи Августа должен быть водворен порядок во что бы то ни стало! Парфяне должны присмиреть, как собаки при яростном рыкании льва! Логанских германцев она раздавит раз навсегда и этим положит славный конец вечным спорам о владениях. Мощная, белокурая великанша Германия, разбившая Вара и заставившая великого Августа плакать от горя, должна затрепетать и пасть в прах перед римской императрицей Агриппиной!

Сон одолел ее, и она откинула голову на подушку. Пред ней, подобно густому фантастическому облаку, носились необъятные толпы розовых гениев, махавших победными венками триумфаторов. Она закрыла глаза. Ее улыбавшегося рта коснулось благоуханное веяние, словно поцелуй бессмертного бога...

Вдруг раздался ужасающий треск, грохот и дикий, пронзительный, раздирающий душу крик ужаса.

Корабль Аницета сам собой разделился на три части, из которых средняя, где был балдахин, как свинец пошла ко дну.

Агриппина еще не успела вполне очнуться, как уже со всех сторон услышала журчанье темной воды. Соленая влага залила ей рот и нос, и она почти лишилась чувств.

Наконец она вынырнула. Она слышала крики о помощи молодых рабынь, мучительно боровшихся за свою жизнь, она слышала вопли Ацерронии.

Сердце императрицы сжалось невыразимой болью. Не страх смерти безжалостно давил ей горло, но ужасное сознание истины.

Безмолвно ухватилась она за одну из коринфских колонок, оторвавшуюся от балдахина и носившуюся кругом в водовороте.

— Горе мне! Вот и закрытые глаза Аницета! — вопила Ацеррония, вспоминая недавнее радужное истолкование своего видения.

С силой отчаяния поплыла она к большей из двух державшихся на поверхности воды частей судна.

Луна спряталась за тучи. Мрачная пепельная дымка окутала сцену катастрофы.

— Спасите меня! — раздался страшно пронзительный крик кордубанки. Она вцепилась в один из свесившихся шестов. — Спасите меня! — снова крикнула она и видя, что никто не обращает на нее внимания, хрипло прибавила: — Я мать императора!

Едва лишь произнесла она роковые слова, как на ее мокрую голову справа и слева посыпался град весельных ударов.

Еще недавно кипевшая жизнью Ацеррония погрузилась в пучину с раздробленным черепом. Почти в то же мгновение затонули и другие рабыни.

Одна лишь Агриппина, скрытая колонной от взоров убийц, медленно уплывала в открытое море.

— Актэ, — шептали ее искаженные губы, — не твое ли это мщение?

Предсмертные муки цветущей молодой девушки, которую она считала утонувшей, представились ей с уничтожающей ясностью. Да, вечно справедливая судьба воздавала ей буквально око за око. Ей чудилось, будто призрачная рука тянет ее за одежду в глубь пучины. Полное противоречий раскаяние проснулось в ней. Эта отпущенница, несмотря ни на что, была ей симпатична с первой минуты. Агриппина поступала против собственных чувств, раздувая в себе ненависть и злобу... Увы, а он, проклятый, второй Орест! Разве его первая вспышка гнева на некогда столь нежно любимую мать не была порождена борьбой за ту, которую он называл своим счастьем?

Мысли эти, подобно молниям пронизывали ее мозг. Потом глубокий мрак застлал ее сердце. Она

колебалась, покончить ли разом эту страшную муку и, выпустив колонку, с последним проклятием своему убийце погрузиться в багряную пучину? Одно лишь удерживало ее: страстное желание покарать злодеев. Как некогда Актэ черпала новые силы в мысли о своей беззаветной любви, так смертельно раненное сердце Агриппины закалилось в пламенной жажде мщения.

После того как соучастники преступления Аницета сочли свое дело оконченным, они сели в скрываемую до сих пор шлюпку, потопили обе еще неповрежденные части яхты и, довольные своей удачей, направились обратно в Байю.

Уже рассветало, когда они достигли берега.

Несмотря на хорошую погоду, Аницет имел дерзость распространять сказку о том, будто Агриппина потерпела крушение при возвращении в Баули.

Никто не верил этому, но все притворялись убежденными в правдивости выдумки. Тигеллин выразительно повторял, что в заливе есть подводные камни. Корабль Аницета, вероятно, сидел глубже, чем обыкновенные увеселительные корабли. Купеческие же суда, приплывавшие в Путеоли, держали более северный курс. Тигеллин знал в этом толк, и так как вместе с тем он обладал и властью, то его разглагольствования не встречали опровержений.

Нерон, которому агригентец сообщил о случившемся тотчас по возвращении матросов, не изумился, но был страшно потрясен.

— Ты дал мне дурной совет, — беззвучно произнес он. — Да, да, я знаю, что ты хочешь сказать. Я верю тебе. Она святотатственно покушалась на мою жизнь. Но все-таки, все-таки... Я предпочел бы для нее изгнание...

— Изгнание? — воскликнул Тигеллин. — Повелитель, как мало знаешь ты натуру таких преступниц! Никакие преграды недостаточны для того, чтобы полностью обезвредить их злобу. Они разрушат плиты мамертинской тюрьмы и вечные скалы Сардинии. Я принесу благодарственную жертву, если эта страшная женщина не вернется из царства мертвых для того, чтобы посеять новое зло!

— Она вернется! — с трепетом сказал император. — Я уже вижу ее, каждую ночь бледным призраком подходящую к моему ложу, со стонами показывающую мне свою, питавшую меня грудь и, наконец, удушающую меня!

— Успокойся! — сказал Тигеллин. — Неужели я должен повторять в сотый раз, что она понесла лишь заслуженную кару? Она хотела убить не одного лишь сына, но цезаря. Сын мог бы простить; цезарь не имеет на это права.

Нерон встряхнулся.

— У меня мороз пробегает по коже, — дрожа, произнес он, — я не могу выразить моих чувств словами, но я невыразимо страдаю!

— Подумай о Бруте! Дорогой, и это имя я часто произносил перед тобой! Сыновья Брута провинились только перед государством, жизнь их родителя была для них священна. Однако Брут не колебался ни мгновения. Он с геройским достоинством произнес смертный приговор. Он подавил в себе то, что в десять тысяч раз сильнее всякой сыновней любви: отцовскую любовь! Нет, Клавдий Нерон, то, что ты допустил совершиться, похвально и справедливо, и потомство не подумает даже лишить тебя лаврового венца за этот поступок.

— Оно назовет меня матереубийцей! — в отчаянии простонал Нерон.

— Успокойся, если любишь меня! Твои нервы расстроены. Иди спать, цезарь! Еще не совсем

рассвело. Тебе нужен отдых.

— Я не могу спать. Тысячи мыслей толпятся в моей голове, тысячи старых, давно забытых воспоминаний... О, дни моего раннего детства! Как я был счастлив, играя у ее ног! Как свободно и чисто было это сердце! Она задумчиво смотрела на меня, ее черты дышали кротостью; я чувствовал, что любим...

— Повелитель, заклинаю тебя...

— Однажды, я помню это было в декабре, перед праздником сатурналий, — продолжал Нерон. — Вечерело. Мы сидели в одной комнате, а отец с друзьями возлежал за столом в другой. Она посадила меня на колени. «Ты должен, когда вырастешь, оправдать мои надежды», — задумчиво сказала она. На столе возле стеной ниши лежал сорванный мной пучок лавровых ветвей. Она сплела из них венок для меня. Потом улыбнулась и назвала меня своим любимцем, своим царем и богом. И поцеловала меня...

Обуреваемый страстным раскаянием, Нерон бросился на ложе и спрятал в подушки свое залитое слезами лицо.

С каждой минутой Тигеллин чувствовал все большую неловкость и досаду. После долгого, безмолвного размышления он наконец патетически произнес:

— Выплачь свое горе, великий цезарь! Слезы эти льются о детстве, которое и счастливейшему среди нас представляется навеки утраченным, блаженным сном. Побужденный волшебной силой воспоминаний, ты теперь не сознаешь, что все это уже давно погребено, что любящая мать, ласкавшая на своих коленях сына, потонула в тине порождающего ненависть честолюбия и в бездонной пучине себялюбия, а вовсе не в волнах залива, как ты это представляешь себе. Плачь, цезарь, и слезами этими, если хочешь, принеси искупительную жертву ее духу! Очисти ее память от всей приставшей к ней грязи! Позабудь многочисленные, умерщвленные ею жертвы! Даруй ей свое прощение и затем бодро подними голову, чтобы снова сиять, царствовать и наслаждаться!

Часть третья

Глава I

В продолжение нескольких часов Агриппина цеплялась за колонку, разделявшую ее от вечной ночи в глубине пучины.

Она вспомнила о своей жертве, несчастной Актэ, и вот боги, казалось, жались над ней за эту, полную раскаянья, мысль. С ней, в ее ужасном положении случилось подобное тому, что произошло с утопавшей отпущенницей Никодима.

Тело Агриппины уже почти окоченело от холода морской воды; жизнь, казалось, сохранялась еще только в сильно бившихся висках да в ослабевавших руках, судорожно охватывавших резную колонну. Вдруг, от мизенского мыса показалась лодка, плывшая из Каэты в Путеоли с грузом цветов. Агриппина начала отчаянно кричать; она звала до тех пор, пока в ответ ей показался развевающийся платок и раздался возглас: «Продержись еще немного!» Через пять минут она была спасена.

Не веря собственным глазам, онемев от изумления, честные моряки смотрели на неожиданное явление: Агриппина, императрица! Каждому из них было знакомо ее величественное, характерное лицо, виденное ими если не в натуре, то в бесчисленных бюстах и статуях, украшавших площади всех римских городов. Никто не осмеливался заговорить.

Смертельно измученную императрицу свели в каюту, подали ей полотенца, ковры и сухую одежду, так как случайно на шлюпке оказалась дочь садовника, высокая девятнадцатилетняя девушка.

Едва оправившись, Агриппина предалась безграничной ярости, временно подавленной борьбой с морскими волнами. Жалкий убийца! Его нежные речи, теплые рукопожатия, сердечные объятия, трогательная песнь «Glykeia mater», словом, все, происходившее на богопротивной Байской вилле было лишь низкой, постыдной, предательской комедией! А она, Агриппина, обыкновенно столь прозорливая, она поддалась обману! Стыд от сознания этого давил ее еще сильнее, чем страшное разочарование материнского сердца.

Но она овладела своим бешеным гневом. Полное, всеокрушающее мщение могло быть достигнуто лишь спокойствием и хладнокровием. Благоразумие должно преодолеть бурю ее чувств.

Скоро она уже составила план действий.

— Отважные моряки, — сказала она, призвав матросов, — благодарю вас! Да, это я, императрица Агриппина. Мы плыли по заливу в лодке, прельщенные тихой, мирной лунной ночью. Неожиданно налетевший шквал опрокинул нашу лодку. Так изменчива судьба людей. Однако я прошу вас: сохраните такое молчание о происшествии, как будто вы сами были его виновниками. Обещаете?

— Повелительница, как ты прикажешь!

— Вам не придется раскаиваться в этом. Теперь же скорее доставьте меня в Баули! Убыток садовника будет в сто крат возмещен ему.

Матросы повиновались.

Был уже день, когда они вошли в гавань. С царственной невозмутимостью Агриппина сошла на берег.

— Подождите! — сказала она, прощаясь.

Вскоре явился ее главный раб и вручил каждому матросу по тысяче динариев, рулевому же и дочери

садовника по пяти тысяч.

Домашним своим Агриппина также не обмолвилась ни словом о случившемся. Главному рабу, спросившему, почему она возвращается одна, она ответила так, что сразу отбила у него охоту к дальнейшим расспросам.

Приняв немного пищи и выпив чашку фруктового сока с водой, она пошла в свою спальню, где скоро погрузилась в мертвый сон.

Проснувшись около полудня, она провела рукой по лбу, как бы с трудом припоминая пережитое ею.

Вдруг она громко и злобно засмеялась.

— Точно в театре, — подумала она, судорожно сжимая пальцы. — Сейчас начнется последнее, заключительное действие... Я должна бы уже погибнуть, но вдруг все изменяется. Именно то, что должно было погубить меня, ставит меня в выгодное положение. Подождите, вы, псы, теперь вы узнаете, на что способна Агриппина, когда дело идет о жизни или смерти! Мой превосходный Бурр наконец очнется от своей блаженной доверчивости. — Она стиснула кулак.

— Мальчик! — с мучительной болью прошептала она. — Убивая Клавдия ради тебя, клянусь Стиксом, я трепетала, я ощущала нечто вроде раскаяния... А Клавдий был жалкий глупец, которого я ненавидела! Ты же... возможно ли представить это себе? Если есть боги, они должны бы осудить тебя на вечную муку!

Горячие слезы полились по ее щекам, но она овладела собой.

— Проклятие слабому материнскому сердцу! — скрежеща зубами, думала она. — Полуубитая жертва плачет о презренном развратнике вместо того, чтобы с улыбкой покарать его! Но я отучу себя от слез. Я встречу с ним — это неизбежно — когда наступит время.

Накинув на плечи паллу, она поспешила в соседнюю комнату и твердым, решительным почерком написала следующее:

Письмо это она вручила одному старому, преданному рабу с приказанием передать его лично императору, не отступая ни перед какими затруднениями, которые, наверное, представятся ему.

Хотя в наглухо занавешенной спальне Нерона господствовала полнейшая темнота, сон ни на минуту не смежил его глаз после ухода Тигеллина.

«Матереубийца!» — беспрерывно звучало в его ушах. То это был голос несчастной жертвы, то его собственный. Он слышал также рокот высоко вздымавшихся волн, из мрачной пучины которых медленно вставали страшные призраки, костлявые демоны с искаженными лицами, в окровавленных одеждах. Он старался прогнать эти видения, он отчаянно боролся с ними. Все тщетно. Из каждого пенистого гребня выплывали новые смертельно-бледные фигуры, их были тысячи, миллионы. Весь мир наполнился ими, превратившись в необозримо страшный хаос.

Минутами, когда это ужасное состояние достигало той высшей степени, за которой уже начинается безумие, над безобразной толпой поднимался цветущий образ Актэ, печально смотревшей на него и грустно шептавшей: «Нерон, мой кумир, мое счастье, ты смотрел на меня иным взором, когда твои руки еще не были запятнаны кровью! Руки эти ласкали мои волосы, гладили мое лицо, охватывали меня в упоительных объятиях... Тогда я отдала тебе все мое сердце, как Ио Зевсу. Но теперь — горе мне! Ни за какие сокровища в свете не хотела бы я коснуться твоих пальцев». Он зарылся в подушки пылающим лицом. Что это? Отчаянный крик о помощи? Вот сверкнула белая палла императрицы... Вот, вот... о, как быстро утопает она! Она вскидывает руки... «Нерон, мой сын!» С глухим журчаньем вода сомкнулась над головой утопающей...

Солнце поднималось все выше и выше, разливая свои живительные лучи над многолюдным приморским городом. По берегу, вдоль великолепной набережной, шумела обычная, пестрая суета. Тысячи птиц заливались в парке. С моря дул освежающий ветерок, надувавший целую флотилию блестящих парусов. Словом, день казался созданным для земного блаженства. Один император, вышедший в перистиль, не замечал живительной силы света. Глаза его болели, и в висках стучало словно молотом.

Пройдя два раза по перистиллю, он поспешил в галерею и бросился на бронзовую скамью. Наконец его объял тяжелый, болезненный сон.

Когда посол Агриппины прибыл на виллу, цезарь еще спал. Кассий и другие рабы-прислужники отказались будить его. Мускулистый гонец уже намеревался силой проложить себе путь к императору, когда вошедший Тигеллин осведомился, в чем дело.

— Господин, — отвечал Кассий, — вот какой-то неизвестный человек имеет важное послание к цезарю.

— Поддай сюда! — приказал Тигеллин послу.

— Невозможно. Я могу передать письмо только одному цезарю.

— Я отдам ему.

— Мне это запрещено.

— Кто послал тебя?

— Друг императора, не желающий назвать себя. Не препятствуй мне! Император разгневется на тебя, если ты удержишь меня!

Агригентцем внезапно овладело смутное беспокойство.

— Хорошо, — равнодушно сказал он. — Войди сюда! Я сейчас разбужу императора.

Честный гонец переступил через порог. Тигеллин сделал знак рабам, которые мгновенно кинулись на него и вырвали письмо из его туники.

Агригентец вошел вслед за рабами.

— Молчи! — шепнул он начавшему кричать гонцу. — Я прикажу изрубить тебя, если ты только пикнешь еще раз!

Он взял послание и пробежал его. На несколько мгновений он совершенно растерялся, но оправившись, холодно произнес:

— Связать этого молодца и посадить в подвал! Наблюдайте за ним строжайшим образом, впредь до дальнейших распоряжений. Если он вздумает сопротивляться, просто заколите его! Не ты, Кассий! Император хватится тебя. Это сделают другие. Хорошо! И ни слова о случившемся! Чтобы цезарь ничего не знал! Кто не умеет молчать, тот пусть лучше сейчас же бросится в рыбный пруд: ибо я обещаю ему страшную смерть.

Сказав это, агригентец в сопровождении двух солдат поспешил к Аницету и молча развернул пергамент перед его глазами.

Начальник флота прочитал и побледнел.

— Выбери! — сказал Тигеллин по-гречески. — Или ты сам падешь жертвой твоего коварного замысла, или тебе придется исправить сегодня же вчерашнюю неудачу.

— Проклятие! — прошептал Аницет. — Львица живучее, чем мы предполагали! Через несколько часов, быть может, я погибну, так как ты, благородный Софоний, конечно, предоставишь меня моей судьбе.

Тигеллин пожал плечами.

— Каждый за себя, — с дипломатическим хладнокровием отвечал он. — В случае публичного скандала я откажусь от тебя: это само собой разумеется. Но если тебе посчастливится выпутаться из этого затруднения, то ты получишь двойное вознаграждение за твою работу.

Аницет с минуту подумал.

— Гонец уже ушел?

— Нет. Я велел задержать его на всякий случай.

— Отлично! Если ты мне поможешь хоть немного, я надеюсь еще уладить все. Теперь мы должны бороться сообща, ибо ведь и тебе не избежать подозрений: нас слишком часто видели вместе в последнее время. И к тому же у меня сохранилось то любезное письмо, которым ты так благосклонно приглашал меня; оно также есть очень красноречивое доказательство тайной связи наших устремлений.

— Не заблуждайся! — возразил Тигеллин. — Стоит мне пожелать, и через две минуты ты будешь мертв. Я прикажу отрубить тебе голову и сообщу Агриппине, что ты наказан за твоё покушение. Как ты думаешь, заподозрит ли кто-нибудь меня, твоего карателя, в сообщничестве с тобой?

Аницет с усилием сохранял спокойствие.

— Может быть, ты прав, — с холодной улыбкой сказал он. Ему казалось, что теперь он в совершенстве подражает своему блестящему образцу, Тигеллину. — Может быть! Но оставим эти шутки! Само собой разумеется, что я решил довести мое предприятие до конца. Двойное вознаграждение я считаю справедливым: ведь и опасность удвоилась. Слушай же, что я нахожу нужным сделать. Прикажи сейчас же умертвить гонца, так благоразумно схваченного тобой! Распространи слух, что по поручению Агриппины, он должен был умертвить цезаря! Ты уж позаботишься о достоверных свидетелях его признания. Ведь ты не новичок в таких делах.

— Хорошо. Что дальше?

— Остальное предоставь мне. Неприятная задача будет исполнена до наступления вечера.

— Ты возбуждаешь мое любопытство, — сказал Тигеллин.

— Не сомневайся во мне! Пошли тотчас же на мои триремы! Мне нужны пятьдесят человек кроме тех двадцати, что были гребцами, на потопленном судне. Я хочу вполне обеспечить успех. Пятьдесят человек из отряда отборных моряков, которых я называю «чайками». Нельзя ли послать туда одного из твоих солдат?

Тигеллин отвечал утвердительно.

Аницет написал несколько слов на своей воценой дощечке. Легконогий преторианец вихрем помчался к берегу, где стояли на якоре две триремы: «Самос» и «Гераклея».

— Так! — пробормотал Аницет. — Надеюсь, мое смелое решение сильно изумит вас! Нет, нет, я ничего не выдам!

— Ради Зевса, оставь таинственность! Право, мой превосходный Аницет, на море ты, может быть, бог, но на суше ты неловок как пеликан. Не думаешь ли ты, что я воображаю, что ты намерен устроить маневры твоим морякам здесь, в атриуме? Или хочешь выбить из седла цезаря или меня?

— Выслушай меня! Всего ты все-таки не угадаешь. Да, действительно я хочу сделать нападение на императрицу. Сегодня же она должна сойти в Тартар; иначе моя голова, а может быть, и твоя также, не стоят полудинария. Это ты угадал. Но о моих других планах ты и не подозреваешь. Впрочем, пожалуй лучше будет посвятить тебя во все...

— Говори!

— Я заметил, — продолжал Аницет, — как больно было императору произнести смертный приговор родной матери. Поэтому я расскажу, что, движимый состраданием, я сам помешал ей утонуть, для того, чтобы потом попросить тебя и цезаря сжалиться над осужденной. Но Агриппина дурно отплатила за это сострадание. Теперь я отправляюсь для того, чтобы после нового убийственного покушения преступницы арестовать ее, но не умерщвляя, ибо умерщвление императрицы-матери противно моим чувствам. Конечно, я ее все-таки убью, но императору будет сообщено, что она сама убила себя при аресте...

Тигеллин отступил на шаг.

— Аницет, — сказал он, — я беру назад мое оскорбительное сравнение. Ты не пеликан на суше. Клянусь гордой Эпоной, твоя находчивость поразительна! Она наверное возвратит нашему Нерону его прежнее спокойствие, а так называемые угрызания совести на престоле, право, неуместны.

— Да и для Пoppеи выгоднее, если это будет иметь вид самоубийства, — продолжал Аницет. — Или ты не полагаешь, что у нее есть мысль?..

Он остановился.

— Мысль?.. Какая? — спросил агригентец.

— Достойный Тигеллин, я не решаюсь! Здесь, в Байе, и у стен есть уши!

— Вздор! Со мной ты можешь быть вполне откровенен. Ты подразумеваешь, что Пoppея мечтает сделаться императрицей и соправительницей всемирной монархии?

— Это предположение весьма близко к истине. Поэтому согласись, что если смерть Агриппины будет хоть отчасти приписана ее стараниям, это может до такой степени восстановить против нее цезаря с его своеобразными странностями...

— Превосходно! — сказал Тигеллин. — Не понимаю, как мы раньше не подумали об этом самоубийстве. Слушай! Что это?

— Шаги моих солдат! — отвечал начальник флота. — Да, «чайки» не заставляют Аницета ждать себя. Будь здоров, Тигеллин, и не медли с умерщвлением посла!

— Не беспокойся! Раньше, чем вы выйдете на улицу, он уже будет трупом. Желаю тебе полной удачи! Если же ты и на этот раз промахнешься, то уж прямо сам пронзи себя мечом!

Глава II

Моряки дожидались в вестибюле. Это были все сильные, загорелые молодцы, на лицах которых была написана отчаянная отвага. У большинства на поясе висели мечи; некоторые были вооружены копьями и палками. Аницет, без дальних проволочек, быстрым маршем повел их на широкую военную дорогу, ведущую в Баули.

— Солдаты, — сказал Аницет, когда они вышли за город, — Рим рассчитывает на вас! В течение семи лет вы будете получать тройное жалованье, если исполните то, что я поручу вам. Беретесь вы за это?

«Чайки» выразили ему свою преданность.

В коротких словах объяснил Аницет суть дела, прибавив, что, учитывая чрезвычайную впечатлительность цезаря, необходимо прикрыть истину.

— Да здравствует император! Да здравствует наш славный Аницет! — вскричали моряки.

Обернувшись, начальник флота увидел шагах в ста позади его отряда красивую женскую фигуру в развевающейся тунике.

То была маленькая, чернокудрая Хаздра.

Аницет, предполагая, что она спешит к нему с поручением от Тигеллина или от Пoppеи, остановил солдат.

— Что тебе нужно? — спросил он, когда запыхавшаяся девушка приблизилась к нему.

— Ничего важного. Я хочу идти с вами в Баули. Я знаю все. Я хочу присутствовать... при ее умерщвлении.

— Пoppея разрешила тебе это?

— Нет. Но я слышала, как Тигеллин рассказывал моей госпоже о вашем плане. Вы должны убить нечестивую Агриппину.

— Прошу тебя, молчи! — возразил Аницет. — Или тебе не дорога твоя голова?

— Напротив. Я буду молчать. Но я должна идти с вами... во что бы то ни стало.

— Вздор! К чему нежной девушке присутствовать при таких делах? Возвратись спокойно домой! Слышишь? Я не потерплю этого.

— Не будь так груб, господин! Если я сказала, что хочу так, то по-моему и будет!

— Сумасшедшая девушка! Ты ставишь меня в крайнее затруднение. Прохожие уже обращают внимание на тебя. Ты известна всей Байе под именем хромой кобылы. Оставь нас! Я приказываю тебе.

— Господин, я пойду с вами. Это так же верно, как то, что над нами расстилается небосклон. Не вращай так глазами: это тебе не поможет! Если ты сию минуту не согласишься, то я подниму крик, который привлечет сюда целые толпы прибрежных жителей. Тогда я расскажу, что ты задумал. Я выдам ваш заговор и скажу, что Пoppея Сабина...

— Ни слова больше! — пригрозил Аницет, схватившись за меч. Он подавил свой гнев. — Если тебе уж так хочется, то, пожалуй, тащись с нами по этой жаре! Но все-таки мне интересно узнать причину твоего безумия. Если ты так жаждешь крови, то ступай на арену!

— Я жажду не крови вообще, но только ее крови.

— Но почему?

— Это мое дело.

Бледная девушка казалась так взволнована, что Аницет счел благоразумнейшим оставить ее в покое. Она скромно удалилась позади отряда, который скорым маршем направился к Баулийской вилле. Нежная, маленькая Хаздра была неутомима. Ни один солдат не превзошел ее в быстроте, выносливости и молчаливом возбуждении. Она ни разу не напилась, хотя высохший язык ее прилипал к гортани. Казалось, она дала обет мстительному божеству своей родины утолить мучительную жажду не раньше, чем на нее брызнет живительный источник из открытых жил ее смертельно ненавидимой противницы.

Действительно, финикианка слегка шевелила губами, как бы произнося молитву.

«Непостижимый Мелькарт, — быть может, страстно шептала она, — окажи мне еще одну милость! Страшное божество, которому земля служит подножием и дыхание которого подобно вздымающей песок буре, позволь и мне принять участие в этом мщении! Мое раненое сердце вызывает к тебе, тело мое разбито, я превратилась в пустыню с тех пор, как потеряла его. Ты сам заповедал нам: не терпите подобно псам, смиряющимся перед высокомерием своих мучителей! Ты сам учил нас: два ока за одно и жизнь за два! Мелькарт, обожаемый в Цоре, Берите и Садоне, разрушитель лжи, покровитель справедливости и верности, поддержи меня!»

Так она шла, не поднимая устремленных в землю глаз, подобная галлюцинирующей, совершенно поглощенной своим блестящим видением.

В четвертый час пополудни отряд прибыл к цели.

Аницет приказал оцепить виллу, а сам, со своими сильнейшими солдатами, бросился в остиум.

Немногие сторожившие здесь преторианцы были скоро изрублены. Площады не давали никому.

Вслед затем на каменных плитах раздался шорох складчатого подола паллы.

Агриппина гордо вошла в атриум. Она мгновенно сообразила, что час ее пробил. Представившееся ей зрелище было более, чем красноречиво. Довольно было одного Аницета с его широким, низким лицом висельника.

Теперь оказалось, что эта царственная женщина, несмотря на весь ее разврат и преступления, обладала в большей мере полузабытым героизмом древних республиканцев, нежели большинство ее современников-мужчин.

В глазах ее вспыхнул гнев.

— Что вам нужно? — твердо спросила она.

— Тебя, жалкая тварь! — вскричал грубый кельт, бросаясь на нее и нанося ей жестокий удар палкой по лбу.

Императрица зашаталась и слегка простонала.

Потом, царственным жестом обнажив свою грудь, она произнесла с невыразимой горечью:

— Пощадите мою голову: в ней всегда жили мысли о величии Рима! Но сердце мое вы можете пронзить: под ним я носила матереубийцу!

Аницет, потрясенный вопреки своей низкой натуре, сердито удержал матросов, хотевших толпой кинуться на нее.

— Гело, покончи с ней! Да не промахнись! — шепнул он стоявшему рядом с ним белокурому гиганту.

Солдат выхватил меч.

Между тем бледная, дрожащая Хаздра незаметно проскользнула в колоннаду, чтобы напасть на Агриппину сзади. Подобно бешеной волчице прыгнув на спину несчастной, она глубоко вонзила ей в затылок свои острые зубы, в то же время запустив ей в горло пальцы, судорожно сжатые, подобно ядовитым зубам змеи.

На мгновение императрица зашаталась при этом нападении. Потом, все еще открывая грудь левой рукой, правой она схватила пальцы Хаздры и стиснула их так, что они сломались.

В то же мгновение гигант-кельт нанес ей смертельный удар. Острый меч с такой ужасающей силой вонзился в ее грудь, что конец его вышел в спине и глубоко воткнулся в бок маленькому чудовищу, несмотря на боль от сломанных пальцев, не выпускаявшему затылка императрицы из своих покрытых пеной зубов.

Агриппина упала без малейшего крика. Полный отвращения, великан-солдат схватил разъяренную Хаздру за волосы и отбросил ее далеко в колоннаду.

— Ты еще слышишь меня, собака Агриппина? — закричала финикианка, снова подползая к трупу. — Это тебе в наказание за Фаракса! Зачем ты украла его у меня? Мало тебе было твоих погонщиков мулов и носильщиков трупов? Проклятая тварь!

Она лишилась сознания. Рука ее была сломана, пальцы раздроблены, из широкой раны ручьем лилась кровь.

— Уберите ее! — приказал Аницет.

Двое солдат осторожно подняли ее.

— Проклятие! — сквозь зубы прошептал он. — Поппея Сабина взбесится на нас. Она была без ума от этой девушки.

Солдаты положили бесчувственную Хаздру на скамью в соседней библиотеке и тотчас же вернулись в атриум.

— Она умерла, господин! — равнодушно сказали они.

— А эта? — спросил Аницет, взглядом указывая на императрицу.

Гело наклонился над своей жертвой.

— И тут конец! — спустя минуту сказал он, выпрямляясь и смотря на властную фигуру, лицо которой даже в смерти сохраняло царственную мощь.

— Роскошная женщина, будь я повешен, и сущая императрица! — вполголоса произнес он. — Будь она белокура, она походила бы на королеву хаттов Гудбару!

Аницет оставил на вилле половину своих людей, поручив им сегодня же потихоньку сжечь на костре оба трупа. Немногие рабы маленькой виллы бежали при появлении моряков, так что сказку о самоубийстве императрицы некому было опровергать. Хаздра же будто бы была убита Агриппиной за ее безмерные оскорбления и брань.

Довольный удачным преступлением, Аницет вернулся в Байю.

На следующее утро вымысел убийцы уже разнесся по далекой Кампанье, до шумных улиц Каэты и тихих розовых садов Пэстума.

Но верил ли кто этому вымыслу?

Глава III

Несчастливая Октавия дольше обыкновенного оставалась на антианской вилле. Вязы уже почти облетели, наступил ноябрь.

Озаренная вечерней зарей, молодая императрица сидела на обитой подушками каменной скамье у лавровой изгороди парка и смотрела на рдевшее пурпуром море. Всегда бледное, как мрамор, лицо ее, казалось, расцвело теперь в отблеске умирающего дня; но отуманенные глаза ее, говорившие о невыразимых страданиях и боязливом изнеможении, свидетельствовали о том, что истинная причина столь продолжительного «отдыха» на вилле заключалась не в замечательно прекрасной погоде и не в очаровании этих блестящих закатов, но в тайном страхе, что она не вынесет новой встречи с торжествующей Поппеей.

У ног Октавии, устремив на нее взор, полный признательности и священного ужаса, лежала отпущенница Актэ, теперь называвшаяся Исменой, в которой никто из обитателей виллы, за исключением лишь Абисса и верной Рабонии, не узнал и даже не подозревал бывшую возлюбленную императора.

— Если бы твои слова оправдались! — после долгого молчания вздохнула Октавия. — Я ждала бы терпеливо целые годы. Но я не верю этому. Я не могу.

— Повелительница...

— Не трудись! — покачав головой, остановила она ее. — Я поумнела теперь. Я поняла, что безумно делать верность обязанностью. Верность — это милость, добровольный дар. Любящее сердце верно без усилия и борьбы. Но все законы мира и заповеди богов не в силах принудить к ней того, кто не любит.

— Но любовь пробуждается, когда исчезает ослепление. Дай же ему узнать, какое сердце бьется в твоей груди, как ты бесхитростна и благородна и как горячо ты обожаешь его! О, я желала бы бурей помчаться к нему, обнять его колени и с восторгом воскликнуть: «Из всех женщин в мире одна Октавия достойна разделить твою судьбу!» Но это не годится. Это значило бы постыдно осквернить твою божественную чистоту: ибо сама я святотатственно грешила против твоего счастья, не менее чем Поппея, превосходящая меня только лишь своей ненавистью и властолюбием.

— Молчи! Ты искренно раскаялась! — отвечала Октавия. — Да и что мне прощать тебе? Что ты взяла его, когда он сам отдался тебе в страстной любви? Или ты скажешь, что расставляла ему сети, как Поппея Сабина?

Она подперла голову рукой.

— Белокурая девушка, — немного помолчав, произнесла она, — я сделаю тебе тяжелое признание: я завидую тебе, Актэ!

— Ты меня уничтожаешь! То были грех и предательство, а не счастье! О, истинное счастье заключается в добродетели, так постыдно попоранной мной! Ты, святая, хотела бы поменяться с отверженной? Какое безумие!

— Я завидую тебе! — повторила Октавия.

— Значит, ты еще любишь его! — с торжеством воскликнула Актэ. — А десять минут тому назад ты утверждала, что нет! Но я вижу, ты любишь вопреки его вероломству и ужасным деяниям, о которых до нас доходят слухи...

— Пощади меня! Все это мне отвратительно. Я умираю от стыда. А все-таки... мне сдается, что любовь

бессмертна.

Снова наступила долгая пауза. Актэ сидела задумавшись.

— Повелительница, — сказала она наконец, — позволь предложить тебе вопрос, от которого я с большим трудом удерживаюсь уже много дней?

— Говори!

— Что отвечала ты на позорное письмо Поппеи?

— Ничего.

— И ты намерена...

— Спокойно сохранить мои права. Видишь ли, так у меня все-таки останется еще хоть одно! Когда он пресытится разгулом, когда устанет от безумных оргий в кругу этого презренного общества, тогда, быть может, им внезапно овладеет сознание страшного одиночества и в нем проснется тоска по искренно любящему сердцу, близ которого он мог бы найти успокоение. Тогда, добрая Исмена, я буду в праве предложить ему тихое, дружеское убежище. Если же, из трусости или от утомления, я приму предложение его любовницы и соглашусь на развод, тогда я потеряю все, все! Поппея сделается его женой перед людьми и богами, и когда он проснется от своего безумного ослепления, ему останется одно лишь отчаяние.

Актэ поднялась. Глаза ее были полны слез.

— Как горячо, как усердно буду я молиться, чтобы все изменилось к твоему благу! — сказала она.

— Доброе создание! — с улыбкой отвечала Октавия. — О, я ведь также знаю, что ты... молишься не без внутренней борьбы.

Актэ вспыхнула.

— Повелительница, ты заблуждаешься, — стыдливо прошептала она. — Поверь мне: без радости вспоминаю я о прошлом, подобно тому, как наш великий апостол Павел вспоминает о безумии Савла.

— Так зачем же ты плачешь? Сядь лучше и расскажи еще что-нибудь об этом божественном человеке. Вчера ты упомянула, что он в Риме.

Актэ вытерла глаза и щеки. На ее прелестном, розовом личике вспыхнуло яркое пламя вдохновения.

— Я слышала это от Абисса, — отвечала она, садясь на дерновую кочку. — Павел пришел туда в день календ. Священники и ученые в Иудее принесли на него жалобу, и прокуратор Феликс хотел судить его. Но Павел воспользовался своим правом римского гражданина и пожелал представить свое дело на рассмотрение императора. Вследствие этого Феликс под стражей прислал его в Рим. Но он был освобожден раньше, чем дошло до судебного разбирательства. К этому побудил цезаря Тигеллин, ненавидящий иудейских священников за то, что Поппея усердно покровительствует им. Но я скорее думаю, что великого апостола просто не в чем было обвинить. Он остался пока в столице проповедовать учение Назарянина и распространять на труждающихся и обремененных небесный мир, стоящий выше всякой мудрости.

— Я хотела бы послушать его, — сказала Октавия. — Многое из твоих рассказов о распятом Иисусе хотя и кажется мне непостижимым, но я поражена Его любовью и многотерпением. В минуты отчаяния, когда мне казалось, что я не могу больше выносить мое несчастье, Он служил мне примером, и при твоих коротких рассказах мной часто овладевает неземное спокойствие. Тогда я спрашиваю себя: что если все это не сказка верующих людей, а действительное, обретенное наконец спасение?

— Повелительница, это не сказка, но единая истина Всемогущего Бога, — прошептала Актэ. — Без милосердия Отца Небесного и искупляющего предстательства Иисуса Христа, о, как могла бы я перенести все это!

Она остановилась и в неопишемом смущении опустила глаза.

Ведь Октавия должна была оставаться в убеждении, что греховный сон прошлого позабыт ею! А вместо того, кающаяся грешница с поразительной ясностью обличала всю глубину и силу, с которой это прошлое еще коренилось в ее сердце! С неприметным вздохом Октавия взглянула на блестящие волосы, золотыми волнами падавшие на лоб смолкнувшей девушки.

Со стороны перистилия раздались шаги. Величавая, высокая мужская фигура остановилась на пороге постикума, вопросительно оглядывая парк.

Октавия тотчас узнала агригентца. Он же еще не приметил ни ее, ни Актэ.

— Спрячься, девушка! — испуганно сказала Октавия. — Если он увидит тебя, ты погибла! Его приятельница Поппея не успокоится, пока ты жива.

Актэ скрылась в кустах.

Почти в то же мгновение агригентец увидел молодую императрицу, сделавшую вид, как будто она в задумчивости смотрит на багряное море.

Осторожно приблизившись, он поклонился ей вежливее, чем намеревался.

— Повелительница, — сказал он, — я имею сообщить тебе, что ты обличена...

Октавия встала и с нескрываемым презрением устремила взор на человека, которого давно уже ненавидела и боялась, как демона, губящего императора.

— Что это значит? — холодно спросила она.

— Притворство бесполезно, — возразил Тигеллин. — Коротко и ясно: ты обвинена в нарушении супружеской верности с твоим рабом Абиссом.

Горячий румянец стыда залил лицо императрицы.

— Ты бредишь. Я обвинена?

— Ты, Октавия, супруга императора.

— Кем же? — дрожа от гнева, продолжала она.

— Императором, само собой разумеется.

— Ты лжешь. Нерон еще не настолько погряз в тине порока. Эта смешная клевета выдумана тобой и Поппеей.

Софоний Тигеллин пожал плечами.

— Повторяю, что все открыто. Давно уже вас сильно подозревали, еще со времени твоей болезни, когда Абисс так... усердно выслушивал тебя...

— О, презренные! — вне себя вскричала Октавия, ошеломленная этим наглым извращением хода событий. — О, презренные! О, гнусные клеветники! — снова простонала она, закрывая лицо руками.

— Во имя Геркулеса, не жеманься! Если ты умна, то немедленно же сознайся во всем. Таким образом ты избавишь себя и императора от страшного позора, а твоих отпущенников от пытки.

— От пытки? — воскликнула потрясенная Октавия. — Так вы еще не отказались от этого постыдного

безумия?

— Закон для нас священен, — значительно сказал сицилианец.

Молодая императрица переживала жестокую борьбу. Она знала, что ей нет спасения. Лишь немногие могли устоять против страшных мучений пытки. Самые невероятные показания исторгались у пытаемых в то время, когда беспощадное орудие палача терзало их члены. Поэтому она не сомневалась, что сенат признает ее виновной. Может ли она, — совершенно бесцельно, — навлечь такую беду на своих домашних, почти без исключения бескорыстно преданных ей?

Однако она все-таки не могла согласиться на требование Тигеллина. Никогда, никогда не решится она ложным признанием запятнать свою честь женщины; благородная натура ее возмущалась против этого.

— Я не верю тебе! — после долгого колебания воскликнула она. — Но даже если бы ты говорил правду и действительно пришел бы от Клавдия Нерона, все-таки он раскаялся бы в последнюю минуту. Невозможно ведь, чтобы он серьезно сомневался в моей верности ему! Невозможно! Пойди и скажи ему так!

— Твой выбор не разумен. Сознайся ты спокойно в том, что будет постыдно для тебя доказано публичным процессом, клянусь Геркулесом, ты выиграла бы гораздо больше! Суд постановил бы решение о разводе, но император оказал бы тебе милость... Теперь же... Ну, сама увидишь...

— Я вижу только одно: что подлость сильнее добродетели!

— Фразы! Теперь, именем императора, я повелеваю тебе: созови в перистиль всех свободнорожденных и отпущенников, живущих на вилле. Рабы, по закону, не могут свидетельствовать против тебя.

— Ты повелеваешь мне?

— В силу моего полномочия.

— А я отказываюсь повиноваться.

— Мне все равно! — засмеялся агригентец. — Я пойду сам, я зашел уже так далеко в этом грязном деле, что мне ничего не стоит сделать еще несколько лишних шагов.

Он повернулся было к дому, но вдруг остановился.

— Есть еще средство спасти тебя, — тихо сказал он.

— Спасти меня! — с несказанной горечью усмехнулась она.

— Я не шучу. При настоящих обстоятельствах ты погибла. Поэтому брось этот тон оскорбленного величия и выслушай меня!

Октавия задумалась. Что доброго мог посоветовать ей этот предатель? Но ведь несчастье уже висело над самой ее головой... Может быть... как знать...

— Какое же это средство? — нерешительно спросила она.

— Осчастливь меня так же, как ты осчастливила твоего раба Абисса, — сквозь зубы прошептал он.

— Я?.. Осчастливила?.. О, я понимаю тебя!..

— Тем лучше! Согласись... быть благоразумной, и если ты подаришь мне хотя один лишь сегодняшний день, то... я удостоверю, что ты вполне невинна относительно Абисса.

— Негодяй! — побледнев, вскричала она.

— Ты противишься? — тихо спросил он, с грубой фамильярностью положив ей на плечо руку.

— Не прикасайся ко мне, выродок человечества! Я предпочитаю умереть от руки палача...

— Смерть от руки палача далеко не так приятна, как объятия любви.

— Прочь! — повелительно произнесла Октавия. — О, если бы Клавдий Нерон знал это!

— Он никогда ничего не узнает. А если бы и так: разве он когда-нибудь осведомляется о тебе или о том, что ты делаешь? Позволь мне говорить откровенно, о, благородная Октавия! Ты так трогательно прекрасна в твоём страдании, что во мне проснулась жалость к тебе и к себе. Да, все это ложь. Ты чиста, как снег. Поппея Сабина измыслила это страшное обвинение из ненависти к тебе; она решилась во что бы то ни стало избавиться от тебя. Обуреваемый неутомимой жаждой мщения, я предложил ей руку помощи за то, что ты некогда прогнала меня, как нищего. Слушай, что я скажу тебе! Любовница императора будет позорно изобличена, навеки свергнута со своей блестящей высоты, если ты загладишь твою прошлую резкость. Взвесь спокойно то, что я тебе предлагаю, и то, чего требую. Я люблю тебя, прекрасная Октавия! Я обворочен твоими мечтательными глазами! Будем друзьями! Будем наслаждаться тем, чего никто не может воспретить нам! Так ты спасешь и себя и меня. Постарайся обсудить все хорошенько. Прежде ты еще могла надеяться: теперь же все потеряно. Ты давно уже не супруга цезаря. Нет, Октавия! Ты только беспомощно жалкая жертва его возлюбленной! Так кому же сохраняешь ты верность? Призраку воспоминания? Наглой Поппее? Мраморным колоннам вашей спальни?

— Самой себе, — с достоинством отвечала Октавия.

На мгновение агригентец окаменел. Никогда в жизни он еще не говорил так серьезно и никогда с уст его не лился такой звучный поток красноречия. А это юное создание двумя словами в прах уничтожило его!

Он попытался снова уговорить ее, то лстя, то угрожая и, наконец, оставил ее, кипя гневом. Октавия не отвечала ему больше.

— Тебе еще хорошо достанется! — скрежетал он зубами, уходя. — Как знаешь! Пусть исполнится твоя судьба!

Пожимая плечами, прошел он через постикум в колоннаду, где пятнадцать сопровождавших его солдат мирно болтали со служанками. Ни один из них не знал о цели их неожиданной экспедиции.

— Беги! — обратилась рыдающая императрица к выступившей из-за кустов бледной, дрожащей Актэ.

— Бежать! Ни за что! Я буду свидетельствовать за тебя.

— Какой от этого прок? Думаешь ли ты, что хоть один человек поверит в мою виновность? Но меня все-таки осудят, будешь ли ты молчать или говорить, потому что сенат пресмыкается пред Тигеллином. Беги, заклинаю тебя!

— Повелительница...

— Ты хочешь изведать пытку, безумная мечтательница?

— Чтобы поддержать тебя, да!

— Но я, Октавия, запрещаю тебе это. Актэ, Актэ, избавь меня от безграничного унижения! Или ты не понимаешь? Ты, его... бывшая возлюбленная?..

Актэ побледнела.

— Да, ты права, — печально сказала она. — Прости мой необузданный порыв... Грешница Актэ должна скрываться, но когда все пройдет, когда ты восторжествуешь, о, позволь мне вернуться! У меня ведь нет иной родины на земле, как здесь, у твоих ног!

— Что бы ни случилось, верь в мою дружбу! Но так как никому неведома воля богов, то запасись

деньгами! Я спешу в перистиль, куда презренный агригентец сзывает моих домашних. Я задержу его. Ты же проберись позади пиний и проскользни в окно. В моей спальне стоит сундук. Вот ключ! Возьми все, что тебе нужно. Скорее, скорее! Я впаду в отчаяние, если они схватят тебя...

Актэ снова скрылась среди лавровых кустов.

— Прощай! — вздохнула Октавия. — На сердце моем лежит смертельная тяжесть. Я предчувствую худшее.

— Молись! — прошептала Актэ. — Но не Юпитеру, а Господу Иисусу Христу!

— Попытаюсь!

— Дай руку еще раз! Скажи, многолюбимая повелительница, точно ли ты простила меня от всего сердца?

— От всего сердца.

— Так я спокойна. Небесный Отец наш не может оставить без награды столь великую доброту.

Глава IV

Два дня спустя начался тот страшно-позорный процесс, подобный которому едва ли найдется в истории мира.

Софоний Тигеллин, именем императора, выступил обвинителем.

Его получасовая, искусно составленная и полная грязнейших подробностей речь ясно указала отпущенникам Октавии направление, которого они должны были держаться в своих показаниях, если хотели избежать «подбадривания» посредством палачей.

Закончив свои разглагольствования лицемерным выражением печали, Тигеллин вновь потребовал от бледной, как статуя, Октавии полного признания.

— Ты видишь здесь, — говорил он, — умудренных житейской опытностью мужей и старцев, краснеющих от явного позора твоего поведения. Они пережили многое, но никогда еще не встречали подобной гнусной, грязной дерзости. Тем не менее высокое собрание будет просить за тебя императора, из уважения к твоему знаменитому происхождению, если только ты сознаешься.

— Я невинна, — возразила Октавия, против ожидания, совершенно спокойно. — Все, что здесь говорится — клевета, презренное лжесплетение, не способное обмануть собравшихся отцов отечества!

— Конечно нет! — раздался звучный голос.

То был достойный стоик Сораний.

— Нет, клянусь Юпитером! — прибавил Тразеа Пэт. — И в доказательство я заявляю раньше продолжения этого дела, что я сочту себя счастливым, если светлейшая императрица окажет мне милость и изберет своей компаньонкой мою четырнадцатилетнюю дочь.

По залу пробежал ропот изумления. Всем известны были нравственная строгость этого сенатора и почти мучительная заботливость, с которой он воспитывал своих, отличавшихся красотой, детей.

— Не раздражай его! — шепнул сидевший справа от него Флавий Сцевин. — Одного взгляда на эти испуганные лица достаточно, чтобы убедиться в невозможности бороться с роком. Невероятное совершится; чистейшая и целомудреннейшая из всех женщин, когда-либо живших в Палатинуме, будет осуждена трусливым, вечно угодливым большинством.

— Но разве я могу молча перенести это преступление!

— Нет, Тразеа! При голосовании мы громко и внятно для всего народа произнесем: «Не виновна». Только открытая враждебность преждевременна. Или ты хочешь, чтобы он тайно умертвил немногих носителей идеи освобождения? Мне кажется, нам предстоит высшая цель. Поверь, и моя кровь кипит не меньше твоей! Но я сдерживаюсь. Час возмездия пробьет в свое время.

— Ты прав. Тише, мой Флавий! Наш шепот, по-видимому, интересует этого плешивого, там в углу.

— Родственника агригентца?

— Разумеется, это ведь противный Коссутиан. Со времени раздора с киликийцами он зол на нас, как демон.

Софоний Тигеллин отвечал на выходку Тразеа Пэта презрительным пожатием плеч и, не заботясь о движении в рядах сенаторов, перешел к допросу свидетелей.

Отпущенники Октавии вводились поочередно.

Первым явился красавец-юноша по имени Алкиной, мертвенная бледность которого изобличала его невыразимый испуг.

Благодаря доброте молодой императрицы он скопил достаточно денег на покупку маленького поместья, где он собирался поселиться после женитьбы на горячо любимой им тринадцатилетней Лалаге.

И вот перед самым порогом счастья он должен был отдать на растерзание свое тело, свидетельствуя о невинности Октавии, быть может, совершенно бесплодно, если другие под пыткой признают ее виновной.

Ужасная дрожь пробежала по его членам, когда Тигеллин обратился к нему с вопросом:

— Отпущенник, что тебе известно о противозаконных отношениях между супругой императора и тем грязным египетским псом?

— Господин, — отвечал юноша, бросив испытующий взгляд на приготовившегося палача, — я... это очень может быть... я слышал...

Но совесть вдруг неудержимо заговорила в нем.

— Рвите меня на куски! — сжимая кулаки, крикнул он. — Моя повелительница чиста, как солнце! Отцы отечества, имеющие жен и дочерей, можете ли вы сомневаться, только взглянув на это чистое, невинное лицо? Египтянин Абисс всегда был ее верным слугой, как и все, жившие в ее доме, но разве он дерзнул бы?.. Это невыносимо!

— Посмотрим, останется ли отпущенник Алкиной при своем показании! — произнес агригентец, сделав знак палачу.

Подождевшие рабы изумительно тихо схватили жертву и растянули ее на продолговатой стальной машине, называвшейся «Прокрустовым ложем».

— Она невинна! — непрерывно повторял Алкиной.

Винт повернулся.

— Еще! — приказал Тигеллин.

Почти теряя сознание от страшной боли, юноша отчаянно закричал.

— Пощадите! Пощадите! Я все скажу!

— Отпустите немного!

Винт отпустили на один оборот.

— Освободите меня! — продолжал он пронзительно кричать.

По знаку Тигеллина, палач освободил его.

— Сознаешься? — спросил агригентец.

— Да.

— Ты застал преступницу?

— Да.

— Она старалась подкупить тебя.

— Да.

— Дала тебе денег?

— Да.

— Сколько?

— Не знаю. Сто тысяч динариев.

— Хорошо! Это важное показание. Можешь идти.

Юноша удалился с опущенной головой. Вдруг он обернулся и торжественно поднял правую руку, еще дрожавшую после пытки.

— Все-таки она невинна! — громовым голосом воскликнул он.

— Ты отказываешься от своего свидетельства? — усмехнулся Тигеллин. — Ну, мы это еще разъясим. Схватите его, люди! Но прежде выслушаем остальных.

Следующий свидетель был красивый сорокалетний человек, имевший жену и ребенка.

— Не трудитесь понапрасну, — равнодушно обратился он к помощникам палача. — Моя госпожа невинна. Можете растягивать меня или нет, я останусь при своем. Хороша была бы верность, из-за боли превращающаяся в ложь. Берите меня! Атений не страшится тех, кто умерщвляет одну лишь плоть.

Во время пытки он не сморгнул, а единственные слова, которых можно было от него добиться, были: «Она невинна».

Раздраженный мужеством вдохновенного назарянина, Тигеллин хотел усилить мучения и разбить его растянутые члены железным пестом, начиная с ног.

Но этому воспротивился Тразеа Пэт.

— Как? — с жаром вскричал он. — Вы восхищаетесь Регулом, противостоявшим раскаленным лучам африканского солнца, и прославленным в песнях Муцием, с улыбкой обуглившим на огне свою руку, и в то же время хотите наказывать смертью такую необычайную твердость? Римляне ли вы еще, или Иудее придется посылать нам учителей для того, чтобы вы постигли, что значат чувство чести и божественное мужество?

Магическое напоминание о римских героях возымело свое действие. Трое сенаторов из числа обыкновенно столь покладистого большинства почтительнейше просили «снисходительного, доброго Тигеллина» прекратить дальнейший допрос бывшего раба.

Непоколебимый Атений был отпущен.

С подобным же упорством две трети свидетелей опровергли бессовестное обвинение, называя его клеветой; они выказали геройство Муция Сцевола и верность Регула. Казалось, что древнеримская доблесть, еще жившая в сердцах едва ли полудюжины сенаторов, вселилась в сердца этих низменных, безвестных людей для того, чтобы не дать выродившемуся человечеству отчаиваться в самом себе. Немногие домочадцы Октавии, не перенесшие пытки и свидетельствовавшие против нее, не имели почти никакого значения.

Тигеллин кипел яростью, хотя притворялся перед сенатом, что считает виновность подсудимой несомненно доказанной.

Последняя свидетельница, повлеченная на пытку, была суровая Рабония, ибо ни женщины, ни девушки не были избавлены от этой страшной судебной повинности. Так как Рабония слыла ближайшей поверенной Октавии и вследствие этого ее показание имело значительную важность, то агригентец приберег ее к концу, предупредив палача, чтобы он начал с самой мучительной пытки.

Но верная Рабония также ясно сознавала лежавшую на ней великую ответственность и решила

лучше умереть, чем допустить хоть легкое пятно на имени своей госпожи.

На все вопросы Тигеллина она дерзко отвечала: «Нет, негодяй!»

Все сильнее растягивали палачи ужасное ложе. Правая рука несчастной разорвалась, смертельно бледная голова ее бессильно свесилась на грудь, и она лишилась чувств. Но придя в себя и услышав голос Тигеллина, дрожащими губами произнесшего: «Сознаешься ли ты, наконец?», — она по-прежнему неустрашимо отвечала: «Нет, негодяй!»

— Прочь отсюда сводницу! — прошипел агригентец, позабыв свои аристократические манеры.

— Несите ее в мой дом, если это позволено! — воскликнул стоик Тразеа. — Мои врачи позаботятся об этой искалеченной женщине, героизм которой внушает мне уважение. Да, я уважаю ее, собравшиеся отцы, хотя в то же время допускаю, что она не очень вежливо обращалась с высокопочтенным поверенным императора!

Тигеллин промолчал.

Когда окончились ужасные сцены этого отвратительного допроса, поднялись защитники: сначала Бареа Сораний, потом Тразеа Пэт.

Оба ограничились указанием на факт, что во всем высоком собрании положительно никто не верил в виновность Октавии.

— Клянусь богами! — заключил Тразеа свою короткую речь. — Этот процесс был вовсе не нужен для доказательства неприкосновенной добродетели императрицы. Но если, вопреки всякому рассудку, кто-нибудь сомневался в возвышенности ее образа мыслей, в беспорочности ее жизни, в незапятнанной чистоте ее души, то показания свидетелей лишь подчеркнули всю оскорбительность таких сомнений. Тигеллин в похвальном усердии услужить своему повелителю и императору, очевидно, зашел слишком далеко. Доносам низких шпионов и ядовитых клеветников он придал больше веса, чем бы следовало. Теперь он убедится, что его постыдно обманули. Никакой подсудимый не выходил из заседания суда с большей славой, чем Октавия, сестра благородного Британника. Новый, высший блеск озаряет ее небесную главу. Доселе она была кротчайшая императрица, лучшая, совершеннейшая женщина, теперь она стоит перед нами, подобная бессмертной богине. Отцы, молитесь за нее о милости!

Действительно, ни один сенатор не верил в ее виновность, но всякий понимал смысл этой комедии. Император или по крайней мере Пoppея Сабина и всемогущий Тигеллин желали расторжения брака Октавии с Нероном. Сознания этого было довольно для сенаторов, уже много десятков лет заботившихся о своих собственных выгодах гораздо больше, чем о поддержании справедливости и общественной нравственности.

Итак, вопреки очевидности и здравому смыслу, подавляющее большинство объявило нарушение супружеской верности доказанным и постановило решение о разводе: египтянин Абисс был приговорен к смерти, а императрица осуждена на изгнание. Вилла в Антиуме должна была сделаться ее темницей на всю жизнь. Для предупреждения же в будущем ее позорных походов, цензоры приставят к ней особую нравственно-исправительную стражу, приказанием которой она должна повиноваться беспрекословно.

С разбитым сердцем выслушала несчастная императрица этот ужасный приговор; она как бы окаменела и ни одна слеза не выкатилась из-под ее ресниц.

Тогда Тразеа Пэт, торжественно подойдя к ней, склонил голову и благоговейно поцеловал кайму ее паллы.

— Еще раз, — взволнованно произнес он, — я прошу у тебя позволения прислать к тебе мою дочь. Желая, чтобы она стала такой же, как ты, даже если бы ей пришлось заплатить за это подобие несчастьем

еще большим, чем то, которое выпало тебе на долю!

Октавия не могла говорить. Она взглянула на него полным признательности взором, глубоко проникшим в его душу.

Вслед за тем преторианцы увели ее. Экипаж, долженствовавший отвезти ее в Антиум, уже стоял у подъезда.

— Умерь свою дерзость! — шепнул полный ненависти голос за спиной Тразеа Пэта.

Стоик обернулся. То был Коссутиан, которого он, по поручению киликийцев, некогда уличил в подлоге.

— Я понимаю тебя, — усмехнулся Тразеа, — но не боюсь ни тебя, ни твоих родственников, выпросивших у императора помилование за твое преступление. Есть святотатства, обращающие каждый камень мостовой в пылающих гневом борцов за оскорбленное право. Вы лукавы как коршуны, но этот приговор был безумным мальчишеством. Вспомните обо мне, когда он вам отзовется!

Глава V

Предсказание Тразеа оправдалось очень скоро.

Постыдное окончание этого неслыханного процесса произвело на народ впечатление пощечины, как бы горевшей на лице каждого римлянина.

Октавия осуждена!

Это было слишком! Римский народ, молча смотревший на все выходки двора, как бы по внезапному соглашению начал выражать негодование на бессовестное поношение кроткой, благородной страдальцы.

Можно было подумать, что это современники несчастной Виргинии повсюду собирались теперь группами, произнося проклятия, жалобы и угрозы и, наконец, с уничтожающим единодушием давно подготовленного восстания, провозгласившие лозунг: «Да здравствует Октавия! Долой развратницу Поппею Сабину!»

Наиболее деятельной силой этого бурного, неожиданного возмущения оказалось женское население Рима.

Начиная от последних рыбацких хижин на склоне Авентинского холма до вилл Садовой горы и Мильвийского моста, всюду центром оживленных групп были женщины, то в платье мещанок, страстные и резкие в их диком красноречии, то аристократки в белоснежных, развевающихся паллах, с ярко-красными флам-меумами на искусно подобранных волосах, с величавыми, мягкими манерами. Супруга жалкого сенатора заявила протест против лживого вердикта своего мужа; жена презренного помощника палача обличала преступления мучителей. И, наконец, подстрекаемые сотнями тысяч женщин, считавших свои священнейшие чувства смертельно поруганными, отважнейшие из мужчин двинулись шумной толпой к Палатинуму и громовым голосом потребовали возвращения Октавии.

К ним присоединились новые массы народа.

Отряд городских солдат, сойдя с лестницы капитолийского холма, бросился навстречу бурному людскому потоку.

— Остановитесь! — крикнул начальник. — Ни шагу дальше, или я велю заколоть вас!

— Стыдись! — вскричал стройный, темноглазый юноша, поднимая кулак.

То был отпущенник Артемидор.

— Стыдись! — звучно повторил он. — Не хочешь ли ты защищать низость против добродетели? Римлянин ты или мемфисский сводник?

— Разойдитесь! — с досадой произнес начальник. — Слышите! Уже раздается военная песня германцев! Вперед, солдаты! Я должен исполнить мой долг! Пустите копья в ход!

— Что правда, то правда! — вскричал один из его солдат. — Императрица невинна, а Поппея закидала ее грязью.

— Я римский гражданин, — сказал другой. — Я не стану драться за развратную Сабину.

— Да здравствует Октавия! — закричал третий.

— Вот так! — торжествовал Артемидор. — Ура, городская когорта!

— Ура, городская когорта! — загремели тысячи голосов. — Привет защитникам Октавии!

Начальник растерянно оглянулся кругом. Вся сотня солдат отказывала ему в повиновении. Шум на

форуме разрастался с каждой секундой. Вдруг Артемидор схватил его за руку.

— Ты еще колеблешься? — голосом вдохновенного ясновидца воскликнул он. — Бессовестный разврат и позор будут наказаны, или мир должен поколебаться.

Одним мощным движением он вырвал меч из его руки.

— Во дворец! — крикнул он, размахивая мечом над головой. — Идите, копьеносцы! Ваше появление, надеюсь, решит дело.

— Городская когорта стоит за Октавию! — слышалось повсюду в толпе. — Дайте дорогу! Это идет их передовой отряд штурмовать Палатинум! Цезарь, выйди в остиум! Поклянись всеми богами, что ты возвратишь Октавии ее права императрицы! Долой проклятую развратницу Поппею! Она затоптала Рим в грязь!

— Долой Клавдия Нерона, если он не покорится! — заглушая весь шум, раздался мощный возглас из середины толпы.

Все обернулись.

Но мстительный назарянин Никодим после своей потрясающей угрозы, мгновенно исчез; казалось, он провалился сквозь землю, бесследно, как призрак.

В Палатинуме господствовало величайшее смущение.

Человек пятьдесят преторианцев, по желанию Поппеи посланные Тигеллином для рассеяния народа, после короткой схватки были частью обезоружены, частью избиты до смерти. Смущение достигло крайних пределов, когда городские солдаты подняли свои угрожающие копья. Тигеллин посылал в главную казарму гонца за гонцом, но ответа все не было. С стремительной поспешностью набрасывал он планы нападения и обороны, но без всякого результата, ибо все зависело от времени прибытия преторианских полков, и еще было неизвестно, приготовились ли они вступить в борьбу с целым ожесточенным Римом.

Он выразил свое сомнение императору. Взволнованным цезарем тотчас же овладел подавляющий страх. Не трусость заставляла его трепетать, но нечистая совесть. Да, народ прав! Преступно было поверить всем этим мнимым доказательствам, как бы искусно ни сплетали их хитрые доносчики.

Тигеллин был обманут: это еще можно допустить.

Поппея была обманута: это уж хуже, ибо именно она, бывшая причиной столь тяжких страданий бедной Октавии, должна была бы приложить все старание для того, чтобы обличить несостоятельность обвинения.

Но что он сам поверил в виновность Октавии, это было непростительным святотатством, ослеплением, которое невозможно искупить!

Но почему же непорочность императрицы была известна всему Риму? Он, цезарь, ведь лучше знал свою Октавию!

О, теперь ему ясно все! Гнусные доносчики рассчитывали оказать Поппее Сабине услугу, за которую она должна вознаградить их с персидской щедростью! Быть может, даже она сама призналась, что Октавия стоит на ее дороге.

И ради этого произошло чудовищное оскорбление, осквернение невинной! Неужели он был слеп? Или теперь над ним исполняется страшная судьба, предсказанная ему Агриппиной: он будет могуч только под ее охраной; без нее же, рано или поздно, он падет...

Да, это так! Его блеск, его божественное могущество должны рассыпаться в прах! Городские солдаты

уже отпали от него; преторианцы, не лишённые чувства чести и сердца, также были возмущены безмерной несправедливостью к кроткой, беззащитной страдальце и могли присоединиться к восставшим... Мысленно он уже слышал мерные шаги их отрядов... Мостовая гудит под их ногами... «Долой Клавдия Нерона!» Остиум осажден... Бурр и Юлий Виндекс врываются в покои... Мечи сверкают в их руках...

«Вот тебе за Агриппину!.. А это за поруганную Октавию!»

Он испустил ужасающий вопль, как будто чувствуя в трепещущей груди холод стального клинка.

— Зачем вы убиваете меня, ведь я сам хотел спасти ее? — простонал он, все еще преследуемый страшным видением, и упал лицом на стол.

Вошедшая Поппея положила ему руку на плечо.

— Успокойся! — нежно произнесла она. — Наконец пришла весть из претории. Бурр внезапно захворал. Но надежный младший трибун ведет через Субуру две тысячи солдат.

— Молчи! — грозно сказал он. — Позови ко мне Тигеллина!

— Что это значит? — с изумлением спросила она.

— Ты это услышишь! Позови Тигеллина!

— Пошли твоего раба!

— Нет! Ты пойдешь! — вскочив, закричал он и схватил ее за горло.

— Ты помешался?

Она высвободилась и стояла перед ним, подобно Беллоне, вдвойне прекрасная, с лицом залитым горячим румянцем.

— Прости! — пробормотал Нерон. — Я не знаю, что отуманило мой мозг... Кассий!

Раб подошел ко входу.

— Да позовите же ко мне Тигеллина наконец! — обратился к нему император таким тоном, как будто он уже дважды бесплодно приказывал ему это.

— Что угодно моему другу и повелителю? — спросил агригентец, входя.

— Возьми глашатая, выйди тотчас же к народу и объяви, что сенат ошибся.

— Как?

— Что сенат состоит из одних лишь выживших из ума глупцов, если это больше нравится тебе. Октавия невинна. Клавдий Нерон цезарь благодарит возлюбленных римлян за то, что они распознали истину, в то время как собрание ослов в Капитолии ревело «виновна!». Ты все еще не понимаешь?

— Понимаю, но...

— Нет никакого «но». Затем ты будешь так добр и пошлешь двенадцать конных преторианцев за моей светлейшей супругой, которую они привезут в Палатинум со всем подобающим ей уважением...

— Ты не шутишь? — побледнев, спросила Поппея. — Цезарь, не поступай необдуманно! Высокое собрание постановило свой приговор. Он неоспорим.

— Я уничтожаю приговор моей императорской властью! Процесса не было. Октавия по-прежнему моя супруга. Ты же...

— Ну? Я? Я?

— Ты же, по требованию справедливости и общественного приличия, оставишь Палатинум... Иди,

Тигеллин! Ты отвечаешь головой за немедленное исполнение моих повелений... Объяви народу, что Пoppея Сабина собирается уже выехать на свою Эсквиллинскую виллу! Что ты медлишь?

Агригентец поклонился.

«Пожалуй! — подумал он. — Внезапная фантазия... или страх перед кричащей толпой! Надолго ли это? Да наконец, если Октавия и вернется, то мое положение слишком упрочено для того, чтобы мне нужно было бояться ее!»

Пoppея Сабина была вне себя. Все, к чему она столько лет стремилась с таким лихорадочным жаром, разрушено одной минутой слабости цезаря! Ее лодка опрокинулась у самого берега! И к чему агригентец действовал с такой утонченной жестокостью? Меньшее усердие принесло бы гораздо лучшие плоды.

— Нерон, — вскричала она, бросаясь к ногам императора. — Я не покину тебя! Лучше умереть, чем уйти отсюда отверженной тобой. Неужели ты забыл, что мне предстоит, неблагодарный? Разве Пoppея не мать ребенка, которого ты так часто в мыслях уже видел обнимающим твои колени и лепечущим слово «отец»?

Она рвала свои волосы и билась лбом об пол.

— Перестань! — сказал император и, потрясенный ее диким отчаянием, поднял ее. — Не сетуй, — продолжал он, — и не сокрушай в конец мое измученное сердце! Нет, Пoppея, я не забыл ничего! Я помню о наших мечтах... Я люблю одну тебя, Пoppея, одну твою небесную красоту, твои жгучие поцелуи...

Он нежно привлек ее к себе. Она обвила его шею и прижала пылающее лицо к его лицу.

Извне зазвучала громкая труба глашатая. Оглушительный шум, царивший на форуме до склонов Целийской горы, уступил место безмолвию. Агригентец громко, сжато и явственно говорил что-то народу. В покое императора не было слышно слов, но после его короткой речи, казалось, дрогнули самые основания дворца. Восторженные крики своей бурной мощью в тысячу крат превзошли едва затихшие восклицания гнева. «Да здравствует Октавия! Да здравствует император!» — гремели возбужденные толпы. Несколько голосов крикнуло даже: «Да здравствует агригентец!»

Между тем Пoppея дрожащими губами прижималась к губам Нерона, вся трепеща от ярости и ожесточения. Поцелуи ее были любовнее и горячее прежнего, ибо она убедилась, что власть ее над ним не уменьшилась нисколько.

— Прощай! — с раздирающим сердце рыданием сказала она. — Я думала, что имя мое глубже запечатлено в твоей груди. Я ухожу, цезарь. Будь счастлив с твоей Октавией!

Он обнял ее.

— Мы увидимся! — сказал он, совершенно очарованный ею. — Будь рассудительна, Пoppея! Разве ты не слышишь их восторженные крики? Если народ требует этого... Скажи, Пoppея! Что значит император без народа?

— Народ! — презрительно повторила Пoppея. — Твоя власть не от народа, но от судьбы, а стены, о которые разбивается напор черни, — это солдаты. Слышишь протяжные звуки труб? Это идут к нам на помощь люди Бурра. Теперь, конечно, после речи агригента уже поздно. О, я вижу тебя насквозь. Твоя любовь к справедливости только маска для пресыщения. Октавия также прекрасна, а жаждущий жизни император любит перемены.

— Женщина, ты бредишь!

— Да, брежу. Не слушай меня! Мне дурно. Мозг мой пылает. Я хотела бы сию минуту задушить тебя этими руками, так беспредельно я люблю тебя, так страдаю от мысли уступить тебя другой, даже чистой,

непорочной Октавии!

Любовная сцена эта была разыграна мастерски.

Схватив цезаря за плечи, она устремила на него взгляд, полный такого соблазнительного, очаровательного кокетства, что он окончательно растаял...

Спустя полтора часа экипаж, посланный увезти осужденную императрицу на ее виллу, снова катился по мостовой Via Sacra. Бесконечные приветственные клики провожали ее.

— Да здравствует Октавия! — гремел весь Рим, и среди этих возгласов, подобно зловещему эхо, по временам раздавалось: «Долой развратницу Поппею!»

Невидимые руки увенчали статуи Октавии, еще во времена императрицы-матери поставленные во многих места города. Воздвигнутые же Нероном статуи Поппеи были сброшены с цоколей, разбиты, запачканы пылью и грязью, или, подобно трупам преступников, сташены к гемонским ступеням.

Приветствуемая Клавдием Нероном, бледная Октавия вступила во дворец.

— Да здравствует император! Да здравствует императрица! — шумел народ, свидетель этой странной, боязливой и безмолвной встречи.

Бесчисленные толпы бросились к общественным алтарям благодарить богов за прекращение раздора в цезарской семье и за полное и совершенное восстановление Октавии в ее неоспоримых правах.

Почти в то же мгновение, как Октавия входила во дворец, Поппея Сабина, под плотной вуалью, проскользнула через палатинские сады к выходу, что вел к Circus Maximus. Здесь ее ожидали носилки. Бросив последний гневный взгляд на блестящий дворец, где она доселе была верховной властительницей, она энергично стиснула губы, прижала руку к сердцу и вошла в свою лектику.

Тотчас же созванное императором собрание сената объявило только что произнесенный его большинством приговор недействительным на основании будто бы нечаянно вкравшейся в его постановление ошибки.

Тразеа Пэт и Бареа Сораний насмешливо выразили собравшимся отцам свою признательность и, каждый по-своему, заключили заявлением, что впредь они отказываются от чести принадлежать к корпорации, дерзающей делать промахи в столь важных делах. Все поняли жестокую насмешку и глубокое презрение под оболочкой язвительной иронии.

Старый враг Тразеа, Коссутиан, бесновался от ярости, так как на его долю со стороны отважного стоика достался уничтожающий щелчок. Тем не менее никто не решился возражать. Стыд, иногда пробуждающийся и в самой продажной женщине, парализовал их лицемерно изолгавшиеся языки.

Глава VI

В течение нескольких часов после свидания с Октавией Нерон был полон серьезного, искреннего раскаяния. Страдания его юной супруги глубоко растрогали его. Он делал себе страстные упреки за чрезмерное легковерие, с которым он принял за истину обманчивую внешность и горевал о неудавшейся, испорченной жизни.

— Октавия, — говорил он ей, в изнеможении лежавшей на подушках в своей комнате, — ты увидишь, как все пойдет хорошо. Ведь я не подозревал, какая ты кроткая, милая! Не плачь, бедная Октавия! Но ты плачешь! Слезы сами собой тихо катятся по твоим щекам. Ты страдаешь, Октавия! Вот, клянусь тебе всеми богами: я дал бы палачу раздробить мою руку, если бы это могло исправить все причиненное мной тебе горе. И я исправлю его, насколько возможно. Тигеллин уже арестовал четырех из гнусных доносчиков. Они изойдут кровью на кресте. Октавия, прости меня! Я не могу жить, если ты будешь иметь что-либо против меня.

Она простила его от всего сердца. Но все пережитое ею в последние печальные годы одиночества и только что перенесенная в заседании суда мука еще слишком сильно угнетали ее, и она не могла позабыть в одно мгновение ужасное прошлое.

— Подождем, не изменится ли твой образ мыслей! — сказала она. — Жертва, которую ты намереваешься принести, быть может, превосходит твои силы. То, что для меня было бы милостью божества, не должно быть для тебя обременительным долгом. Испытай себя, способен ли ты отказаться от счастья, несмотря ни на что бывшее для тебя... все-таки счастьем!

Клавдий Нерон рассыпался в пламенных уверениях. Самоотверженность молодой женщины и глубокая печаль, отразившаяся на ее прелестном лице, до глубины души потрясли его. Робко, как преступник, не достойный такой милости, взял он ее тонкие пальцы и поцеловал их. Потом он погрузился в мрачную задумчивость, из которой его вывел триклиниарх, объявивший, что ужин подан.

Император встал и взглянул на Октавию. Она спала. Щеки ее слегка зарумянились, а на ресницах сверкали капельки слез.

Он разбудил ее и страстно взглянул ей в глаза, как бы снова моля о прощении. Она улыбнулась, поправила волосы, поднялась и, закутавшись в паллу последовала за супругом в одну из отдаленных маленьких трапезных комнат. Нерон, обыкновенно по три раза в день менявший свои роскошные одеяния, сегодня даже забыл переодеться.

Супруги ужинали совсем одни; им прислуживали только несколько рабов, точно в обычной городской семье.

Ни он, ни Октавия не говорили больше, чем то было необходимо; она была молчалива вследствие сильного утомления, он — из болезненной робости перед женщиной, так безгранично оскорбленной им — одни боги ведают зачем!

Октавия ела очень мало. Нерон, обыкновенно любивший хороший стол не менее, чем все другие житейские наслаждения, также не находил вкуса ни в прекрасных цесарках, ни в душистых капуанских плодах.

После ужина они разошлись.

Октавия тотчас же пошла в свою спальню. Несмотря на очевидную перемену в императоре, на сердце у нее было так тяжело, что она хотела бы умереть сейчас же. Ей казалось даже, что она чувствовала себя

спокойнее, тверже и сильнее, когда под гнетом позорного приговора ехала в изгнание в Антиум. Она не чаяла добра от этого неожиданного примирения, сознавая, что побуждения Нерона имели причиной или страх перед возмутившимся народом, или угрызения совести, или просто сострадание. Но, наверное, этой причиной не была любовь — единственное, что могло утешать ее сердце. Однако у назарян было прекрасное изречение, о котором ей говорила Актэ: «Претерпевший до конца спасется!» Она будет терпеть, она испробует все, что только в ее власти. А затем пусть все сложится так, как угодно божеству.

Предоставленный самому себе, Нерон тотчас же ощутил какую-то смутную пустоту, скоро принявшую очень определенную форму.

Его обуяла тоска по Поппее Сабине. Все его измены и похождения не могли затмить той истины, что он был до безумия влюблен в обворожительную лицемерку.

Бессознательной причиной этой демонической страсти было легкое сходство Поппеи в глазах и губах с незабвенной Актэ.

Мысль потерять Поппею, — а он ясно сознавал, что женщина, подобная Октавии, не захочет разделенной любви, — сводила его с ума. Едва лишь вымолив себе прощение Октавии, он уже трепетал перед естественными последствиями своего поступка. Ни рассудок, ни справедливость, призываемые им на помощь, не могли превозмочь в нем это чувство.

Супруга его была прекрасна, молода, благородна, идеал возвышенной женщины: но вся эта прелесть была для него ничто в сравнении с неуловимою чертой, общей у детски-невинной Актэ и развратной Поппеи, и отсутствовавшей в лице Октавии.

Эта черта была для него воплощением сладостной, нежной, любвеобильной женственности; все остальное казалось ему холодным, сухим, мертвым однообразием и, после примирения с Октавией, он чувствовал, как будто стоит на рубеже юности и старости.

Четыре дня провел император в отчаянной борьбе между любовью и долгом. Он не мог ни за что приняться, друзья не допускались к нему, даже Тигеллин и Фаон, явившиеся с докладом о новой кампанской вилле, должны были удалиться, не повидавшись с цезарем. Он сообщался только с одной Октавией. Казалось, он хотел как можно скорее примириться с неизбежностью и приучиться к безрадостному существованию без Поппеи.

Октавия видела его насквозь.

На пятый день она подошла к нему и, без слез, твердо сказала:

— Я убедилась, что ты навеки потерян для меня. Я не сержусь: такова воля богов. Исполни мое единственное желание: позволь мне спокойно удалиться на мою виллу в Антиуме и там окончить мою жизнь. Желая, чтобы Поппея любила тебя так же много, как я!

Она хотела прибавить: «Не доверяй ей слишком! Она любит одну только власть и великолепие Палатинума!», но промолчала.

Несмотря на жалость, охватившую его, и на уважение к геройскому величию этой грустной страдальцы, цезарь все-таки едва мог скрыть радость при неожиданном предложении Октавии. Она высказала давно сознаваемую им истину. Она поняла, что любовь насиловать нельзя. Но из приличия он начал возражать. Он позвал Сенеку и своего поверенного Фаона, чтобы они присоединили свои просьбы к его увещаниям.

Но Октавия не уступала.

Лишившись последней робкой надежды, она в тот же день тихо и незаметно вернулась в Антиум.

«Теперь все кончено, навсегда!» — говорил ее безмолвный прощальный привет и горькая улыбка, полная не упрека, а лишь невыразимой печали.

Медленно, точно похоронная колесница, катился ее экипаж по увлажненной вечерней росой дороге; засохшие виноградные листья шуршали, осыпаясь с террас придорожных вилл; свежий декабрьский ветер протяжно, жалобно завывал в опустевших колоннадах. Октавия оглянулась в последний раз. Позади черной грудой лежал Рим, — могила ее некогда блаженных грез. На склоне Яникульской горы грозно клубилась темная туча. С внутренним воплем и тяжким вздохом обратилась она к своему безрадостному будущему. Нельзя бороться против судьбы и ее предопределений. Так было ей суждено сначала, она должна молча переносить свою долю, без гнева и ненависти, как это угодно богам.

Факелы ее спутников горели все ярче и ярче. Блестящий дождь искр осыпал ее карруцу. Ей казалось, что эта карруца — костер, пламя которого пожирает ее измученное тело. О, если бы смерть была так сладка, так полна спокойствия!.. И вдруг, при мысли о смерти, ею овладел ужас и неописанный трепет — отголосок того страшного возбуждения, которое уже однажды омрачило ее мозг чудовищными видениями. Закрыв глаза, с нечеловеческим усилием старалась она овладеть собой. Наконец тягостный припадок прекратился, и она заснула под мерный шум колес.

Точно также незаметно, Поппея Сабина заняла свое прежнее место в Палатинуме, восторженно приветствуемая тем, кто так недавно еще клялся Октавии, что с радостью готов бы отдать свою кровь, если бы это могло загладить грехи его прошлой жизни.

Октавия же распустила слух, будто покидает Рим по собственному желанию.

Между тем Тигеллин сумел так привязать к себе гвардию, осыпая ее миллионами, что солдаты и большинство офицеров бурно потребовали его назначения себе в начальники после того, как заболевший недавно Бурр внезапно умер.

Таким образом все входило в прежний порядок. Гарнизон императорского дворца был усилен.

Новый главнокомандующий, Тигеллин, заявил, что сущая безделица — разогнать бушующую чернь, если бы она опять осмелилась предписывать законы императору.

Из германских наемников он начал составлять еще девять отрядов.

Нерон, говоря себе, что удаление Октавии из дворца произошло по ее собственному желанию, окончательно успокоил последние угрызения своей совести.

Народ также казался спокойнее, достигнув главной цели своих стремлений: высокомерный Тигеллин вынужден был уничтожить неслыханный приговор.

Что же касается Поппеи, то, по мнению хладнокровных людей, ход событий должен был вполне удовлетворить ее. После отмены вердикта, утверждавшего развод Нерона с Октавией, она, конечно, не могла стать фактически императрицей; но это еще не имело большого значения. Она властвовала над жаждавшим ее любви цезарем безграничнее, нежели когда-либо. Впоследствии можно было опять вернуться к этому вопросу. Быть может, уничтоженную Октавию удастся склонить мирным путем к окончательному отстранению в законной форме.

Но те, кто предполагал в Поппее такие рассудительно-практические соображения, весьма ошибались.

Поппея не соображала, а только чувствовала. Каждый нерв ее трепетал мщением. Никогда не воображала она, что эта жалкая призрачная императрица может быть опасна ей.

Теперь эта невероятная вещь случилась. Октавия восторжествовала над первой красавицей

семихолмного города, хотя всего лишь на несколько дней.

Это решило участь несчастной. Она должна умереть, даже если Поппее придется самой вонзить ей в грудь кинжал.

Прежде всего, Поппея постаралась восстановить свое значение в глазах народа.

Солдаты Тигеллина сорвали венки со статуи удалившейся императрицы и, восстановив свергнутые изображения Поппеи, осыпали их цветами или сжигали перед ними жертвенные дары. Все столичные художники получили заказы новых бюстов из мрамора и металла; то был дерзкий ответ на оскорбления черни.

Сильные отряды преторианцев расхаживали по городу; каждый отряд сопровождало по тридцати мускулистых императорских рабов, вооруженных кроме мечей еще узловатыми бичами. Таким способом подавлялись зародыши новых возмущений и оскорблений. Сенат, через три дня уведомленный цезарем о решении молодой императрицы, тотчас же надел печальную маску, теперь сожалея об уничтожении своего приговора так же рабски, как недавно сожалел о самом приговоре.

Столь невероятное поведение высокого собрания на короткое время внушило гневной Поппее мысль еще раз воспользоваться сенатом для окончательного устранения ее смертельно ненавидимой соперницы. Если она умно поведет дело, то капитолийские угодники снова запоют новую песню и произнесут третий вердикт, вследствие которого императрица все-таки окажется виновной во всевозможных низостях.

Но нет, слишком много чести для этого низкого сброда, если она обратится к его содействию при решении такого важного вопроса.

Она отказалась от этой мысли и решила действовать совершенно одна.

На этот раз Тигеллин также не помешает ей своей нелепой мудростью.

Она с самого начала сказала ему, что его выдумка о связи императрицы с Абиссом большая глупость, во-первых, по своей неправдоподобности, а во-вторых, потому что по римскому праву раб не может свидетельствовать против свободнорожденных. Тигеллин возразил на это, что, обвинив свою соперницу в связи с рабом, она уничтожает ее гораздо основательнее, чем заменив раба всадником или аристократом.

Это было справедливо: но избрав раба, сознание которого не признавалось законом, имеющим какое-либо значение, агригентец вынужден был прибегнуть к пыткам, результат которых оказался вполне в пользу Октавии.

Ошибка эта едва не погубила привыкшую к победам Поппею.

Ей не нужно таких советчиков.

То, что она задумала теперь, произведет уничтожающее, разрушающее действие юпитеровой молнии.

Глава VII

Был пасмурный декабрьский день. Из однообразных, серых туч лился унылый дождь. Нерон лежал в своем рабочем кабинете. Один из рабов покрыл его ноги красиво испещренной антилоповой шкурой, между тем как другой осторожно раздувал метелкой из страусовых и павлиньих перьев пылающие угли в чугунной жаровне, стоявшей, посередине комнаты на серебряном треножнике.

Рано утром цезарь присутствовал на обычном заседании сената, потом обменялся несколькими деловыми замечаниями с Сенекой и агригентцем и затем занялся с Фаоном, архитектурные планы которого занимали его гораздо больше, чем известие о подавлении политических беспорядков в нарбонской Галлии или проекты большой конной статуи, которую намеревались воздвигнуть «признательные преторианцы своему незабвенному Бурру».

Теперь, после обеденного часа, Нерон чувствовал себя не совсем бодро, тем более что вчерашний пир у Коссутиана затянулся дольше обыкновенного. Дождевые потоки из водостоков и свинцовое небо наводили на него уныние. По изнеженному телу его пробегала неприятная дрожь. Говорить ему не хотелось. Давно уже изучивший все привычки своего повелителя, Кассий остерегался произнести слово, когда цезарь бывал так расстроен.

«Вы все лгали мне, — думал император, сквозь полураскрытую дверь глядя на мокрую колоннаду. — Прекрасная Пoppея называет меня богом, льстивый агригентец — духом вселенной. Я сам чувствовал в себе достаточно сил для того, чтобы вознести человечество до небес или чтобы стереть его с лица земли. Теперь же я должен переносить прихоть Юпитера, накинувшего мрачную дымку не только на ясное небо, но и на мое собственное расположение духа. Всемогущий Нерон мерзнет, и не одним лишь телом, но и душой».

Вдруг он закрыл глаза рукой.

— Вынеси жаровню, Кассий! От углей моя голова тяжелеет и болит, а ведь ты знаешь, Кассий, что головная боль императора отзывается в самых отдаленных уголках империи.

Кассий повиновался.

«Так я думал прежде, — с горечью продолжал размышлять Нерон, — а ныне я знаю, что проклятое человечество ни на мгновение не заботится о том, дурно мне или хорошо. Тем хуже для людей. Я воздам им око за око. Я буду тем довольнее, чем больше они будут страдать. Эта презренная шайка торжествовала и ликовала, когда я оттолкнул от себя Пoppею, единственное счастье моей жизни. Сердце мое сжималось мучительной болью, но те звери рычали от восторга, быть может, именно потому, что они чувствовали, как сильно я страдал. Пoppея Сабина! Как дорого мне это имя! Ей я обязан жизнью. Не будь ее, я лишился бы рассудка, потеряв Актэ. И так как я не должен был иметь Актэ, то Рок оказал мне милость, послав мне Пoppею. Минутами, когда она обнимает меня рукой за шею и я закрываю глаза, мне чудится, что возле меня Актэ, в тот первый вечер, в парке Сцевина...»

— Повелитель, — прервал его мечты Кассий, войдя из перистилия, — светлейшая Пoppея просит позволения войти.

— Наконец-то! — произнес Нерон, вставая. — Значит, здесь сейчас проглянет солнце. Скажи ей, что я уже давно ожидаю ее. Зажги лампы! — прибавил он, обращаясь к другому рабу, сидевшему в углу на полу. — Тучи все сгущаются. Этот мертвенный полумрак невыносим.

Мальчик выбежал и вернулся с зажженной ручной лампой. Через минуту светильники мраморных канделябров уже разливали ясный, золотистый свет.

Почти в то же мгновение вошла Пoppея Сабина.

— Есть у тебя время выслушать меня, мой возлюбленный? — спросила она по-гречески.

— Я истомился по тебе. Приди, сядь сюда на подушки. Отчего ты так серьезна, дорогая Пoppея? Что случилось?

— Нечто неслыханное, — спокойно отвечала она. — Но взглянув в твои глаза, я считаю лучшим промолчать и предпочитаю обратиться к Сенекe или к Тигеллину...

— Как? — перебил ее Нерон. — Есть вещи, о которых ты охотнее говоришь с Сенекой или с Тигеллином, чем со мной?

Пoppея задумчиво смотрела в землю.

— Однажды мне уже привелось быть заподозренной тобой за мои честные намерения. Но вторично я не могу этого перенести, клянусь богами!

— Ты говоришь об Октавии? — нахмурясь, спросил император.

Она колебалась.

— И о ней также, — с видимым усилием отвечала она наконец. — Но прежде всего, о дерзком преступнике, к счастью, находящемся в моей власти. Прости меня, цезарь, за мои неутомимые старания о твоей безопасности.

Клавдий Нерон схватил ее за руку.

— Без околичностей! — произнес он, целуя ее розовые пальцы. — Какое злодеяние открыла ты?

— Заговор, кровавое преступление и, к несчастью, к несчастью... Но не будем уклоняться от сути дела! Аницет, давно уже находящийся с Октавией в... дружеских отношениях...

— Ты говоришь это таким тоном...

— Я боюсь твоего негодования; ведь ты разделяешь мнение всех римлян о безупречной непорочности Октавии. Оттого что ее отпущенники ничего не знали, вы вообразили — изумительно логичное заключение! — что действительно ничего не случилось, а если несколько человек и высказались не в ее пользу, то признания их приписали лишь действию пытки. Как будто нельзя грешить целые годы, не будучи обличенной!

— Неужели ты будешь утверждать, что несчастный Абисс, до самой смерти клявшийся в ее невинности, был обманщик?

Пoppея пожала плечами.

— Относительно египтянина я вовсе ничего не утверждаю. Возможно, что шпионы Тигеллина ошиблись... в направлении, где им следовало бы искать. Накрыв ночью парочку в заросшей виноградом беседке, легко принять Люция за Семпрония и наоборот. На этот раз, однако, подобные ошибки немыслимы. Аницет хвалился одному из морских офицеров, будто он возлюбленный Октавии, и это слышали двое моряков, свободнорожденные, как ты и я. Уничтоженный этим свидетельством, он не отрицается. Я сама допрашивала его вчера, и когда обещала пощаду его жалкой жизни за полное сознание... Но я вижу, ты волнуешься, Нерон; ты бледнеешь; ты дрожишь. Разве ты можешь сердиться на нее за то, что она тебе отплачивает...

— Отплачивает? — громовым голосом вскричал император. — Или ты рассуждаешь так же, как все остальные презренные римлянки? Я цезарь, а прежде всего: я муж! Я оскорбляю ее, отдавая благосклонность, принадлежащую супруге, другой, посторонней женщине; это оскорбление, но не

бесчестье, клянусь Геркулесом! Никто не насмехается за это над ней, никто не порицает ее. На ее стороне все сострадание и горячее сочувствие, даже теперь, хотя мы расстались по ее собственному желанию. Но я, если только это правда, что Аницет!.. Мне кажется, ты лжешь, Поппея! Это просто немыслимо!..

— Я прощаю тебе, — спокойно сказала она, — потому что понимаю тебя. Мысль сделаться посмешищем черни может лишить рассудка и хладнокровнейшего из людей. Быть обманутым мужем, цезарем, супруга которого, несмотря на всю наружную святость, наслаждается любовью с доверенными лицами императора и к тому же замышляет низвержение его для того, чтобы возвести на престол его любезного соперника — роль действительно незавидная.

— И Октавия делает все это? — спросил император.

— Удостоверься сам! Не уведомляя решительно никого, я заманила Аницета и трех его приятелей на берег, приказала арестовать их и велела одному из центурионов дословно записать их признание. Вот тебе изложение всего дела. Прочитай и попробуй еще сомневаться. К счастью, низкий заговор еще не успел распространиться. Почти все офицеры остались верными. Здесь же приложено письмо Октавии, почерк которой ты, конечно, узнаешь.

Она подала ему роковой свиток.

Нерон начал читать; с каждой строкой лицо его становилось бледнее и суровее.

— Змея! — проскрежетал он. — Так вот как! Она хотела возмутить флот и население Кампани! С Мизенского мыса должен был быть нанесен удар, предназначенный для уничтожения цезаря и возвеличения ничтожного негодяя Аницета! Ужасно! Невероятно! Возможно ли, чтобы все это задумала целомудренная Октавия, опасавшаяся произнести хоть одно слово, которое она не могла бы спокойно повторить перед алтарем Весты? Но таковы все они, развратницы, лицемерки! Чем невиннее лицо, тем чернее душа! Родоска Хлорис рядом с этой развращенностью кажется сияющей Артемидой. И негодяй осмелился хвастаться позором императора! Так они оба умрут!

— Я обещала презренному вымолить помилование за его полное признание, — сказала Поппея. — Пошли его на пожизненную ссылку в Сардинию. Разве ты не знаешь, что римляне боятся Сардинии больше смерти?

— Оставь это! Об этом после! — сказал император, все еще углубившись в рукопись своего центуриона, которого он знал за одного из преданнейших людей. Одно его имя было для цезаря ручательством за полную правдивость написанного. Кроме того, он мог, как намекнула Поппея, сам допросить арестованных и сличить их показания с тем, что он читал.

И действительно, одно лишь письмо Октавии было подложно, но подделка отличалась таким совершенством, что цезарь поручился бы головой за его подлинность.

— Она должна умереть! — воскликнул он, сжимая рукой шуршащие листы. — Скажи, где заперты твои пленники? — глубоко переводя дух, прибавил он.

— На четвертом дворе; в помещении рабов.

— Веди меня туда! Слушай, какой поднялся ветер! Приличная погода для таких ужасных событий! Как он воет и стонет! Мне чудится предсмертное хрипение Агриппины!

На этот раз победа Поппеи была полная. Купленный ею за несчетные миллионы Аницет с униженным смирением перенес пощечину императора, благоразумно проглотил три вышибленные зуба и, с невнятными выражениями благодарности, смиренно позволил отвести себя на императорскую трирему, несмотря на сильную бурю, в тот же день пустившуюся в море.

Товарищи сопровождали его. Пoppея внушила императору, что по справедливости он не может наказать орудия Аничета более жестоко, нежели его самого. На его сопротивление она шепнула ему на ухо, что если он любит ее и желает снова заключить ее в свои объятия, то должен подчиниться этому закону справедливости. Для Октавии же полная ярости соперница добилась смертного приговора. Полууступая и полусопротивляясь ласкам цезаря, бесстыдная кокетка довела его до того, что он, воспламененный ее очарованием и до глубины души оскорбленный едкими насмешками над нерешительностью «второго Ото», подписал давно уже приготовленный документ.

Глава VIII

Октавия сидела в спальне с рабыней и слушала чтение послания, уже много лет тому назад доставленного таинственным апостолом Павлом из Филиппин во Фракии назарянской общине Коринфа.

Замечательное послание это, за свою горячую, увлекательную искренность ценимое выше многих других посланий неутомимого проповедника, существовало в многочисленных списках и находилось в руках почти всех грамотных назарян. Недавно принявшая крещение рабыня, двадцатилетняя девушка из Арголиса влагала в чтение всю звучность своего мелодичного, низкого голоса и всю пылкость своей веры.

Октавия, доселе лишь с удивлением, любопытством и недоверием следившая за деяниями и речами великого апостола и, несмотря на свою симпатию к назарянскому учению, в душе питавшая прежнее римское уважение к всемогущему Юпитеру, впервые ощутила веяние всепобеждающего духа, когда рабыня дошла до следующего места послания:

— Фэба, — прервала Октавия рабыню, — прошу тебя! Дай мне секунду подумать.

Молодая императрица закрыла глаза рукой.

— Любовь никогда не перестает, — медленно повторила она. — Не ищет своего, все переносит... Еще раз, Фэба! Прочти это место еще раз!..

Фэба повиновалась. Октавия слушала, устремив пристальный взор на кротко-вдохновенное лицо девушки.

И снова, подобно неземной музыке, прозвучали слова:

Вдруг раздался шум. В атриуме послышались поспешные шаги, боязливый шепот и вслед затем легкое бряцанье, как будто вооруженные люди осторожно приближались на цыпочках...

Октавия вскочила. Подходя к двери, она столкнулась с двумя преторианскими офицерами, уполномоченными Поппеей для приведения в исполнение смертного приговора.

— Повелительница, — сказал один из них, — мы являемся по поручению императора. Избавь нас от тяжелых объяснений! Вот, читай!

И он показал приговор трепещущей Октавии. Она взглянула на пергамент робко, недоверчиво и в то же время пристально, как птичка, очарованным взором смотрящая в разверстую пасть змеи.

Наконец она поняла и с громким, жалобным криком упала на колени. С жаркими слезами молила о жизни эта несчастная, отверженная, для которой жизнь значила страдание.

Не тлела ли еще искра надежды под пеплом ее загубленной жизни? Или, быть может, страшная борьба чувств до такой степени подточила ее юношеские силы, что она утратила последнее утешение в величии доблестной, отважной смерти?

— Сжальтесь! — воскликнула она, ломая руки. — Я еще так молода и доселе извела одно лишь горе на этом свете! Пустите меня убежать далеко, до самых Геркулесовых Столбов. Я хочу только видеть солнце и дышать воздухом, этим чудным, божественным воздухом!

Центурионы поколебались; честным воинам тяжело было превратиться в палачей этого прелестного создания, имевшего полное право на все почести престола.

Но страх перед Поппеей и забота о собственной безопасности скоро взяли верх.

— Повелительница, это невозможно, — сказал старший. — Император повелевает. Центурионы

должны повиноваться.

Он выхватил меч, но уронил его при виде душераздирающего ужаса Октавии.

— Подойди! — обратился он к товарищу.

Но и тот отказался нанести смертельный удар. Тогда центурион сделал своим спутникам знак осторожно связать императрицу.

— Прости меня! — со слезами говорил он, в то время как преторианцы связывали ей руки и ноги мягкими шерстяными платками. — Я святотатствую, но меня принудили сделать это. Если есть божество и будущая жизнь и ты будешь наслаждаться ею во всей ее славе, вымоли мне прощение за мое преступление.

Полубесчувственную Октавию посадили в теплую ванну и острым кинжалом открыли ей вены.

— Повелительница, это не больно, — сказал старший центурион, — ты умрешь незаметно, как будто засыпая.

Но эта жизнь отчаянно и упорно боролась с вечной ночью, в которой она должна была угаснуть вопреки законам природы. Медленно и с остановками вытекала из надрезов кровь. Начались страшные конвульсии, из полуоткрытых губ вырвался вопль невыразимой муки.

Ужас овладел старым воином. Со стоном запустил он сильную руку в густые, светло-каштановые волосы жертвы и погрузил ее голову под воду.

Через несколько мгновений все было кончено.

Утопивший же Октавию центурион, произнеся страшное проклятье императору и его любовнице, пронзил себя собственным мечом.

Его младший товарищ приказал положить оба трупа в атриуме и накрыть покрывалами, с тем, чтобы после предать их сожжению.

Голову же Октавии, согласно приказанию Поппеи, он привез в Рим и передал ее своей светлейшей повелительнице.

На этот раз Поппея так ловко сплела свою клевету, что нашлись даже честные люди, по-видимому, наполовину верившие ей.

Показания Аницета вместе с подложным письмом Октавии были представлены на рассмотрение сената. Единичные голоса, способные с успехом заступиться за честь позорно умерщвленной страдальцы, молчали.

Флавий Сцевин проживал в Медиолануме; Тразеа Пэт и Бареа Сораний, обвиненные в государственной измене и заговоре против императора, сидели за крепкими стенами Мамертинской тюрьмы. Те же, в ком еще сохранилась хоть искра чести, как например, горделиво улыбавшийся эпикуреец Пизо, в последнее время совершенно отстранились от дел, или для того, чтобы не выказать трусости и низости, или чтобы не рисковать бесцельно своей головой. Таким образом, случилось, что сенат приветствовал убийство Октавии как политический подвиг и постановил принести во всех столичных храмах благодарственные жертвы за спасение императора и римского народа от козней молодой императрицы.

— Жалкие псы, эти пурпуровые тоги! — засмеялась Поппея, узнав об этом постановлении. — Выносящие кухонные помои рабы — герои сравнительно с капитолийскими прихвостнями! Впредь с ними будут поступать по достоинству.

Четыре недели спустя праздновалось бракосочетание Нерона с Пoppеей Сабиной.

В этот промежуток времени легкомысленный, впечатлительный народ римский уже успел успокоиться.

Противники Пoppей в самом Палатинуме, тайно интриговавшие против ее брака с Нероном, по-видимому, умолкли.

Новая императрица своей приветливостью и богатыми денежными подарками сумела скоро завоевать себе сердца того самого народа, который недавно свергал и разбивал ее статуи.

Значение ее достигло своего апогея, когда в феврале следующего года она подарила супругу дочь.

Шумные празднества, кипевшие в течение нескольких дней на всем пространстве от Яникула до Лабиканской дороги, были также неописуемы, как неистовый восторг императора.

Но вся сила любви его к прекрасной Пoppее выразилась еще яснее в горести, последовавшей непосредственно за бурными проявлениями радости.

Молодая мать еще не встала со своего ложа, когда ребенок, приветствуемый целой Италией подобно богине, искупительнице мира, внезапно умер, вероятно, вследствие сильных волнений, перенесенных Пoppеей в последние месяцы ее беременности.

Сначала от нее старались скрыть это несчастье. Но когда она все настоятельнее начала требовать дочь, еще несколько часов тому назад лежавшую в ее объятиях, Нерон робко подошел к ней и шепнул:

— Соберись с мужеством, сладчайшая Пoppея: наш цветок завял!..

С отчаянным криком она опрокинулась на подушки и лишилась чувств.

Трое суток она пролежала в бреду. Раз она чуть не разбила себе голову, и император едва успел удержать ее.

— Октавия, — кричала она, — бездетная Октавия! Смотрите, вот она встает из царства мертвых! Она мстит за себя! Своими бледными губами она пьет кровь моего сердца!

Нерон с неусыпной заботливостью ухаживал за ней. Позабыв все в мире, он просиживал возле нее дни, недели.

В конце марта, опираясь на руку супруга, она впервые вышла из своей комнаты.

Весеннее солнце заливало колоннаду, теплый, благоуханный воздух ласково веял в лицо выздоравливающей Пoppее. На прекрасных ее губах дрожала лукавая, торжествующая улыбка, говорившая: «Я страдала, но страдала императрицей!»

Пoppея Сабина достигла своей цели.

Утрата ребенка казалась ей справедливой данью богам, которую она охотно готова была заплатить, дабы уберечься от зависти бессмертных.

Теперь она устремила все свои усилия на то, чтобы утвердить завоеванное величие.

Пример Октавии ясно показал ей, как ничтожно положение императрицы, не пользующейся прочной привязанностью императора.

И она с бесподобным искусством не давала засыпать желаниям и любви своего супруга, то толкая его в самые безумные развлечения, то снова нежно привлекая к себе для того, чтобы он знал, что настоящее счастье его только здесь, в ее сладких объятиях. Она умела льстить всем его капризам, без размышлений, без страха, без угрызений.

Давая ему то, что он признательно называл истинным счастьем, в то же время она больше всех способствовала полному развитию в нем необузданного разгула, презрительного попрания всякой справедливости, превративших цезаря в ужасающего демона, доселе, подобно загадочному призраку, встающего пред нами из мрачной пучины истории мира.

Глава IX

Лето было в самом разгаре.

Богатые и знатные римляне давно уже переселились в горы или на берег моря.

Император со своим двором жил в Антиуме, где Тигеллин отстроил новую роскошную виллу на счет своего царственного повелителя.

Днем Рим казался вымершим.

Только спустя час после заката солнца таверны наполнялись полуголыми гуляками, а лужайки Марсова поля, где в более прохладное время года происходила игра в мяч и метание дисков, пестрели ищущей свежести толпой, рассаживавшейся на спаленной траве и уничтожавшей хлеб и плоды, или же алчно окружавшей общественные колодцы.

Позже лестницы публичных зданий, мраморные плиты перед храмом Сатурна, знаменитый в целом мире подъем на Капитолий, колоннада Агриппы, словом, каждое местечко оказывалось занятым крепко спавшим людом, не находившим даже минутного забытья в духоте и тесноте своих домов. Между этим народом было также много больных: римская лихорадка, это вековое наследие семихолмного города, ежегодно требовала большого числа жертв.

Тысячи пылающих внутренним жаром тел, слишком возбужденных для того, чтобы уснуть, искали прохлады в жалких водах Тибра. Начиная от элийского моста до пристани у Авентинского холма, густой толпой теснились мужчины, женщины и девушки, между тем как судовладельцы, несмотря на одолевавшие их слабость и утомление, напрягали все силы для разгрузки своих судов, для того чтобы быть в состоянии до рассвета снова достигнуть Остии, более здоровой гавани Рима.

На берегу, параллельно с Circus Maximus, находились огромные склады для масла и зерна.

Двадцать четвертого июля солнце медленно утонуло в кровавом тумане. Над столицей царил зловещая, необычайно тягостная духота; неподвижный воздух был тяжел и густ. Над квиринальскими возвышенностями по временам сверкала слабая молния.

Во втором часу пополудни измученное население увидало внезапно вспыхнувший свет на легкой крыше одного из авентинских зерновых складов.

— Пожар! — раздался испуганный крик среди массы черни.

Пожар в этой местности, при такой ужасной засухе, представлял такую огромную опасность, которая была очевидна для всякого.

Прежде чем крик донесся до ближайшей окрестности, пламя уже столбом взвивалось к небу.

Городская когорта, несшая на себе обязанность охранителей общественной безопасности и вместе с тем бывшая пожарной командой, прибыла позднее, чем следовало бы. Огонь распространился с ужасающей быстротой. С помощью народа, солдаты начали растаскивать соседние с горевшими бараки и дома, с целью изолировать источник беды. Кладовые с маслом уже пылали. Горящая жидкость текла, подобно потоку лавы, уничтожая все на своем пути. Искры и раскаленные головни снопами разлетались во все стороны... То здесь, то там раздавался треск, и огонь с шипеньем несся вверх к безмолвным звездам, созерцавшим теперь зрелище еще невиданное со времени существования на земле человека: пожар двухмиллионного города.

Все работали изо всех сил, но скоро пришлось отступить перед мощной стихией.

Через несколько часов всеми овладело сознание бессилия перед ужасным пожаром. Не хватало рук для уборки даже двадцатой части всей, беспрестанно валившейся массы бревен, досок, стропил и различных других легких плотничьих сооружений. Для того чтобы спасти Рим, приходилось предоставить в жертву пламени не только один этот квартал, но и два соседние с ним, и провести изолирующую линию по таким частям города, где массивные каменные постройки могли бы успешно противостоять дождю искр.

В конце третьей стражи городской префект послал в Антиум гонца.

«Могущественный цезарь, — в отчаянии писал он, — я клянусь роком, допустивший меня дожить до нынешнего дня. Рим пылает. Мы бросились навстречу яростному пламени подобно тому, как лев бросается на собак; но не можем устоять перед силой огня. Прибуди к нам, цезарь! Помоги нам бороться! Ободри римлян своим вдохновляющим присутствием! Ты один еще можешь пресечь страшную беду».

Нерон, в сопровождении Пoppеи Сабины и большой свиты, тотчас же пустился в путь. Размеры бедствия Рима превзошли его самые боязливые предположения. Когда он прибыл, восьмая часть города уже была объята пламенем. Император был явно потрясен.

Еще сильнее неожиданное несчастье поразило умную, разбирающуюся в политике Пoppею Сабину. Она знала, что в противодействии затаенной, но живучей враждебности к ней аристократии и средних классов, ее лучшим союзником был народ, требовавший хлеба и зрелищ и кричавший «Ave Caesar!», когда в цирке хорошо скакали лошади. Теперь же пожар уничтожал жилища именно этой черни. Это сильно встревожило императрицу. Расположение черни было весьма шатко. Сытая и удовлетворенная, она ликовала, но если случайно запаздывали египетские суда с зерном, она начинала роптать или колотить солдат. Всемогуший император, которому эти люди обязаны были своим благосостоянием, был ответственен также и за их бедствия. В его мифически возвышенной особе они искали последнюю причину всех явлений. Как легко можно было склонить эту, уже полубезумевшую, толпу к каким-нибудь безрассудным действиям при страшном общественном бедствии, лишившем крова целые тысячи!

Пoppея сообщила свою мысль цезарю.

— Оттого-то я и поспешил сюда, — возразил Нерон. — Они должны убедиться, что я действительно их бог и спаситель.

И он с серьезным видом обратился к свите.

— Нельзя терять ни минуты. Мы не успеем даже переодеться. Мы разделимся на два отряда. Я, цезарь, поведу один из них, а ты, Тигеллин, поведешь другой. Каждый из вас беспрекословно будет исполнять то, что ему прикажут, будь он консул или конюх. Отличившихся мужеством или находчивостью я награжу по-царски; если это будет раб, то он получит свободу и состояние всадника. Тигеллин, оставайся здесь, в южном квартале; я же отправлюсь в Субуру! Вперед! Сегодня же вечный Рим будет спасен: так повелевает император!

Оба отряда разделились для распределения работ по тушению.

— Император под огненным дождем! — раздалось среди изумленной толпы. — Пoppея среди падающих развалин! Да здравствует цезарь! Теперь стихнет ярость пламени! Теперь Рим победит!

И Вечный город победил бы, не будь тех отребьев общества, которые повсюду извлекают бессовестную выгоду из общественных бед.

Среди страшного смятения, еще увеличившегося благодаря отсутствию полицейского надзора в большинстве северных и западных районов, внезапно вынырнула тысячеголовая гидра мародерства. Под предлогом спасения имущества из домов, которым угрожал огонь, эти гиены с неслыханным бесстыдством прибегали ко всевозможному насилию и, наконец убедившись в необычайной выгоде жестокой комедии и

упоенные блестящим результатом хищничества, они перенесли всепожирающее пламя в такие части города, которые доселе оставались неприкосновенными.

Когда вечером того же дня, смертельно утомленный Нерон опустился на ложе в доме Мецената, построенном на вершине холма, город уже пылал в четырех различных местах.

Палатинум также обрушился среди массы обломков и пепла, после того как гвардейцы успели еще счастливо спасти множество лучших художественных сокровищ.

К позорной деятельности грабителей и поджигателей, как последнее веление Рока, присоединилась непогода.

Ранним утром на следующий день поднялась буря, в несколько часов распространив пожар на огромное пространство, сделав тщетным все принятые доселе меры. Подобно огненному вихрю неся огонь на театры и храмы, на роскошные постройки Via Lata и обширные торговые галереи Аргилетума. Пропитанная лихорадкой Субура горела наравне с окруженными садами виллами правительственных консулов и величественным дворцом первосвященника. Насколько мог объять глаз, ничего не было видно, кроме темно-красного огня, беловатых пламенных языков и страшно освещенных столбов дыма, под порывами вихря взлетающих к небосклону. Из сотни тысяч вулканов, прежде называвшихся Римом, непрерывно раздавались грохот, треск и шипенье, сопровождаемые яркими снопами огня и клубами пепла. Воздух дрожал и гудел, как бы от подземных громовых ударов; раскаленная атмосфера этого гигантского пекла мгновенно уничтожала всякое живое существо.

Отчаяние пораженного народа достигло высшей степени. В еще не разрушенных кварталах раздавались безумные, дикие крики. С воплями испуга смешивался угрожающий, яростный рев.

Люди гибли тысячами.

Ужасающие подробности переходили из уст в уста.

Целый квартал домов был так внезапно охвачен огнем, что все обитатели их, дети, немощные и старики, сгорели заживо. В Субуре многие, плохо построенные здания, полные мелких комнат, рухнули, когда начали разрушаться соседние дома. Десятки бедных жильцов, старавшихся спасти свое имущество, были убиты падавшими балками и стенами, или, что еще ужаснее, были стиснуты между обломками и в страшных муках задохнулись от дыма или медленно изжарились под раскаленным пеплом, засыпавшим их полураздавленные члены.

Ужасная опасность, безумный страх перед ужаснейшим из всех родов смерти, породили сцены, отвратительнее которых еще не видал запятанный кровью и преступлениями Рим.

Сыновья давили стонущих отцов, стараясь достичь застланного дымом отверстия, представлявшего единственную возможность спасения.

Матери с воплями бросали в огонь кричащих грудных младенцев, чтобы освободить свои руки для разрушения горящей стены.

Словом, все узы любви, родства и закона рухнули перед могуществом бушующей стихии, порождающим безумие. Конец казался близок.

Многие граждане добровольно побросались в пламя, увлекаемые той демонически-чарующей силой, которая тянет полного ужаса путника в глубину пучины, или же с преднамеренным стремлением с помощью смерти избавиться от зрелища падения горячо любимого Рима.

Глава X

Кто же, кто был причиной гибели столицы мира? Возможно ли приписать это случаю? Возможно ли, чтобы случайный пожар следовал такому правильному течению? Сначала занялся авентинский квартал, потом вспыхнуло еще в трех различных местах и, наконец, все отдельные пожары соединились в один огненный хаос: такое систематическое разрушение трудно было приписать слепому случаю; позволительно было предположить все это деянием сознательной, руководящей воли. Но где найти виновника, чтобы разорвать, раздробить, уничтожить его? Где его коварные, вредоносные сообщники?

Это должно было быть, однако, известно тому, кто повсюду имел тысячи тысяч ушей и глаз в лице своих чиновников, телохранителей, солдат и шпионов: должно было быть известно императору.

Действительно, вечером густые толпы народа окружили дом Мецената, безопасное местоположение которого представляло защиту от нестерпимого жара, господствовавшего в пылавших кварталах. Преторианцы с величайшими усилиями оттесняли отчаянных допросчиков.

— Клавдий Нерон должен отвечать! — заревел один сборщик податей. — Он господин и повелитель: его долг защищать нас. Разве еще никто не схвачен? Никто не высечен, не ослеплен, не распят на кресте? Мы требуем справедливости! Разбойников и поджигателей следует переловить. Где связки лоз? Где топоры? Где палачи?

— Глупец! — шепнул молодой аристократ, кладя руку на плечо велеречивого плебея.

— Что это значит?

— Значит, что ты мелешь вздор. Ведь ты сказал: Катилина, покарай Катилину!

Сборщик податей уставился на незнакомца.

— Кто ты? — подозрительно спросил он.

— Один из тех, кого нельзя провести. По крайней мере я могу похвалиться зрением. Я видел, как солдаты городской когорты подожгли жилище поэта Лукана...

— Я также, — заметил всадник с широким золотым кольцом. — Все граждане согласны в том, что сам император...

— Что? Что такое? — раздался целый хор голосов.

— Ну что все это была комедия: его волнение при виде несчастья и назначенные им награды... Он сам и один он...

— Молчи! Твои речи погубят тебя!

— Лучше смерть, чем беспомощное существование под скипетром этого кровожадного пса, — отвечал знатный юноша. — Что делают его креатуры? Целые кварталы разграблены его преторианцами. Без пожара такая выходка была бы невозможна... Вы ищите поджигателя, чтобы распять его? Он там, позади копий гвардейцев, за стенами этого проклятого дома, и пирует в то время, как великолепный Рим превращается в пепел!

— Это Нерон, — слышались тихие замечания. — Нерон виновник бедствия...

— Но каким образом? С какой целью?

— С единственной целью совершить преступление. Все его святотатства не казались ему еще достаточно чудовищными. Если бы можно было зажечь почву, он поджег бы всю Европу.

— И вспомните его тщеславие! Герострат разрушил Эфесский храм. Нерон сравнивал с землей восемьсот лет великой славы. В этом отношении он превзошел Герострата.

— Разве вы не знаете, что еще прошлой осенью он говорил Пoppее: «Когда ты сделаешься императрицей, я уничтожу старую столицу и выстрою тебе новую, еще величественнее, роскошнее и достойнее твоих сладостных объятий!»

— Конечно! И он хотел назвать эту столицу Неронией, для того чтобы потомство не забыло эту обезьяну Ромула...

— Неслыханное дело! — вскричали разом несколько десятков голосов. — Поджигатель на престоле! Проклятие губителю мира! Долой нечестивого! Он заслужил смерть!

Молодой аристократ и всадник уже исчезли в толпе, чтобы в другом месте бросить народу роковой слух о виновности Нерона. Оба они были участниками того заговора, который почти удалось открыть императрице Агриппине, пославшей Палласа оцепить дом стряпчего Люция Менения. Дойдя до той степени отчаянного ожесточения, когда все средства считаются позволительными, члены тайного союза пользовались всяким поводом, чтобы ожесточить народ против тирана и его орудий. В настоящую же минуту этому представился бесподобный случай. Действительно, преторианцы и городские солдаты попользовались кое-чем в общей суматохе; также могло быть, что Нерон в своей безумной любви находил Рим Августа недостойным такой императрицы, как Пoppея. Все эти обстоятельства были раздуты, подробности преувеличены и выдуманы, насколько это могло служить желанной цели и, таким образом, распространилось убеждение, несмотря на свою очевидную нелепость продержавшееся в течение веков: что разрушитель столицы мира был Нерон, захотевший доставить себе и своей Пoppее чудовищное, жестокое и ослепительное зрелище.

Ничего не подозревая об этих толках, Нерон стоял с Пoppеей на площадке башни и смотрел на шумящее, волнуемое, грозное огненное море. Ужасная красота этой никогда не виданной картины поразила его. Священный трепет вдохновения объял его взволнованную душу. Он позабыл о страхе, доселе свинцом давившем ему грудь, позабыл о сгоревшем Палатинуме, о печальной пустыне, которая отныне будет смотреть на него со всех холмов, позабыл даже о нежно припавшей к его плечу Пoppее Сабине.

Обернувшись, он позвал одного из приближенных рабов и потребовал свою лиру, сопровождавшую его во всех путешествиях.

В виду пылавшего Рима, накинув на плечо ярко-красную перевязь инструмента, он настроил его и ударил плектрумом по металлическим струнам, сопровождая игру героической песнью.

То были строфы поэтессы Сафо; каждая четвертая, звучная строфа кончалась словами: пылающее пламя!

— Ты поешь, как бог! — воскликнула Пoppея, когда он кончил, и с ребяческим кокетством захлопала в ладоши.

Но он не слышал ее.

Перед ним, с отчетливостью не призрака, но живого существа, предстала фигура девушки, таинственно возникшей из пучины пожара, словно богиня любви из волн морских; то была Акта, прелестная, белокурая, незабвенная!

Ее глубокие голубые глаза, пристально устремленные на него, казалось, спрашивали: «Неужели она совершенно вытеснила меня? Или в глубине твоей души еще живет смутная тоска по мне, которую не может заглушить никакая женщина в свете?»

— Актэ! — глухо простонал император.

Лира выпала из его рук и медленно скользнула на пол по складкам его тоги.

Где то золотое, блаженное время, когда он пел ей эти самые строфы вечером, любуясь розовым отблеском заката на далеких албанских горах? Оно исчезло, превратилось в ничто, как этот могущественный город, в мучительной агонии доживавший свои последние минуты.

— Разрушайся же! — вскричал он, поднимая руки. — Умирай, царственный Рим! Гори, превращайся в прах! Я могу воссоздать тебя из пепла в новом великолепии: но ее, единственную, незаменимую, не возвратит мне никакой бог! Актэ умерла: какое же право имеешь ты на это мимолетное существование? Пылающее пламя! Пылай! И будь ты в тысячу раз ужаснее, все-таки эта погребальная жертва еще не достойна ее. Она стоила большей. Первобытная ночь должна была бы спуститься в то мгновение, когда отлетела ее несравненная жизнь!

Голос его звучал, как торжественная молитва. Несколько слов из его экзальтированной речи долетели вниз, к народу, слышавшему также и загадочное пение и звуки лиры.

— Слышите, как он хвалится? — вскричал мурийский матрос. — Пусть весь город пылает: его это радует, ему еще мало девяти сгоревших кварталов!

— Он поет и восторгается, — заревел торговец из Аргилета, — в то время, как кругом царит отчаяние!

— Император должен отвечать нам! Эй, преторианцы, посторонитесь! Римляне хотят говорить с императором. Римляне хотят узнать, что значит эта комедия там, наверху. Подавайте поджигателей! Император должен знать, кто превратил в пепел священный Рим!

Спокойно и уверенно преторианцы загородили дорогу копьями.

На этот раз толпа еще отступила. Но начавшееся брожение становилось все серьезнее. Военный трибун, начальник отряда, послал одного из солдат на башню предупредить цезаря об опасности положения.

— Глупцы! — засмеялся император.

— Не смотри слишком легко на этих глупцов! — шепнула Пoppея. — Они взбесились, как собаки при приближении солнца к знаку Льва.

Страшный, яростный рев заглушил возражение цезаря. Пять-шесть отважнейших из народа пали первыми жертвами преторианцев. Остальные кинулись вперед с удвоенным ожесточением. Через минуту могла начаться настоящая битва.

— Слышишь? — продолжала Пoppея. — Народ во что бы то ни стало требует виновного. Или ты сам хочешь оказаться им? То, что я слышу, кажется мне весьма понятным.

— Это дело моих смертельных врагов, — с горечью сказал император. — Я не знаю их, ибо они ходят под маской дружелюбия. Но я знаю одну шайку, оскорбившую и измучившую меня больше, нежели юные аристократы, намеревающиеся меня свергнуть: я говорю о назарянах!

— Клянусь Зевсом! — вскричала Пoppея, хватаясь за эту мысль. — Отличная идея! Со времени тех вынужденных эдиктов, назарянская община заслужила всеобщую ненависть. Чем больше я думаю, тем удачнее и гениальнее кажется мне эта мысль. Право, мне уже хочется, чтобы она оказалась действительно безошибочной. Ты разрешил задачу, император. Назаряне виновники. Они хотели привести в исполнение свое давнишнее пророчество.

— Неужели? — недоверчиво усмехнулся Нерон.

— Я убеждена в этом. Разве ты не слышал, что один из главных проповедников назарянства, по имени Павел, болтает народу, будто христианский Бог скоро испепелит весь мир и затем будет судить людей? «Вечный огонь» — пугало христианства: Павел предсказывал его тысячи раз богатым и сильным мира сего. Удивит ли тебя, если нетерпеливая банда, давно уже не приносящая жертв римским божествам, наконец приступает к делу и собственноручно исполняет его?

— А народ знает об этом воззрении назарян?

— Без сомнения. Изречения их, сначала осмеянные, потом осужденные как смелые нелепости, переходят из уст в уста. Стоит только промолвить одно слово — и толпа подхватит его, как нечто давно ожидаемое!

— Пусть будет так, — задумчиво сказал император.

Поппея пошла к лестнице. Он же продолжал смотреть на огненные волны. Назаряне! Некогда это имя было дорого ему. С ним связывались возвышенные идеи, мировые проекты, пока он не научился ненавидеть последователей Христа не только за то, что фанатик Никодим и его единомышленники сделали его, как он убедился, рабом государственной политики и ненавистником своей собственной природы, но еще за то, что Никодим в преследовании своих безумно отважных целей лишил его счастья жизни. Актэ никогда не исчезла бы, если бы Никодим не вздумал оскорбить ее, употребив орудием своих неслыханных планов. Как счастливо сложилась бы жизнь императора, если бы Актэ не бежала от него!

Он никогда не сделался бы супругом Октавии и никогда не пришлось бы ему вести это двуличное, разбитое в основании существование! Да, он ненавидел назарян! Для его измученного воображения они воплощались в тощем, вечно смятенном, вращающим глазами Никодиме. На него они походили все, все, и потому теперь вполне заслужили быть выданными народу, как разрушители царственной столицы.

Он поспешно сошел вниз и явился к народу, величественно закинув за плечо тогу:

— Чего вы хотите? — надменно спросил он смолкнувшую при виде его толпу.

— Мщения! Мщения поджигателям!

— Вы знаете их? — спросил цезарь.

— Ты должен назвать их нам!

— Хорошо, я назову их. Они должны быть наказаны, как еще не был наказан ни один преступник с тех пор, как наш предок Эней вступил на почву Лациума. Виновники бедствия — христиане. Ступайте и схватите их!

— Христиане! — заревела тысячеголосая толпа. — Тащите их из их логовищ! Достаньте их из каменоломен, где они оскорбляют богов и престол цезаря! Ищите их повсюду! Вот Флегон, цветочник! Сейчас здесь был и Эпонат, любимец Павла-киликянина, которого называют апостолом! А вот красавчик Артемидор, отпущенник Флавия Сцевина! Вот Трифена и ее сестры! Бейте их! Кидайте в огонь всех без разбора, мужчин, женщин и детей!

— Стойте! — приказал император, подняв правую руку. — Не трогать их пока! Сначала пусть потушат пожар, а потом в моих садах, где я уже велел разбить баракы и палатки для погорельцев, я дам римлянам праздник и оделю всех деньгами, которых достанет на постройку новых жилищ. На празднике этом и будут наказаны преступники. Вы увидите нечто, чего вам не показывал доселе ни один цезарь. Самые кровавые травли зверей, самые ужасные бои гладиаторов — детские забавы в сравнении с тем, что я задумал! Не теряйте же мужества! Не слушайте коварных клеветников, стремящихся разъединить императора с его возлюбленным народом! Работайте, старайтесь и молитесь Юпитера, чтобы он наконец усмирил яростное пламя!

— Ave Caesar! — загудели народные волны. — Да здравствует божественный, дарующий благословение и защиту и ласково приглашающий к себе в гости своих квиритов!

Глава XI

Пожар кончился.

В течение десяти суток свирепствовал он в двухмиллионном городе подобно дикому зверю и уничтожил две трети столицы.

Теперь под горами пепла только кое-где еще тлели головни. Бледные столбы дыма отвесно поднимались к раскаленному летнему небосклону, подобно последним вздохам умирающей стихийной силы.

На рассвете одиннадцатого дня Нерон снова вышел на площадку меценатовой башни, как он это часто делал в продолжение пожарища.

Ему вспомнился вечер, в который он играл на лире при виде горящего города. Тогда его вдохновил огонь, дикий и мощный, под порывами урагана ослепительной рекой заливавший бесконечное море зданий. Он казался самому себе Зевсом-громовержцем, своими губительными молниями сжигающим землю до самых вершин Олимпа. Город пылал для него, это было доказательство того, что Рим мог пасть, и все-таки мир не терял ничего, пока всемогущий цезарь твердо стоял на пьедестале своей кесарской божественности.

Но в это утро, когда, покинув душный покой, он прислонился к перилам башни и увидел дымящийся пепел там, где еще так недавно обитали беспечные, жаждавшие удовольствий люди, им овладел как бы гнев на богов, в которых он не верил, и ненависть к непобедимому Року. Эта жестокая неизбежность своим ужасающим произволом походила на дерзкого мальчика, злобно топчущего цветущие клумбы, пачкающего картины или разбивающего драгоценную статую. Рок, Судьба — был единственным истинным властителем вселенной, могущественнее не только воображаемого Юпитера, но даже могущественнее его, Клавдия Нерона, доселе считавшего покорным своему игу все, начиная от каменистой Аравии и кончая Столбами Геркулеса. С этим Роком он вступил в борьбу; результат неравной борьбы лежал пред ним: необозримый хаос, черные, дымящиеся развалины, картина более страшная, нежели вид усеянного трупами поля битвы.

Если Року угодно выкидывать такие штуки, если ему нравится воздвигать тысячи преград добрым намерениям цезаря, то зачем же цезарь, обладающий высшей властью, будет уступать Року в дерзости и необъятности произвола? Великое бедствие погубило виновных и невинных. И Нерон также хочет теперь сделаться гибелью для человечества, с той лишь разницей, что его чувства еще благороднее, нежели та сила, которую Сенека некогда осмелился определить непостижимым именем «Провидения».

Жертвы Нерона должны пасть не без выбора, подобно жертвам Рока, но по хорошо взвешенным причинам.

Прежде всего, он уничтожает их для удовлетворения своей ненависти, затем, как он нерешительно сознался сам себе, ради собственной безопасности.

Несмотря на все старания императора смягчить общественное бедствие, в особенности посредством превосходно организованного подвоза необходимых съестных припасов, народ все-таки бешено роптал из-за страшной катастрофы и бурно требовал искупительной жертвы, соответствовавшей по своей значительности несчастью семихолмного города.

Откажи Нерон в удовлетворении этой жажды мщения, он подвергся бы опасности навлечь на себя ярость необузданной толпы.

И ярость эта также была бы делом Рока, измененным проявлением той же Судьбы, которая превратила в пепел Рим.

Христиане, для потехи черни обреченные быть до смерти замученными сегодня вечером в цезарских садах Ватикана, степень своих страданий покажут царствующему императору, дорос ли он до начертанной им себе цели.

Да, он ненавидит христиан! Учение их казалось ему теперь так же пусто, бесцельно и бессмысленно, как стоическая философия Сенеки. Этот жалкий свет, громко вещавший ему из страшных развалин о своем безумии, не стоил ни серьезного отношения к нему, ни самообладания. Одни лишь наслаждения осязательны и непреложны: философско-мистические рассуждения же, никогда не разрешавшие, однако, ужасной загадки, только вредили осязательности и непреложности. В глазах императора Никодим и Сенека — оба слились в одну зловещую, тощую фигуру. Как неотступно твердил ему Сенека свои громкие фразы о нравственно свободном развитии человечества, об отвлеченном долге и высоком сознании самоотречения! Это было просто невыносимо!

— Безумцы! — шептал Нерон, устремив взор на восток, где желтоватая полоска света возвещала пробуждение дня. — Что такое добродетель? Она предписывает не прикасаться к душистому кубку, по которому томится душа! Добровольные муки Танталя! Кто будет мне благодарен за это, скажите вы, обезумевшие лицемеры? Следуя вашему учению, разве я меньше зависел бы от обстоятельств? Разве мне меньше пришлось бы страшиться болезней и всесокрушающей смерти?

Он вздохнул.

— Право, даже смерть не самое ужасное! Еще отвратительнее кажется мне неизбежная старость! Какой демон измыслил алчную дряхлость, злобно упивающуюся нашей кровью, пока мы сами не превратимся в тени, возбуждающие одни насмешки? Все, что есть на земле прекрасного и цветущего, веселящегося и ликующего, все будет высосано временем до последней капли свежести и силы, и жалкие остатки уподобятся этим развалинам!.. Состариться! Тайно чувствовать, как обнимающие тебя роскошные руки ослабевают и дряхлеют, теряя всю силу страсти! Примечать, как чарующая нежность становится притворством, а поцелуи и страстная томность взгляда — только одна комедия! Тогда не ты будешь любим, Клавдий Нерон, но могущественный император, твоя царственная одежда, твой скипетр и неисчислимы богатства! Подобно гордо возвышавшемуся еще недавно Палатинуму, ты превратишься в жалкую развалину своего прежнего я, с впалыми глазами, с поблекшим, изрезанным морщинами лицом, в пугало даже для женщин Тиллийского вала!

Он закрыл глаза руками, как бы наяву увидев свой будущий образ.

«И они все это предвидят! — ожесточенно продолжал он думать. — Сенека уже переживает это сам. Он чувствует, как искра за искрой гаснет его жизненное пламя, и все-таки он, вместе с Никодимом, старался скрыть от меня простую, несомненную истину! Я должен был посвящать мимолетные часы юности аскетической философии, вместо того чтобы пользоваться настоящим и наслаждаться светом, пока еще длится день! Я должен был сделаться цезарем для последователей Распятого!»

Он наклонился над мраморными перилами и подпер голову рукой. Вокруг его рта легла грустная складка. Широко открытыми глазами смотрел он на разгоравшуюся зарю.

«Да, я также вижу в вашем Пророке преисполненный истиной символ: Его увенчанный тернием образ есть воплощение печальной участи всего земного. Мы все, рано или поздно, изойдем кровью на этом орудии пытки и с искаженными лицами, как умирающий Галиллеянин, будем взывать к небу: “Надежда, обманывающая все живущее, и ты, бессмертное мужество, зачем вы покинули меня теперь?” Иисус с Его печальной кончиной есть страждущий человек. Но зачем, в виду неизбежности этой кончины, должен я

увеличивать мучения моей земной жизни? Зачем мне печалиться о том, что я могу завоевать? Нет, аскеты! Лучше сейчас же умереть! Прыжок с этой площадки кажется мне логичнее заблуждений вашего безутешного самоотречения!»

Взглянув вниз, он увидел длинный ряд своих рабов, направлявшихся в ватиканские сады с разнообразными тяжелыми ношами.

Во взоре императора вспыхнул дикий огонь. Он следил за ними, пока они не скрылись за торчащими стенами сгоревшего театра.

— Да, так, — прошептал он. — Если каждый нарождающийся день не будет приносить вам новые наслаждения, новые впечатления, жизнь превратится в пытку. Я хочу наслаждаться до тех пор, пока последняя капля крови застынет в моих жилах; хочу веселить мое зрение и слух; хочу за пиршественным столом забывать последнее благоразумие и, подобно греческому громовержцу, упиваться объятиями пылких женщин и цветущих девушек. Я не был бы Нерон, если бы мог удовлетвориться одной Поппеей! Нет, я жажду бешеных удовольствий ради минутного забвения того, что так безумно кипит и клокочет в моей душе. Назаряне, вы скажете мне, есть ли еще средство утолить жажду жизни императора! Я чувствую бурное желание насладиться вашими страшными предсмертными муками. Быть может, ваши несказанные страдания нужны для основы счастья, за которым я гонюсь. Когда каждый нерв вашего истерзанного тела сохнет от боли, как раздавленная змея, блаженство должно показаться вдвойне блаженством. Предки наши строили триклинии с видом на могилы и надгробные памятники: это умножало их наслаждение пирами. Я превзойду их. Я буду видеть медленно умирающие тела, корчащиеся от этой медлительной пытки, в то время как трепет восторга превратит меня в бога. Я должен наверстать мое прежнее упущение.

Скрестив на груди руки, он несколько раз прошелся взад и вперед по площадке. Странная улыбка мелькала на его губах.

— Добрые квириды! Если бы они знали, что император их чуть не назвал братом жалкого Никодима! Не будь он такой негодяй, клянусь Стиксом, трудно сказать, что было бы теперь в Риме!..

Он вздохнул и пожал плечами.

— Едва ли было бы лучше! — продолжал он. — Я отчетливо вижу перед собой все черты жесткого, сурового лица с впавшими глазами. Его осторожная, смиренно-горделивая осанка, казалось, говорила: «Сойди с императорского престола: я, Никодим, рассчитываю занять твое место!» Если бы это случилось, если бы честолюбие Никодима уничтожило всякую самостоятельность в душе властителя и заменила ее собственной, жаждущей господства нетерпимостью, право только что окончившаяся ужасная катастрофа показалась бы шуткой, в сравнении с кровавыми переворотами во всемирной империи! Он начал бы огнем и мечом преследовать врагов назарянства и возводил бы костры, в своем размахе громаднее и раскаленнее пылающего Рима!

Он взглянул вниз.

— Изумительно! — вполголоса произнес он. — Одна и та же религия приносит столь различные плоды. Никодим и Актэ! Какая противоположность! Какая между ними непроходимая пропасть!

Все ярче разгоралась утренняя заря над хребтом Сабинских гор. Легкие пурпуровые облака клочками плавали в небе. Первый солнечный луч упал на выгоревший город, возвещая начало дня, оставшегося в летописях римской истории.

Два часа спустя цезарь принимал Тигеллина, явившегося с докладом о приготовлениях к гигантскому празднику, что должен был начаться вечером. Все шло по желанию Нерона.

— Ручаюсь, — усмехнулся Тигеллин, — что ты сам, пресыщенный всевозможными зрелищами и

художественными убранствами, ты сам, о цезарь, будешь изумлен и отдашь справедливость моему искусству.

— Что же заключает в себе твой план?

— Позволь умолчать о подробностях, прошу тебя! Ты сам художник и понимаешь, что преждевременное разглашение крайне неприятно. Угощение народа взял на себя превосходный Фаон, талантам которого я удивляюсь все больше с каждым днем. Половина Капуи опустошила свои магазины для доставки нам освещения, цветов, флагов и ковров. Все остальное вполне гармонично в общей картине. Если я прибавлю, что музыка написана специально для праздника нашими любимыми музыкантами, я скажу достаточно. Одним словом: все будет блистательно.

— Ну а народ? Что говорит он о блестящем радушии своего императора?

— Народ ликует.

— Ты говорил это уже вчера. Есть ли еще люди, сомневающиеся относительно назарян? Я хочу сказать... считающие их невинными?

— Едва ли. Арестованные, конечно, отпираются, но один из них, по имени Павел, громовым голосом объявил судьям, что в пожаре этом видна кара всемогущего Бога и исполнение древнего пророчества, гласящего: «Я сотру имя их и превращу страну их в пустыню».

— Павел? Я уже слышал это имя.

— Я сам говорил тебе о нем, — отвечал агригентец. — Это необычайно мощная личность. Непреодолимая сила его красноречия увлекает по крайней мере на миг всех слышащих его. Поэтому я и остерегаюсь включить в планы праздника этого крайне опасного человека. Один его вид может завербовать ему последователей, и наконец, если бы он даже в последнее мгновение вздумал проповедывать учение Назарянина...

Клавдий Нерон молча кивнул головой и устремил на Тигеллина вопросительный взгляд.

— Я приказал тайно распять его, — возразил Тигеллин.

Наступила долгая пауза. Нерон безмолвно смотрел на цветной мозаичный пол, где прекрасно исполненный гладиатор всаживал меч в горло льву.

— Жаль, — с глубоким вздохом произнес он наконец. — Мне хотелось бы испытать, что ответил бы этот мечтатель, даже тебе внушающий тайный страх, на мой возглас: «Ты лжешь!»

Глава XII

В шестом часу пополудни император с Поппеей Сабиной и свитой отправился в ватиканские сады, вековые вязаи и пинии которых представляли прохладное убежище даже в разгар летнего зноя. Множество фонтанов били серебристыми струями из алебастровых бассейнов. Искусственные ручьи, питаемые Клавдинским водопроводом, журчали среди гротов и лужаек или пенились возле обросших папоротниками утесов. Кругом росли высокие кустарники, буковые рощи, пестрели цветочные клумбы, словом, это был уголок сельской Кампаньи в непосредственной близости от города.

В роскошной аллее, перерезавшей парк с севера на юг, отпущенник Фаон, по распоряжению агригентца, накрыл три бесконечных стола. Насколько хватал глаз, сверкали кружки, кубки, гирлянды цветов, блюда и роскошная посуда. Лож для возлежания за пиром нельзя было достать в достаточном количестве: но римская чернь привыкла обедать сидя, а не лежа, как было принято в высших кругах общества. Гладко выстроганные, покрытые коврами скамьи были даже слишком роскошны для народа.

Клавдий Нерон пригласил на праздник около восьмидесяти тысяч человек.

Картина вышла неопиcуемая.

Восемь тысяч рабов в течение полутора часов непрерывно разносили пищу и питье необозримой толпе.

Императорская чета, Тигеллин, военные трибуны, около двадцати сенаторов из древних аристократических родов и весь двор, — за исключением Сенеки, сославшегося на внезапное нездоровье, — участвовали в этом гигантском пире. Вблизи императора особенно привлекал к себе внимание младший из его доверенных лиц, фаворит Гелий. Человек этот, не свободный по рождению, даже лучше самого Тигеллина умел подделываться под настроение императора, превозносить все его слабости как геройство, а всякое насилие называть естественным правом правителя. Жестокое, чувственное лицо отпущенника Гелия напоминало свинью, не обладая, однако, отталкивающим безобразием.

Преторианцы были искусно распределены по всем направлениям. Многочисленные шпионы подслушивали беседы; нужно было найти распространителей клеветы, называвшей цезаря виновником пожара. Незадолго до начала пира схватили всадника из Нолы и двух Менениев, двоюродных братьев Люция и Дидия, павших жертвами своего заговора против императора.

Во избежание чрезмерного возбуждения народа, цезарь позаботился о том, чтобы подавали только очень легкое вино пополам с водой. Несмотря на это восторженная распущенность пирующей толпы достигла такого предела, что Фаон уже начал торопить свои отряды рабов. Наконец съедены были и так называемые белларии. Вот и последний тост, возлияние, привет императору и роскошно разодетой Поппее...

Над головами восьмидесятитысячной массы загремели трубы, разбудив эхо окрестных холмов. Столы опустели с изумительной быстротой. Жаждавший зрелищ народ устремился по многочисленным боковым аллеям на арену праздника широким кругом амфитеатром расположился вокруг.

Эта роскошная арена с окружавшими ее земляными ступенями и блестящей придворной трибуной внизу, посредине, была импровизированным созданием великого артиста по части увеселений, Софония Тигеллина. Но ничто не обличало поспешности сооружения. Громадные тополя и клены, за несколько дней еще покрывавшие все пространство, исчезли так же бесследно, как существовавший тут же пригорок с мраморным храмом и цветником. Свежий, слегка смоченный песок посыпан был на могиле этого уютного

уголка и лежал таким чистым, математически ровным покровом, словно здесь никогда не царил фантастический беспорядок густой заросли.

Чугунные подставки для факелов, громадные канделябры с чудовищными смоляными площадками, серебряные фонари со стенками из тонких, как бумага, роговых пластинок или из слюды, расставлены были в таком несметном количестве, что на арене должно было быть светло, как днем.

Перед самой императорской трибуной, от одной точки амфитеатра до противоположной ей, по прямой линии видны были вырытые в земле ямы, на расстоянии шага одна от другой, и числом более трехсот. Позади них лежала выкопанная из этих ям земля.

Как только император с Поппеей Сабиной уселись под балдахином трибуны, где уже заранее расположилась свита, палатинские рабы принесли каждый по четыре странных, высоких шеста, опустили их острыми концами в ямы и, засыпав выкопанной землей, тщательно ее утрамбовали. К верхнему, широкому концу шестов прикреплено было по человеческому существу, завернутому до плеч в мягкую, войлокообразную ткань. Туловище и члены крепко привязаны были к шесту толстой железной проволокой. Все было обильно пропитано растопленным воском и варом, дегтем и маслом.

Эти триста человек при наступлении сумерек для первого отделения иллюминации должны были быть подождены императорскими рабами.

Еще со вчерашнего дня народ знал о предстоявшем ему зрелище. Тем не менее вид фантастической процессии до того поразил толпу, что она громко завывала от дикой радости. Старинная, жестокая, кровожадная потребность сильных ощущений с удвоенной силой пробудилась в этой пресыщенной, упившейся массе.

— Назаряне! — раздавалось со всех сторон. — Назаряне в дегтярной одежде! Каково-то нравится им эта туника! Проклятие поджигателям! Проклятие изуверам, посягнувшим на Рим! Испытайте на собственных телах, что значит всепожирающее пламя!

В пять минут все шесты были поставлены и укреплены. Принесшие их рабы быстро удалились. Из соседнего кустарника, словно стая веселых птиц, выпорхнула густая группа роскошных танцовщиц и осыпала подножия шестов розами и фиалками для того, как выразился Тигеллин, чтобы в благословенной империи Нерона даже мучения смерти отзывались празднеством.

Подобно тутовым деревьям, весной обрезанным от ветвей искусным садовником, длинным рядом стояли на шестах последователи Христа.

Иные громко вскрикивали, другие стеклянным взглядом смотрели перед собой, третьи уже умерли от страха. Большинство же, и между ними не одни лишь непоколебимые мужи и юноши, но и цветущие девушки, радостно взирали на небо, едва слышно произнося молитвы. Справа от императорской трибуны, только несколько ниже, возвышалось роскошное, широкое, художественно выкованное ложе с пышными подушками, также осененное балдахином; это было место несокрушимого агригента. Он сиял самодовольством; благородное, слегка покрасневшее от вина лицо его казалось моложе обыкновенного. Рядом с ним, грациозно прижавшись к нему украшенной жемчугом головкой, возлежала очаровательная родоска Хлорис в газовой одежде острова Коса, прелестная и симпатичная, несмотря на свое бесстыдство, и преисполненная обожания к мнимому герою, обвивавшему рукой ее стройный стан.

В сознании своего достоинства супруги цезаря Поппея Сабина сначала восставала против дерзкой публичности этой связи, но что могла она возразить на наглое замечание агригента, что и она сама, хотя и не гречанка, но знатная римлянка, точно таким же образом показывалась в обществе со своим царственным возлюбленным, несмотря на то, что супруга последнего была тогда еще жива?

Быть может, Хлорис смотрела в глаза Тигеллина так нежно потому, что она вовсе не была любительницей жестоких зрелищ, заменявших римлянам насущный хлеб. Как гречанка и артистка, она обладала высоко развитым чувством прекрасного, и уже вследствие одного этого сердцу ее противен был вид людских страданий. Только повинувшись желанию своего боготворимого Тигеллина, находилась она здесь; при приближении одушевленных шестов она невольно закрыла глаза и потом занялась исключительно своим влюбленным победителем.

Вдруг, среди общего напряженного ожидания, когда почти замолкли даже стоны христиан, раздался пронзительный, дикий вопль, подобный воплю безумца, бросающегося в пропасть с высокой скалы.

Хлорис с ужасом подняла голову.

Из-под войлочного покрывала шеста, ближайшего к ложу Тигеллина, смотрело страшно искаженное, знакомое ей лицо Артемидора.

Верующий назарянин до сих пор спокойно и твердо подчинялся своей участи. Героический дух его побеждал каждое проявление слабости. Но теперь, с вершины своего мученического шеста увидав девушку, некогда любившую и затем так коварно позабывшую его, он потерял самообладание.

В нем снова проснулась та жажда преходящего земного счастья, которую он считал давно искорененной в своем сердце, и вместе с этой жаждой им овладел прежний блаженно-мучительный трепет.

Так вот осуществление сна, в течение многих лет лелеянного им в сокровеннейшей глубине его души!

Он вспомнил незабвенный вечер в доме Флавия, когда он на коленях подал ей венок. Он думал о Хлорис день и ночь. Он верил в нее, как в Иисуса Галилеянина. При первом же слухе о ее доверии к благосклонности сильных мира сего, он поспешил к ней, полный горечи. Нежно поцеловав его, она рассмеялась над его огорчением и торжественно поклялась не принадлежать никому, кроме него. Но затем она совершенно исчезла у него из вида. Она все больше и больше втягивалась в жизнь придворного общества. Артемидор страдал невыносимо. Он подозревал о случившемся гораздо раньше, чем убедился в этом собственными глазами. Тогда он с страшным усилием расстался с ней. Он боролся отчаянно до тех пор, пока учение Христа, повелевавшего покорно нести свой крест, наконец не осенило его спокойствием.

Он надеялся, что божественная сила этого спокойствия поддержит его до последней минуты.

И вдруг, почти в тот момент, как палачи уже подходили с своими факелами, ему суждено было вновь увидеть изменницу, и как? В роли праздной зрительницы его мучений, и в объятиях другого. Это было уже слишком.

«Вдали от нее! — сетовал он, ведомый на казнь по кипрской улице. — Вдали от нее!»

Тогда мысль эта сокрушала его больше всего. Теперь же это «Вдали от нее!» пронеслось в его мозгу, как жестокая насмешка над его безмерным несчастьем: судьба осудила его умереть нелюбимым ею, перед ее глазами, так близко от нее, что он почти мог ощущать ее дыхание.

Он снова вскрикнул, еще отчаяннее и громче, чем в первый раз. Он выносил нечеловеческие страдания. Уже теперь, раньше чем убийственное пламя охватило его, он чувствовал его пожирающее тело прикосновение.

Хлорис задрожала всем телом.

— Что с тобой? — спросил Тигеллин.

Она не могла отвечать. Он привлек ее еще ближе к себе и поцеловал в белоснежную шею.

— Или этот трус напугал тебя своим предсмертным воем? — продолжал допрашивать он.

— Может быть, — прошептала Хлорис. Лицо ее исказилось судорогой, взгляд сделался безжизнен.

— Вы, греки, слишком изнеженный народ, — ободрял ее Тигеллин. — Как потомки Ромула, вы должны бы приучаться к зрелищу смерти и ее ужасов. Это придает мужество и вкус жизни. Это закаляет любовь к наслаждениям и бодрость. Но что я вижу? Я узнаю молодца. Это Артемидор, отпущенник Флавия Сцевина. Скажи, душа моя, не просыпается ли в тебе грустное воспоминание? Тогда ты была еще неприступной арфисткой, а теперь! Но разве ты что-нибудь потеряла от этой перемены? Софоний Тигеллин после императора — первое лицо в государстве. Фанний Руф, разделяющий со мной начальство над войсками, только по имени мой товарищ, в действительности же он мой слуга. Цезарь любит меня; Пoppея не делает ни шагу без совета мудрого агригентца. Артемидор же — ну, ты сама видишь, до чего его довела приверженность к сказкам Галилеянина!

— Он так молод и так добр! — вздохнула дрожащая Хлорис.

— Так добр, — возразил агригентец, — что он способствовал обманывать императора в его безумном отчаянии. Ты ведь слыхала про Актэ? Император только один раз высказал ей свою любовь: тогда она внезапно исчезла и, несмотря на все его старания, нигде не обнаружилось даже следов ее пребывания. Артемидор также был спрошен и отвечал, что ничего не знает. Но это была ложь. Он знал, где находилась Актэ. И теперь он несет кару за этот обман цезарю и за все свои другие преступления. Поэтому-то его и поставили вблизи цезарской трибуны. Его мучительная смерть должна пролить бальзам на все еще открытую рану императора. Но я болтал больше, чем следует. Пoppея Сабина не должна ничего знать. Слышишь, сладостная Хлорис?

— Слышу, — тихо отвечала она.

После этого разговора никакой надежды для Артемидора не оставалось.

Просить помилования тому, кого лично ненавидел Клавдий Нерон, казалось родоске равносильным собственному осуждению.

Итак, призвав на помощь неистощимую силу своего легкомыслия, она решила предоставить событиям развиваться по пути, намеченному агригентцем. Она только обратилась с тихой мольбой к греческому богу смерти, Гермесу Психопомпу, прося его дружелюбно проводить душу умершего в область мрачного Гадеса. Между тем Артемидор поднял широко открытые высохшие глаза к небу, где в прозрачной лазури бледно сверкали первые звезды.

— Боже мой, — горячо молился он, — поддержи меня в этих безмерных муках! Милосердный Отец, осени меня Твоей благодатью, ради Господа Христа, умершего для искупления мира! О, как очаровательны ее волосы! Как блестящи глаза! Как цветущи ее благоуханные уста! Увы, она не тронута! Не бежит сказать мне ласковое слово перед последней, ужасной разлукой! Она может спокойно и равнодушно смотреть на гибель Артемидора! Я горячо любил ее; она была бы моим счастьем, и я люблю ее еще, несмотря на ее позор! Цезарь, зачем помиловал ты меня тогда, когда я мог умереть, обладая ее любовью? Отец Небесный, спаси меня от этих мыслей! В руки Твои предаю дух мой, прими меня в среду избранных, ради Господа Иисуса, и уничтожь во мне воспоминание об этом часе, ибо иначе душа моя во веки не найдет себе покоя!

Он склонил голову и закрыл глаза, чтобы не видеть более родоску, уже оправившуюся от ужаса и снова погружившуюся в восхищение своим агригентцем.

Рядом с отпущенником Флавия Сцевина поставлен был честолюбивый Никодим. Он был без чувств, когда рабы тащили его сюда. На его шесте была толстая перекладина, к которой его распростертые руки были пригвождены железными гвоздями, пробитыми сквозь ладони. Таким способом Тигеллин хотел отличить от остальных безумно дерзкого проповедника назарянства, к которому император питал особую

ненависть.

Вопль Артемидора вывел несчастного из беспамятства.

Полный безумного ужаса посмотрел он на ряд шестов справа и слева и на роскошную оргию внизу: на цезаря рядом с победоносной Поппеей, на Тигеллина с влюбленной Хлорис; на фаворита Гелия с наглой Септимией, и на окружавших императорскую трибуну десять — двенадцать пар, обнимавшихся и целовавшихся, забывая всякую скромность, как будто вместо желтовато-ясных сумерек их окутывала черная ночь.

Он видел десятки цветущих рабынь, с одним лишь газовым шарфом на бедрах, мелькавших среди друзей императора, держа в правой руке изящный кувшин с вином, а в левой чашу...

Он смотрел на венки, возложенные на умщенное головы, на роскошные гирлянды лоз, на пурпуровые розы.

С ужасом вдыхал он всю эту атмосферу чувственности и жестокости, поднимающуюся из этой толпы, подобно одуряющим испарениям из греховной пучины Гоморры. И вдруг он разом постиг все величие и значение своего, некогда столь усердно поддерживаемого заблуждения.

Нет, этот противоречивый, ужасный, до основания выродившийся мир должен вполне сгнить, прежде чем почва его достаточно удобрится для Христовой жатвы. Покуда назарянство могло укрываться только под кровлями бедных и угнетенных, в каморках носильщиков трупов, среди матросов по ту сторону Тибра, в рабочих домах и между надсмотрщиками за рабами.

Человечество должно было возродиться и преобразиться снизу, а не с высоты престола, составлявшего только страшную вершину бессердечного, безнравственного, пустого общества.

И, постигнув это, Никодим с отчетливой ясностью постиг также то, что в его стремлениях было истинно благородного и что ему подсказывали себялюбие и жажда власти.

— То было сатанинское искушение, — скрежеща зубами, шептал он. — Ему, губителю мира, пожертвовал я свое спокойствие и внутреннее удовлетворение. Горе мне: я погубил и тебя, прелестная Актэ, вверенную мне Творцом, как овечку пастуху. Всеблагий Боже, если возможно, прости мне! Я согрешил против Тебя и против Твоей заповеди! Я недостоин претерпеть смерть здесь, вместе с верующими братьями и сестрами!

Горячие слезы оросили его лицо. Вдруг он нахмурился.

— Если я понапрасну прожил мою жизнь, то по крайней мере перед смертью я буду свидетельствовать божественную истину! Быть может, таким образом я заслужу милосердие Всеблагого Бога! — Он смело поднял голову.

— Клавдий Нерон цезарь! — громовым голосом воскликнул он. — Хватит ли у тебя мужества выслушать последнее слово из полумертвых уже уст Никодима?

За громким возгласом мученика наступила тишина.

Преторианцы взглянули на своего повелителя, как бы ожидая приказа вонзить меч в грудь Никодима.

Но Нерон выпрямился и насмешливо отвечал:

— Говори, мой друг, но поскорее!

— Нерон, — продолжал Никодим, — я знаю, что ни от тебя, ни от окружающих тебя подлобострастных псов нечего ожидать сострадания. Не Бог, но Его вечный враг сотворил ваши души из грязи и крови. Мир

пока все еще во власти Сатаны: поэтому ты император, ибо ты больше всех походишь на него дьявольской низостью и животной злобой. Но я предостерегаю тебя. Над Богом нельзя издеваться. Он, Всемогущий, дающий нам мужество бесстрашно умирать для услаждения твоего и твоих бесстыдных приближенных, Он бесследно сметет с лица земли этот жалкий род, сегодня сверкающий золотом и пурпуром. Истинно, конец ваш близок! Я уже слышу отдаленную грозу, вижу молнии, которые уничтожат вас! Все ваше могущество — соломинка перед ураганом. Скоро, скоро хлынет новый потоп и над развалинами вашего величия победоносно водрузится крест Иисуса Христа! Ты бледнеешь, Клавдий Нерон, и нетерпение овладевает тобой. Мы же, верные примеру нашего Спасителя, молим Бога о милости даже к тебе, нашему врагу. Сотоварищи в смерти! Обуздайте вашу справедливую ненависть! Устремите взоры ваши к небу и повторите за недостойнейшим из вашей общины: Отец, прости им, ибо они не ведают, что творят!

Шепот пробежал по рядам назарян. Вслед затем раздался протяжный звук трубы.

Несколько сот рабов с красивыми ручными факелами бросились к жертвам. Через минуту пропитанные смолой и воском войлочные покрывала пылали по всему ряду шестов. Отчаянные дикие вопли пронеслись над садами, но еще громче ревела обезумевшая от восторга толпа, неистово рукоплескавшая и всевозможными возгласами выражавшая свое восхищение.

— Ave Caesar! Какой олимпийский праздник! Какая дивная иллюминация! Рукоплещите, квириты! Рукоплещите чудным факелам Нерона!

Тигеллин поднял полную чашу. Подхватив последнее восклицание народа, он с ледяной насмешкой возгласил:

— Факелы Нерона, проклятый Тигеллин пьет за вас!

— А этот кубок пьет за вас Нерон, который уничтожит галилейскую ересь так же, как огонь уничтожит ваши тела!

И цезарь, подобно сияющему юношеской красотой Дионису, поднял увитый розами кубок. Он выпил половину и передал остальное «божественно-прекрасной» Пoppее, которая до последней капли осушив драгоценный кубок, с громким криком метнула его прямо в объятую пламенем голову Никодима.

Тяжелый сосуд попал ему в лицо.

— Отлично! — заметил агригентец. — Это был подходящий ответ на его наглую болтовню.

Как бы желая сгладить впечатление от своей зверской жестокости, Пoppея с удвоенной нежностью склонилась к Нерону, очаровательно засмеявшись, и прошептала:

— Нерон, Нерон, как я люблю тебя! Право, мне кажется, что эти пылающие шесты — наши брачные факелы!

Нерон с безумным увлечением обнял ее. На него, так же, как на Тигеллина, предсмертные вопли христиан, по-видимому, действовали возбуждающим образом.

На заднем плане раздавалась громкая, веселая музыка. От горящих тел мучеников к небу поднимались сероватые облака. Тут и там вопли переходили в стоны и совсем замирали. В некоторых местах в огне звучали вдохновенные голоса тех, которые, воодушевившись верой, преодолевали все земные муки и радостно славили Спасителя и неисчерпаемое милосердие Божие.

— Бурное пламя, пожри мое брeнное тело, — восклицала пятнадцатилетняя девушка, — душа моя унесется в область света! Аллилуйя!

Никодим, полуоглушенный ударом от брошенного в него кубка, собрал последние силы:

— Слушайте, слепцы! — звучно воскликнул он. — Здесь, среди пожирающего мое тело огня, я,

недостойный свидетель бесконечной славы Господней, говорю вам: Господь Иисус Христос есть единый истинный Бог и все спасение исходит от Него! Отец Небесный, о, умиلسердись надо мной! Я раскаиваюсь от всего сердца! Аминь!

Легкий порыв ветра отнес пламя в сторону. Артемидор в последний раз взглянул на Хлорис в объятиях агригента.

— Хлорис! — крикнул он. — Хлорис!

Вопль его был так громок, что покрыв весь шум, донесся до отдаленнейших групп ликующей толпы.

— Хлорис! — снова раздалось из крутящегося пламени, теперь уже прямым столбом поднимавшегося к небу. — Горе мне, я умираю!

— Да будет благословенно имя Господне! — прошептал Никодим.

Потом и он умолк.

Шесты медленно догорали. Большие лужи крови впитывались в землю. Несколько шестов сломались и упали, увлекая с собой полуобгоревшие тела. В воздухе стоял густой, отвратительный запах гари, словно после жертвоприношения на тысячах алтарей Плутона.

Тогда, при звуках любимой гадитанской мелодии, как бы по мановению волшебного жезла, вспыхнули остальные огни иллюминации и в Нероновых садах начались сцены, не имевшие себе подобных в преступных летописях кесарского Рима.

Глава XIII

Прошел год; наступила тропическая летняя жара и годовщина ужасного пожара.

В этот промежуток времени из развалин уже возникли целые кварталы, роскошнее и красивее прежних.

Широкие, правильные улицы, с колоннадами по бокам, заменили прежние улицы и переулки в самых бедных и пользовавшихся дурной славой кварталах.

Массы пепла и потухших головней погружены были на огромные грузовые суда и отвезены в Остию, для засыпки болотистых низменностей вблизи гавани.

Благодаря наградам, назначенным цезарем за постройки, оконченные в течение известного срока, деятельность частных лиц превзошла всякие ожидания. Работа кипела днем и ночью, не прекращаясь даже во время страшного июльского зноя.

Новый, живительный дух проснулся в римлянах, и годовщина страшной катастрофы была встречена ими с серьезным, но никак не с печальным и угнетенным чувством.

Провинции, в особенности Малая Азия и Греция, должны были пополнить казну императора, щедро осыпавшего столицу добытым в них золотом.

Род частного учреждения со «свинооком» Гелием во главе был создан для изысканий новых источников доходов для цезаря, и употребленные для этой цели меры были горькой насмешкой над всякой справедливостью. Около половины сентября строительные работы закипели с удвоенной энергией, поскольку прибыли многие тысячи галльских и испанских рабочих. При таком ходе дела можно было рассчитывать на окончание последнего дома раньше истечения года; конечно, при этом не могла быть готова внутренняя отделка, в особенности живопись, так как на этот счет сенаторы и всадники предъявляли большие требования.

Лето двор провел опять в Байе, в великолепной новой вилле, стоимость которой отпущенник Фаон первоначально определил в девятьсот миллионов, но которая, считая все художественные сокровища и приспособления комфорта, поглотила еще полмиллиона. На крыше виллы была роща, кустарники, источник и красивый пруд размером около тридцати квадратных локтей, окаймленный оправой из оникса. У подножья веерной пальмы привязана была лодка из кедрового дерева, вмещавшая в себе двоих кроме гребца. Поппея называла это диво своими «висячими садами». И все-таки Нерон был не вполне удовлетворен этим неслыханно ценным произведением искусства. Он мечтал о еще необычайнейшем, и это необычайное наконец осуществилось в Риме, на Эсквилинском холме: то был восточный сказочный дворец, которому изумленный народ дал название «золотого дома».

В последних днях октября царственная чета сидела в роще «висячего сада» и смотрела на байский залив, где мимо Мизенского мыса величаво плыла из Остии императорская трирема «Ихтис». Возле императора стоял Тигеллин. Неподалеку, на мягкой круглой табуретке, сидел отпущенник Фаон, лишь четверть часа тому назад прибывший из Рима. На заднем плане расположился Кассий с несколькими служанками Поппеи.

— Видишь, повелитель, как аккуратен главный кормчий, — сказал отпущенник, указывая на трирему. — Он сказал, что бросит якорь у храма Геркулеса за два часа до заката.

— Благодарю, — отвечал император. — Мы уедем сегодня же. После всех твоих рассказов я могу предположить, что у меня наконец будет действительно приличное жилище.

— Жилище из чистого золота, украшенное драгоценными камнями, из которых многие по цене равны этой вилле.

— Слышишь, Поппея? Зеркальные золотые плиты покрывают стены. Твое цветущее изображение будет тысячекратно отражаться царственным металлом. Ты будешь ступать по аканфоподобному малахиту. Рубины, смарагды и бриллианты соперничают с дневным светом, проникающим в сверкающие залы сквозь окна из финикийского стекла. Все, что только могут доставить искусство и богатство, кипучее творчество и усердная служба рабов, все сосредоточено в том золотом доме. Теперь начнется эра наслаждений, презирающих смерть, блаженнейшего безумства, невиданного со времен Нина и Сарданапала!

— Повелитель, ты счастлив, — сказал агригентец, притворяясь глубоко тронутым. — Привет тебе, любимцу судьбы! Привет и тебе, Поппея Сабина, повелительница империи, прекраснейшая и достойнейшая среди императриц! Все победили вы: клевету, ненависть, зависть, ярость стихий. Кругом все дышит и живет только для вас: вы стоите на вершине бытия и земля — ваше подножье!

— Отвратите несчастье, о боги! — прошептал Фаон.

— Что ты говоришь? — спросил, слегка нахмурясь, император.

— Я говорю... на случай, если бы слова Тигеллина оскорбили Уранионов...

— Каким образом?

— Повелитель, ты знаешь, у всех народов есть поверье, что такое превозношение, как только что произнесенное светлейшим Софонием, не предвещает добра. Поэтому я и просил богов отвратить несчастье.

— Вздор! — торжественно сказал император. — Боги — это мы. Пока я сам низвергаю молнии, подобно Юпитеру-Зевсу, мне не страшны ни так называемые олимпийцы, ни слепой, бессмысленный Рок. Разве я не испытал сто раз свое превосходство над самыми дерзкими покушениями этого Рока? Пусть на нас вооружается яростная Судьба: она сломится и разобьется об эту грудь, подобно тому, как прибой разбивается о глыбы каменной гати. Рим превратился в пепел: я воссоздал его еще прекраснейшим и славнейшим. Народ безумствовал при этом несчастье, и ярость его поднялась до высоты престола: я смирил его. Аристократы, сначала возмущившиеся против моего счастья, делавшего их бессильными, под предводительством низких негодяев затеяли великое восстание: я простер руку — и Пизо, вместе с тысячами своих сторонников, пал во прах.

— Однако... — прошептал Фаон, но остановился и робко взглянул на цезаря.

Но Нерон был так полон сознанием неприкосновенности своего величия, что не рассердился на отпущенника.

— Выскажи, что у тебя на сердце, — смеясь, сказал он.

— Я боюсь показаться непочтительным и дерзким.

— Это невозможно. Видишь ли, Фаон, если есть человек, которому я вполне доверяю, то это ты. Я сам не знаю, почему это так. Ты оказал мне услуги, но и другие сделали то же самое. Только один мой превосходный Тигеллин предан мне не меньше тебя; но, кроме вас, у меня нет никого. Я вижу это по твоему лицу. В твоих ясных, веселых глазах сверкает тайная симпатия. Да, рискуя даже возбудить твою ревность, Софоний Тигеллин, я должен сознаться: Фаон был бы дорог моему сердцу, даже если бы я был нищим, между тем как ты предназначен только в друзья цезарю!

— Мой император! — произнес агригентец, прижимая к сердцу правую руку.

— Оставь это! — прервал его Нерон. — Это была лишь мимолетная фантазия. Итак, что хотел ты

сказать, Фаон?

— Я хотел молить цезаря не слишком полагаться на свою безопасность. Возмущение Пизо еще доселе не дает мне успокоиться, и я дивлюсь, как скоро мой господин и повелитель позабыл свое огорчение. Разве Пизо не был твоим другом?

— Он назывался так, но не был им. Под личиной притворного дружелюбия он скрывал коварство.

— Все-таки ты не подозревал ни его, ни многих из других заговорщиков, например, ни Фанния Руфа, разделявшего с Тигеллином начальство над преторианцами, ни Флавия Сцевина, некогда называвшего тебя сыном и испросившего у своих товарищей право первому обнажить меч.

— Как?

— Да, повелитель! От тебя скрыли это, но это так, и другие это подтвердили! «Прошу как особого отличия предоставить мне нанести первый удар!» — сказал он на последнем собрании.

— Он наказан за это, — возразил император.

— А поэт Лукан... — снова заговорил Фаон.

— Его мучила зависть! Его стихи были вовсе хуже моих.

— Но приветливая Эпихарис? Мог ли ты догадаться о ее намерениях? Она и Пизо были душой заговора! А Сенека, твой старый, испытанный наставник! И он также попал в сети заговорщиков! Право, они должны быть необычайно умелы в искушениях, если и он сделался жертвой их внушений!

— Он был старчески расслаблен, — сказал цезарь.

Фаон серьезно и задумчиво покачал головой.

— Смерть его доказала противное, — возразил он. — Подобно Сократу, спокойно и равнодушно выпил он яд, как будто смерть не что иное, как только конец веселого пира! Признаюсь, Сенека сильно меня встревожил.

— Я не понимаю тебя, — сказала Поппея. — Будь он жив, ты имел бы причину тревожиться. Теперь же, когда он наказан за свою измену, мы можем лишь гордиться этим воспоминанием, так же как смертью властолюбивого Тразеа и лицемерного Сорания.

— И Тразеа умер как герой. Часто я слышал, как повторяли его зловещий возглас, с которым он простер к небу свою руку с открытыми жилами: «Тебе, Зевс-освободитель, посвящаю я эту кровь!» — Печально-героические слова, клянусь богами! Я отдал бы десять лет за то, чтобы он оказался трусом. Но я уклоняюсь от главного. Я хотел указать тебе на нечто иное. Позволишь мне продолжать, повелитель?

— Продолжай, — усмехнулся Нерон.

— Заговор Пизо удачно уничтожен. На этот раз ты победил Рок. Но как это случилось? Держи себя Флавий Сцевин спокойнее, воздержись он от излишней театральности, кто знает, кто знает... Источником нашего спасения, строго говоря, был лукавый отпущенник Милих, которому он вручил кинжал для заточки с восклицанием: «Это оружие священо!» и с которым он составлял свое завещание. Не донеси Милих обо всем этом...

— Вот в том-то и дело, — прервал его император. — Мой гений, могущественнейший нежели Рок, посылает мне таких союзников. Нет, Фаон, ты пессимист. Но я благодарю тебя, ты достиг двойной цели. Я вдвойне чувствую теперь, как тебе дорого мое благо и как высоко я стою над превратностью всего земного!

С этими словами он встал и подошел к балюстраде. Поппея последовала за ним, а Тигеллин,

оставшись с Фаоном, начал тихо упрекать его за неуместно-мрачный тон его разговора.

— Господин, — сказал Фаон, с отчаянием глядя на агригента, — это давно уже тяготило меня, и я должен был высказаться. Я люблю его, ибо он всегда был добр ко мне, и, кроме того, — он сам сказал это, — меня связывают с ним как бы невидимые узы. Мне кажется, откровенное предостережение полезнее приятных мечтаний, окрашивающих все в розовый цвет.

— Ты намекаешь на меня. Но я ничего не представляю ему в обманчивом свете, а говорю правду. Империя Нерона действительно сияет небесной лазурью; он действительно стоит на пьедестале божественного величия. Я верю в несокрушимость его счастья, с которым связано и мое. Ступай! Прежде ведь ты не предавался пустому унынию! Позволь себе хоть раз упиться кипрским! Твоя кровь сгущается, тебе нужно освежиться. Впрочем, все уже готово, и мы отправляемся после солнечного заката.

Подобно тому, как Тигеллин говорил с Фаоном, Пoppея говорила с Нероном. Она также была объята манией величия и думала, что может предписывать законы судьбе. В ее обыкновенно практически умном взоре сверкало сверхъестественное возбуждение прорицательницы.

— Да, — шептала она, склонясь пылающим лицом к плечу Нерона, — мы победители предопределения. Ни один правитель в мире не преодолел таких опасностей, как ты, и ни один не встречал их с таким хладнокровием. Счастье твое беспримерно. Будущность принадлежит тебе и твоим потомкам.

С притворной скромностью она опустила взор.

— Пoppея, — нежно прошептал Нерон.

— Да, — продолжала она, — я чувствую, что ребенок, которого я ношу под сердцем, будет мальчик и портрет своего отца. И долго после того, как мы сойдем в царство теней, отрасль Нерона будет властвовать над всей землей. Парфяне и индусы преклонятся перед ее скипетром вместе с дерзкими потомками Пизо. Я вижу будущие гигантские армии,двигающиеся на север и на запад и покоряющие Германию до берегов Вислы, так же как страну сарматов, рогов и ледяную Скандию. И повсюду, где водрузится знамя Неронионов, будут красоваться украшенные лаврами изображения их предка; оно будет стоять в мраморных и золотых храмах, как единое истинное божество, к которому все народы будут обращаться с одинаковой мольбой: Нерон, всемогущий отец небесный, умилосердись над нами!

— Да будет так! — с сияющим взором воскликнул император и, обняв Пoppею, торжественно произнес: — Привет тебе, благословеннейшая из женщин, носящая во чреве спасение и будущность всего мира!..

Глава XIV

В сумерки Нерон с Пoppеей и частью свиты отплыл в море.

Плавание было благополучным. На утро третьего дня трирема бросила якорь в Остии, где длинный ряд дорожных экипажей уже ожидал прибывших и через несколько часов доставил их в Рим.

Нерон, которому ничто не казалось чересчур блестящим или великолепным, был, однако, внутренне поражен видом вновь возникшего гигантского города, но он постарался скрыть свое изумление.

Ему чудилось, будто хижины Ромула были теперь заменены дворцами: до такой степени этот новый Рим был роскошнее Рима Августа, хвалившегося, однако, тем, что, унаследовав Рим кирпичный, он оставляет после себя Рим мраморный.

Известные лучшие улицы были неузнаваемы с их великолепными новыми колоннадами. Даже квартал плебеев, в сравнении с прежним, отличался изящной правильностью, хотя многочисленные деревянные постройки ясно доказывали, что алчность хищных архитекторов-спекулянтов нашла себе здесь больше применения, нежели то было желательно в интересах народа и безопасности от нового пожара.

Наконец экипажи остановились перед прелестным подъездом нового дворца. Придворные, рабы и отряд гвардейцев со значками стояли в торжественном ожидании.

После официальных приветствий со стороны придворных и преторианцев, Нерон с Пoppеей сел в персидские носилки и заставил нести их по всем покоям, для того чтобы показать супруге все подробности, давно уже известные ему из планов и описаний Фаона. Отпущенник был их проводником.

Громадное здание простиралось широко по Эсквилинскому холму. Главный вход с высокими коринфскими колоннами находился с южной стороны. Сам дворец окружен был тройной колоннадой в полторы тысячи шагов длиной. Фаон не преувеличил, говоря, что никакой дворец в мире не превосходил роскошью этот «золотой дом». Всюду сверкала самая безумная роскошь, часто, к сожалению, в ущерб истинной художественности.

Потолки были из слоновой кости, с драгоценными карнизами и усыпаны драгоценными камнями; в некоторых потолках скрыт был механизм, посредством которого один раб мог их раздвинуть посредине для того, чтобы в хорошую погоду видно было синее небо.

Мебель, изготовленная большей частью в Александрии, а отчасти в Медиолануме, в каждой комнате носила свой, резко определенный отпечаток. Здесь вспоминались омываемые прибоем скалы Капреи, там — цветущие, залитые светом луга, или мраморное величие Пэстийского храма. Материал состоял исключительно из благородных металлов, шелка и пурпура, и только кое-где употреблено было душистое дерево из отдаленной Тапробаны или с южного берега Аравии.

Мозаичные полы, исполненные по рисункам и картинам знаменитейших художников, изображали исторические сцены, как, к примеру, битву при Арбеле и смерть трехсот Фабиев, или же мифологические идиллии. В одном месте пламенная Афродита любовно простирала белоснежные руки к прекрасному Адонису; в другом, на блестящем ложе, полузакрыв глаза, возлежала Даная. И все это сработано было такими тонкими инструментами, что произведение мусивийских мозаистов можно было счесть за тщательно написанную масляную картину.

В гигантском дворце была одна комната, остроумным механизмом поворачивавшаяся вокруг своей оси и изображавшая круговращение небесного свода таким образом, что отсюда солнце казалось двигавшимся не по своему обычному пути, а лишь поднимавшимся по отвесной линии.

— Смотри, Поппея, — сказал император, поясняя ей эти чудеса, — сюда я буду удаляться для размышлений о судьбах империи. Здесь я отрешен от всего земного. Я буду свободно носиться над простором земли, покорным моему скипетру, и смотреть на мое божественное отражение, дневное светило, неизменно сохраняющее одно направление.

К главному зданию примыкали многочисленные колоннады, сады, лужайки, рощицы, искусственные холмы с живописными видами; все это соединялось между собой переходами, аркадами и мостами, так что казалось, будто находишься внутри цельного, связанного архитектурного чуда.

Во дворце были также несколько прудов с гребными и парусными лодками.

— Клянусь Зевсом, — вскричала Поппея, — здесь, в этих блестящих мраморных берегах можно устроить настоящую увеселительную прогулку, не то что на ониксовой лужице байской виллы!

— Здесь можно сделать все, чего ты пожелаешь, — сказал цезарь. — Наконец-то мы у цели! Теперь цезарь живет в своем собственном городе, как и подобает. Город этот будет назван Римом, в честь Ромула, основателя государства. Но его четыреххолмный Рим был наполовину меньше моего дворца. Тот другой, внешний Рим, вызванный мной к жизни из пепла, отныне будет называться Неронией, ибо он создан мной, а не Ромулом. Тебя изумляет, что я хватаюсь за мысль, некогда внушенную мне моими врагами, прежде чем она пришла мне в голову? Я делаю это именно по этой причине. И этим я хочу доказать, что все зло, задуманное против меня ненавистниками, само собой превращается для меня в лавры и розы. В тот день, когда ты подаришь мне сына и он получит славное имя Клавдия Нерона Сабина, и столица будет переименована решением сената, торжественно утвержденным мной перед всеми квиритами.

— Да здравствует Клавдий Нерон Сабин! Да здравствует Нерония! — воскликнула восхищенная Поппея.

В это мгновение один из носильщиков споткнулся о малахитовый порог, упал на колени и при этом так сильно дернул поддерживавший носилки шест, что и следовавший позади него носильщик также пошатнулся.

Усилиями двух остальных рабов носилки не были допущены до падения.

Но облокачивавшуюся о самый край Поппею Сабину выбросило с такой силой, что она ударилась об одну из колонн.

С громкими криками отовсюду сбежались люди. Успевший удержаться за носилки Нерон быстро выскочил и наклонился над бледной, как смерть, закрывшей глаза Поппеей, которую Фаон осторожно приподнял. Он приказал рабыне обрызгать эссенциями, между тем как агригентец тотчас же велел увести злополучного носильщика.

— Поппея! — отчаянно вскричал Нерон.

Она подняла веки, попыталась улыбнуться, но испуганное, болезненное выражение ее лба и бровей обличало ее сильное страдание.

— Это ничего, — произнесла она, снова закрывая глаза. — Ужасный испуг... Прикажете изрубить негодяя в куски! Фаон, благодарю тебя. Не так, вы слишком высоко поднимаете меня! Оставьте меня полежать... так... так!

— Позовите врачей! — крикнул растерявшийся Нерон. — Отнесите императрицу в спальню! Проклятие роковому дню! Поистине, прекрасное приветствие по поводу прибытия! Осторожнее, если вам дорога ваша жизнь! Ободришь, возлюбленная Поппея! Вот уже идут Аристоклеме и мудрый Эврот.

Со всевозможной заботливостью Поппея была отнесена в сказочно-роскошную спальню и раздета.

Эврот и Аристокдем тщательно исследовали ее и, не найдя нигде наружного повреждения, решили, что внезапный обморок и сильные боли царственной пациентки должны быть отнесены к ее положению; следовательно, в худшем случае...

Аристокдем шепнул свое предположение на ухо цезарю.

— Это будет твоей смертью, бездельник! — вне себя вскричал Нерон. — Неужели я должен вторично обмануться в моих ожиданиях? Именно теперь, когда она наверное знала, что подарит мне сына?

— Повелитель, — пробормотал Аристокдем, — как может твоя светлейшая супруга знать наверное...

— Жалкий раб! Цезарь и его супруга уверены в исполнении того, чего они желают! И потому повелеваю тебе: предупреди несчастье своевременно, или ты умрешь!

Судороги Пoppеи окончательно уничтожили сомнение врача.

— Так умертви меня сейчас! — склоняя голову, сказал он. — Я не могу бороться против силы судьбы и природы!

— Как? Ты смеешь?

— Я смею напомнить тебе о воле богов и всемогуществе Рока, которому мы все подвластны, и ты, всесильный повелитель, наравне с осужденным на смерть рабом. Отсеки голову мне, смертному, так как ты ничего не можешь сделать богам и Року!

Нерон не отвечал. Он оцепенел от ужаса.

Наконец, схватив за руку раба, он почти с мольбой произнес:

— Так попытайся же: я вознагражу тебя! Я беру назад все мои угрозы. Подумай: вся будущность мира зависит от жизни Клавдия Нерона Сабина, повелителя земли до Вислы и острова Ругов!

— Он помешался от горя, — прошептал Аристокдем, снова подходя к ложу. — Повелительница, как чувствуешь ты себя?

— Невыносимо, — тихо простонала Пoppея. — Мое сердце готово разорваться. О, этот негодяй! Мне сдается, он сделал это с умыслом. Он один из тайных приверженцев... покойной Октавии!

— Конечно, нет, — возразил Аристокдем. — Это была просто несчастная случайность, так говорят все видевшие его падение, повелительница.

— Молчи! Я знаю лучше... Это была... была... Октавия. Прочь! Прочь! Оставьте меня одну!.. О, как больно! На мне надето войлочное покрывало назарян! Крутом... огонь! Я умираю от муки!

Нерона почти силой увели из спальни. В сопровождении Тигеллина, Фаона и нескольких рабов отправился он в чудесную вращающуюся комнату.

Хитрый механизм был приведен в действие при входе императора. Здесь, на троне, сидел повелитель вселенной, двигаясь равномерно с сияющим солнцем, между тем как за несколько сот шагов от него мечта Нероновой династии превращалась в жалкие развалины.

Кассий предложил цезарю крепкое вино и плоды.

Нерон пил с жадностью, но не мог проглотить ни кусочка сочных фиг. Он дрожал всем телом.

Два часа спустя его уведомили, что Пoppея родила мертвого ребенка и в самом деле мальчика, как она предсказывала.

Принесший эту весть раб боязливо смотрел в землю, как бы страшась быть тут же убитым. Потом его губы снова зашевелились, но он не мог произнести ни слова.

— Дальше! — закричал Нерон, подступая к нему.

— Повелитель, я не могу...

По лицу его покатались слезы.

— Говори! — приказал внезапно растроганный император. — Разве ты не видишь, как твое глупое молчание терзает меня? Говори, хотя бы это было самое худшее!

— Повелитель, твоя светлейшая супруга... внутреннее повреждение... Аристоклем ручается едва ли за один час...

— Желал бы я, чтобы вы все в безумии провалились туда, где в вечном мраке ревет Коцит! Оставь меня, Тигеллин! Прочь, Фаон, или я задушу тебя! Злоба называла меня тираном, губителем народа и поджигателем? Вы, боги, если вы не ничтожные создания фантазии, я покажу вам, как земной бог, Нерон, мстит за ваше коварство! Вы и ваше проклятое предопределение нарочно довели меня до исступления. Так вы сами ужаснетесь теперь моей бесчеловечности!

В изнеможении он упал на софу. Вдруг он вскочил.

— Я должен идти к ней! Я должен идти к ней! Я должен еще раз подержать ее дорогие, нежные руки, ласкавшие мой лоб, когда на меня обрушивались все беды земные. Фаон, иди со мной! Дай руку! Фаон, Фаон, мне кажется, и ты бездельник!

— Я тебе верен до смерти, повелитель. Смотри, я плачу, ибо клянусь богами, я не могу видеть тебя страдающим!

Нерон был не в силах выразить ему свою признательность. Одно лишь легкое пожатие руки показало Фаону, что цезарь вполне верил искренности этих слез.

При входе в спальню, где бессильно и беспомощно лежала Пoppея, Нероном овладела конвульсивная дрожь. Она не двигалась, и только по временам по телу ее пробегали судороги.

— Пoppея! — воскликнул он, ломая руки. Горькая, почти насмешливая улыбка исказила ее губы, но она не шевельнулась; казалось, сознание покидало ее.

Вдруг она поднялась и села, раздался ужасный, безумный крик.

— Октавия! Довольно ли ты напилась моей крови?

Широко раскрыв выступившие из орбит глаза, она несколько раз схватила воздух скорченными, как когти, пальцами и упала навзничь. Голова ее безжизненно повисла.

Еще раз проскрежетав зубами, как бы в мучительном гневе на разрушение всех надежд, Пoppея Сабина умерла.

Глава XV

Прошел год...

Какая толпа на улицах семихолмного города! Какое ликование и восторженные крики, перемешанные с грубыми насмешками и громкими проклятиями! Повсюду, от гробницы Сципионов до Мильвийского моста виднелись оживленные группы, шумно переговаривавшиеся и оглушительно восклицавшие: «Да здравствует освободитель!» при каждой новой вести извне.

Наконец-то восстание победило. Требующий хлеба и зрелищ народ, служивший опорой страшному деспоту, празднично и равнодушно смотрит на разрушение его господства. Тигеллин, начальник гвардейцев, трусливый и неверный, как это предвидел Фаон, перешел на сторону мятежников. Но судьба его уже решена. Гальба, будущий император, стоящий со своими солдатами в нескольких милях от Рима, немедленно пошлет его в изгнание: ибо участие ненавистного агригентца составляет единственное темное пятно в блестящей картине этого честного восстания против безумной наглости тирана.

Юлий Виндекс, геройский борец за древнеримскую свободу и достоинство человека, принял на себя продолжение дела Пизо, коварно преданного Милихом в последнюю минуту и, за свое железное самообладание, позволившее ему терпеливо переносить доселе иго деспота, теперь получил лавровый венок, прекраснее всех венков божественного Африкана. Конечно, венок этот был окутан траурным флером: самому Виндексу не суждено было дожить до радостного дня. Нерон, видевший в Виндексе лишь верного своему долгу солдата, а не пылавшего негодованием патриота, назначил его пропретором Северной Галлии, и там, на берегах Секваны созрел план, пресекший безумные деяния императора. Не для себя добивался власти Виндекс. Подобно Цинциннату, он хотел только служить родине, медленно истекавшей кровью в когтях царственного льва. Старый, достойный Гальба, со строжайшей справедливостью управлявший северной Испанией и другими провинциями и, насколько хватало его сил, стремившийся смягчить и отвлечь разрушительные набеги императорских уполномоченных, казался Виндексу подходящим человеком для поддержания расшатавшегося государства, для восстановления уважения к титулу кесаря и для обеспечения за народом внутреннего мира. И он провозгласил Гальбу императором. Мужественные галлы многочисленными толпами собрались под знамена Виндекса, и не прошло месяца, как у него была уже хорошо вооруженная, готовая к бою армия. Между тем и наместник римской Германии, Виргиний Руф, объявил себя сторонником Гальбы. Войско Виндекса должно было соединиться с полками Руфа. Тогда случилось нечто, стоившее жизни творцу великого восстания. При встрече обеих армий, произошло недоразумение. Солдаты Руфа вообразили, что Юлий Виндекс хочет напасть на них. В передних рядах началась рукопашная схватка. Лихорадочно возбужденный Виндекс счел себя преданным заговорщиками. Отчаявшись в успехе своего, устроенного с таким трудом дела, он бросился на свой меч, прежде чем Виргиний Руф мог объяснить ему ошибку. Но тысячеголовое восстание не умерло с Юлием Виндексом.

Напротив того, из геройской крови своего боготворимого вождя она извлекла непобедимые силы.

Все ближе и ближе подвигались к столице воодушевленные полки.

Гальба уже послал гонцов в сенат.

В свите нового избранника на престол находился высокий, стройный человек с бледным лицом, обрамленным темными кудрями. Его губы, в былое время знавшие одни лишь нежные улыбки, были крепко сжаты. Это был Ото, наместник Лузитании.

Цель его — жестоко покарать Нерона за несказанный позор, безмолвное унижение и грызущее горе

столь долгих лет. Вся измученная страна жаждала отомстить надменному мучителю, со смертью Поппеи сбросившего последнюю узду со своего произвола и превратившегося в то, в чем его уже раньше упрекали приверженцы Пизо: в проклятие человечества.

Участники этого мощного восстания не спрашивают, что происходит в уме и в сердце столь безмерно свирепствовавшего человека. Они считаются только с фактами, а не с унылым, мрачно-отчаянным духом, породившим эти факты.

И действительно, они имели на это право. Долой злодея, думающего только об одном себе, со своими бесконечными прихотями и капризами, и для утоления собственной муки готового истереть весь мир как утоляющую боль целебную траву!

Долой богопротивного демона, затоптавшего человечество!

Страшное возбуждение господствует в Риме. Преторианцы давно покинули Золотой дом. Многочисленными отрядами бродят они по городу, где статуи императора с громким, насмешливым хохотом и проклятиями сбрасываются с пьедесталов, закидываются грязью и предаются поруганию. Даже всегда верные германцы безмолвно удалились оттуда. Никто не хочет погибнуть вместе с погибающим императором. Огромный дворец опустел. Бледный, как смерть, Нерон сидит во вращающейся комнате, механизм которой не действует сегодня. Он держит в руке меч, не зная, на что решиться: вонзить ли клинок в собственную грудь или броситься вниз и умертвить последнюю жертву своего яростного гнева.

Все покинули его. Только главный раб Кассий да отпущенник Фаон остаются в этом ужасающем уединении. Громадное здание, еще недавно бывшее ареной кровавых гладиаторских боев, шумных попок и бесстыдных, диких оргий, подобен усыпальнице. Ворота, ведущие наружу, заперты.

Фаон усиленно размышляет. Он хочет спасти императора. Он составляет план за планом и бежит из колоннады в колоннаду.

Все напрасно. Может ли осмелиться всем знакомый Фаон пробраться с Клавдием Нероном сквозь несметные массы народа?

Как подкошенный, опускается он на мраморную скамью и складывает на коленях руки.

Главный вход с южной стороны открыт. Здесь стоит честный Кассий с копьем, готовый пронзить первого входящего.

Странно: ни один из заговорщиков не решается войти сюда. В смятении Кассий даже не позаботился задвинуть железные засовы. Он не знает, что убегающие преторианцы, стыдясь своего тайного бегства, сломали дверь. Но все-таки никто не является. Имя Нерона все еще магически действует на два миллиона возбужденных людей. Глубоко укоренившийся страх перед цезарем, по-видимому, не уничтожен даже известием об отпадении от него всей армии.

Вдруг Кассий вздрагивает. Один человек из толпы негодующих, составляя исключение, с шумом входит в остиум.

— Кого тебе нужно? — спрашивает Кассий, выставляя копье.

— Императора, — слышится в ответ.

Кассий узнает его. Это Паллас, бывший поверенный Агриппины. Он втайне помогал заговору против императора. Живя в неизвестности, в далекой Лузитании, он постепенно вливал яд в рану отчаявшегося Ото. Он рассказал честному Гальбе о смерти императрицы-матери и указал на Нерона, как на ее убийцу. Потом он переселился в Галлию, где также раздувал ненависть к человеку, ненавидимому им больше всего в мире, не ради умерщвленной Агриппины, но ради пылкого воспоминания о цветущей девушке, любимой

им, Палласом, с несказанной страстью и потерянной им из-за каприза императора. Так он думал, ибо Агриппина выставила ему в этом свете отношения Нерона к Актэ.

— Пропусти меня, Кассий! Я не желаю зла лишенному престола цезарю. Я хочу спасти его.

— Ты? — с сомнением спросил раб, опуская копье.

— Да, я, — повторил Паллас. — Сенаторы уже собираются в Капитолий для осуждения государственного преступника. Время не терпит.

И он направился ко входу во второй двор.

— Но как же ты спасешь его, скажи? — продолжал Кассий, следуя за ним.

— Увидишь. Скажи мне только, где цезарь. Ты же можешь остаться здесь.

В это мгновение Кассий увидел сверкнувший у него между складками плаща меч.

— Стой! — крикнул он, выхватывая из-за пояса кинжал. — Зачем у тебя меч?

Он схватил Палласа за плечо. Паллас тщетно пытался было освободиться от него, но вдруг сбросив маску притворства, в свою очередь, обнаружил скрытое оружие. Меч пронзил грудь раба, между тем как его кинжал вошел в плечо Палласа по самую рукоять.

С глухим стоном повалились они оба на землю.

— Трусливый пес! — прохрипел Кассий. — Ты решаешься приблизиться ко льву, лишь когда он уже смертельно ранен. Вот тебе в придачу, пока ты еще не сошел в подземный мрак!

Падая, он вырвал из раны кинжал и воткнул окровавленный клинок в бок врагу своего повелителя. С последним отчаянным усилием Паллас схватил Кассия за горло, но раб уже успел до рукоятки погрузить оружие в его тело.

Через минуту руки умирающих разжались: Паллас покатился в страшных конвульсиях и замер, подобно упавшей чугунной статуе. Кассий еще раз открыл глаза, прислонился головой к цоколю коринфской колонны и теперь лежал в спокойной, гордой позе воина, умершего славной смертью в жестокой битве.

В это время цезарь прислушивался к уличному шуму, зловеще долетавшему до него через отверстие в потолке.

Неужели там происходит борьба?

Наверное, Тигеллин сумеет набрать хоть одну когарту для его защиты, Тигеллин, этот испытанный, верный друг?

Нерон не подозревал, что Тигеллин одним из первых покинул гибнущий корабль цезарского величия.

Но если у цезаря были еще друзья, если кто-нибудь хотел обнажить за него меч, то почему же во дворце царствовала такая мертвая тишина?

Неужели убежавшие рабы забыли свой страх перед гневом повелителя, способного раздавить их за непокорность?

Многочисленные придворные служители, привратники в расшитых золотом одеждах, глашатаи часов, его комнатные рабы, управляющие, врачи — где все эти презренные, до этой минуты разделявшие его блеск и величие?

А сигамбрские телохранители, которых он осыпал тысячами и которые клялись ему в верности богами своей родины? Подняв меч, он подошел к двери.

Длинная, пустынная анфилада комнат представилась его боязливо-пытливому взору.

— Кассий! — крикнул он.

«Кассий!» — насмешливо отозвалось эхо золотых стен.

Все пусто, как на кладбище. Он пошел вперед. Колени его подгибались. Справа и слева в зеркальных стенах он видел тысячу раз повторенное отражение своего бледного лица. Подойдя к ближайшей стене, он, как помешанный, уставился в свои глаза, казавшиеся ему такими большими, испуганными и бессмысленными. Охваченный внезапным ужасом, бросился он дальше. Отголосок его собственных шагов страшил его.

— Кассий! — снова позвал он и прислушался.

Все тихо.

Им овладело отчаяние, еще не изведенное никогда в жизни.

Снова увидав в зеркальной золотой панели свое искаженное лицо, он бросился на него с мечом и, как безумный, начал рубить блестящий металл, пока сломался клинок и рукоятка выпала из его обессиленных пальцев.

Но что это?

Он ясно услышал громкий возглас, отнявший у него последний луч надежды.

— Тащите его сюда! — раздавался голос.

— Тащите злодея в сенат! Или вы хотите дать ему время выпить яд?

Ледяная дрожь пробежала по телу Нерона. Он узнал голос Тигеллина. Одно мгновение императору показалось, что голова его окутана черным флером. Он зашатался и со стоном опустился на ближайшее ложе.

Шаги приближались. Он поспешно вскочил. Трепещущие пальцы искали оружия. За поясом его туники был заткнут сирийский кинжал. С быстротой молнии он схватился за рукоятку — и в то же мгновение рука его бессильно опустилась.

В занавешенном коврами входе стояла девушка, очаровательная, как сновидение.

Клавдий Нерон упал на колени.

— Актэ! — воскликнул он, закрывая свое бескровное лицо. — Мертвые встают из гробов! Пришел конец всему и вместе с цезарем погибнет мир!

— Нерон, — отвечала девушка, — это я во плоти, блаженно-несчастливая Актэ, некогда покоившаяся на твоей груди. Я была мертва для тебя. Но в никому не ведомом уединении я следила за твоей жизнью и проливали за тебя слезы...

Нерон медленно поднялся. Робким взором смотрел он на чудное лицо, на котором долгие годы одиночества, самоотречения и печали об ужасном падении ее кумира не оставили никакого следа. Она только была бледнее и ее нежные, темно-голубые глаза казались больше. Да, она плакала и молилась, как мать молится о потерянном ребенке. Каждая весть о преступлениях цезаря разрывала ее сердце, и она чувствовала, что должна бы возненавидеть того, кто мог пасть в такую пучину разврата. Но, несмотря ни на что, она сияла полным очарованием юности. Она была прежняя обольстительная, белокурая Актэ, при первой встрече с юношей влившая свет и счастье в его непорочную душу.

— Актэ! — воскликнул Клавдий Нерон, с ужасом отвращаясь от живого воспоминания своего блаженного юношеского сна. — Зачем ты пришла? Увы, ты опоздала! Или я брежу? Итак, море не

поглотило тебя? Все это была выдумка, отвратительная ложь? И ты могла целые годы прожить в одиночестве и предоставить меня моему отчаянию?

— Я должна была поступить так. Такова заповедь Господня. А после, Нерон, я ужасалась, когда слышала твое имя!

— Ты хочешь порицать меня? Теперь, в эту страшную минуту? О, если бы ты явилась вовремя, Актэ, истинно, все сложилось бы иначе! Я сделался преступником, врагом человечества потому, что в груди моей зияла пропасть, которую не могло пополнить ничто, ничто на этой земле!

— Вера в Бога могла бы пополнить ее. Не смотри на меня с таким отчаянием! Я пришла спасти тебя.

— Ты? Святая, божественная? Ты хочешь спасти тирана, поправшего все, высосавшего все силы страны, кроважадного пса, обремененного общим проклятием?

— Да! — отвечала она, беря его за руку. — Когда ты еще был счастлив, ты называл меня твоим все; теперь, когда весь мир отвернулся от тебя, я хочу оправдать это название. Нет, нет, не говори больше! Я не спрашиваю о твоих деяниях и о том, может ли Господь, в Своем бесконечном милосердии, простить тебя! Я знаю лишь одно: что я люблю тебя!

— Воистину, душа твоя закалена божественной силой! — вскричал потрясенный цезарь. — Актэ, Актэ, мое вечно оплакиваемое счастье!

— Идем! — рыдая, сказала она. — Под кожаной пенулой простого рабочего ты будешь неузнаваем. Меня же Рим позабыл уже давно. Иди согнувшись и опирайся на палку! Положи твою руку на мою! Так! Я выбрала благоприятную минуту. Где Фаон? Или он также изменнически покинул тебя?

— Я здесь! — остолбенев от изумления, отозвался только что вбежавший Фаон. — Что ты придумала? Говори, Актэ! Я буду слепо повиноваться тебе!

— Слышишь шум в вестибүлуме? — возразила девушка. — Остатки страха перед неприкосновенностью дворца уже исчезли. Народ стремится сюда из Кипрской улицы. Но с той стороны, где миртовая роща примыкает к пруду, все безлюдно. Двое из моих друзей, назаряне — слышишь, цезарь? — ждут там с необходимым платьем и веревочной лестницей. Мы перелезем через стену. Мои товарищи сильны. Если бы случай привел туда кого-нибудь, они зададут ему работу, а мы пока успеем скрыться. Ты, Фаон, спеши вперед. Я полагаю, нашим первым убежищем послужит твоя вилла. Когда Рим успокоится, не трудно будет добраться до моря, где корабль отвезет нас в Испанию, а оттуда на отдаленные германские берега.

Говоря это, она быстро проходила по комнатам, сопровождаемая цезарем и Фаоном.

— А потом? — спросил Нерон.

— Потом я помогу тебе молиться, чтобы Господь простил тебе так же, как Он некогда простил мне!

Глава XVI

Сверкающая лунная ночь окутывает римскую равнину своей серебристо-матовой дымкой. Сабинские горы темно-синей громадой выделяются на горизонте. Наверху длинной, призрачной линией желтеют гигантские водопроводы.

Дорога пустынна.

Все живущее и движущееся устремилось в Рим, где на завтрашнее утро назначен въезд Гальбы. Только две фигуры, крепко прижавшись друг к другу, спешат по плитам большой дороги: это Нерон и его трепещущая спасительница. Фаон с императорским секретарем Эпафродитом, единственным из многочисленных придворных, подумавшем о спасении цезаря, умчались на конях делать нужные приготовления. Для Нерона же Актэ сочла безопаснейшим идти пешком под видом странствующего ремесленника. Если бы кто и встретил его, то не поверил бы, что это император, спасающийся от ярости ищущего его народа. Так он не мог возбудить ничьего подозрения.

Что происходило в душе беглого цезаря?

В левой руке у него платок, которым он закрывал себе лицо, проходя город; правой он судорожно сжимает тонкие пальцы своей спутницы.

На повороте, когда луна ярко осветила лицо молодой девушки, Нерон в первый раз смотрит ей прямо в глаза. Это все те же искренние, любящие глаза, озарившие его в палатке египтянина таким нежным, очаровательным взором.

Какая зияющая пропасть между тем днем и настоящим! В этой пропасти журчит кровавая река, из дымящейся стремнины ее звучит насмешливый хохот тысячекратного эхо.

И все-таки глаза эти улыбаются так же, как в былое время, еще кротче и божественнее, ибо это улыбка сквозь слезы.

Или еще есть утешение для безутешного, милосердие для не знавшего милосердия ни к себе, ни к людям? Измученный волнениями дня, полный ненависти, гнева, раскаяния, отчаяния, он останавливается, опирается на руку возлюбленной — бывший Зевс на руку бывшей рабыни, и потом опускается на развалины позабытого надгробного памятника.

— «Привет тебе, чистая душа!» — читает он на темном обломке базальтовой ограды.

Он вскакивает. Здесь он не дерзает отдыхать! Это место священо, а он — стоящий вне закона, злодей, от которого отворачиваются величайшие преступники Оркуса для того, чтобы не окаменеть при виде его. окруженной змеями медузьеи головы.

Актэ нежно усаживает его.

— Отдохни! — шепчет она и успокоительно прикладывает к его лбу ласковую руку. — Сердце говорит мне, что нам не грозит никакая опасность. Склони твою голову ко мне на колени! Засни! Я бодрствую за тебя!

Звук этого голоса пробуждает в несчастном невыразимую горесть. Спрятав лицо на ее груди, он обнимает ее обеими руками и заливается потоком горячих слез.

— Актэ, Актэ! — восклицает он голосом, разрывающим ей сердце. Он продолжает рыдать, и голова его склоняется к ней на колени. Она ласково гладит его волнистые волосы. Он засыпает, — засыпает во время бегства перед новым пробуждением, сулящим ему гибель и смерть. Она смотрит на его,

освещенное луной, бледное, призрачное, мертвое лицо. На ресницах еще блестит последняя слеза. Его прекрасный, некогда столь сладкоречивый, дышавший любовью рот, слегка открыт. На нем мелькает едва заметная, но очаровательная улыбка.

— Я знаю лишь одно: что я люблю тебя! — шепчет она, повторяя сказанное ею в Золотом доме. — Теперь, когда ты несчастен и одинок, я смею тебя любить! Никто, даже Сам Всемогущий Бог, не может осудить меня за это. Да, я люблю тебя, несмотря на все твои преступные деяния. «Любовь сильнее смерти!» — говорит апостол. Но еще больше: она сильнее позора и преступления!

Склонившись, она слегка целует его в лоб. И снова на его устах мелькает улыбка, кроткая и мирная, словно все кровавое прошлое его разом стерто и в нем осталось одно лишь жаждущее любви юношеское сердце, с его былыми мечтами.

Объятая странным чувством, она подпирает голову рукой.

Внезапно ей вспоминаются слова, сказанные ею гневному Палласу в ужасную ночь ее похищения поверенным Агриппины. «Кара Всемогущего Бога очистит меня, — сказала она ему и прибавила: — Мои губы снова нежно коснутся его лба, когда бедной Октавии давно уже не будет на свете, так же как Агриппины и тебя, ее низкого, жалкого орудия! Так говорит мне предчувствие!» Не исполнилось ли теперь это предчувствие? Не исполнилось ли оно вполне и совершенно, и теперь всему конец? Или еще есть будущее?..

— Иисус, Спаситель мира! — шептала она, подняв глаза к небу. — Дай ему святую силу раскаяния! Он не был дурной сначала; и судьба также испортила его; а Твоя любовь ведь неисчерпаема! Помогите мне спасти его! И он уверует, что Ты умер на кресте и ради его искупления!

Со стороны Албанских гор раздались шаги.

Нерон проснулся.

— Не двигайся, возлюбленный! — шепнула она. Но он уже вскочил и под плащом схватился за кинжал.

— Нет, — произнес он, — пойдем навстречу этим людям!

То были два поселянина, спешившие в столицу.

— Вы из Рима? — спросил один из них. — Что там делается? Схватили ли уже императора?

— Так говорят, — отвечала Актэ, — но мы не знаем ничего наверное.

Сердце ее неистово билось. Поселяне прошли.

— Да здравствует Гальба! — воскликнул спрашивавший. — На крест злодея Нерона! Я подарю тебе две меры лучшего кипрского, если увижу, как негодяя тащат к гемонским ступеням!

— Его засекут до смерти! — сказал другой. — Таково обычное наказание за государственную измену.

Нерон вздрогнул и, крепче стиснув рукоять кинжала, поспешил вперед.

Актэ молча следовала за ним. Душа ее была полна сомнений. Ей хотелось расспросить его, допытаться... она едва могла сдержать себя. Потом ею вдруг овладело горячее желание растолковать ему то или другое, словом, разъяснить многое ему и себе. Но и этого она не позволила себе. Все это было пока невозможно. Его следовало щадить и утешать.

Снова послышались шаги. Шел солдат, вероятно, возвращавшийся из отпуска.

Нерон смело взглянул ему в лицо. Солдат узнал его.

— Ave Caesar! — воскликнул он.

— Благодарю тебя! — отвечал император. Горькое презрение сверкнуло в его глазах. Но он почувствовал нежное прикосновение руки Актэ и ожесточение его исчезло.

Через час беглецы благополучно достигли места, где приходилось свернуть влево от большой дороги и пробираться сквозь кустарники и терния для того, чтобы попасть в виллу Фаона не с главного подъезда, а с бокового входа. С величайшим трудом прокладывали они себе путь среди густых зарослей. Наконец достигли цели. Фаон и секретарь Эпафродит ожидали их. Они с большим усилием проломили в стене отверстие, сквозь которое цезарь мог проникнуть в дом, не замеченный рабами.

У подножия высокой пинии при свете луны блестела лужа, так как незадолго до этого шел дождь.

Нерон, весь исцарапанный колючками, усталый и изнемогавший от жажды, наклонился, зачерпнул полную пригоршню воды и жадно напился.

— Вот теперь мое прохладительное питье! — грустно вздохнул он. Потом он вдруг обернулся к Фаону:

— Слышишь? Что это? Конский топот!

Эпафродит поспешил в вестибулум и тотчас же вернулся.

— Повелитель! — задыхаясь, произнес он. — Ты предан. Это всадники Тигеллина, которые должны схватить тебя. Сенат, по доносу отпущенника Ицелия, объявил тебя врагом отечества и осудил на обычное в этом случае наказание.

— Что значит: обычное наказание?

— Оно ужасно, — отвечал Эпафродит. — Осужденного раздевают, ставят к позорному столбу и бичуют до смерти.

— Так передай Ицелию, которого я не знаю, что я прощаю ему его злобу. Отпущенник этот в тысячу крат отмстил за всех, оскорбленных мной. Но сенату скажи, что я презираю его. Негодяев, раболепно лизавших мои сандалии, когда я был цезарем, я не считаю достойными моего гнева в последние минуты моей жизни. Фаон, благодарю тебя! И тебя также, Эпафродит! Охраняйте мой труп! Попросите нового цезаря, чтобы он не забывал о превратности земных вещей, и о том, что властителю Рима не прилично поругание над побежденным мертвым врагом!

Он занес над собой кинжал.

— Актэ, мое первое и последнее счастье, мое все, прости!

С отчаянным воплем любви, страсти и смертельного ужаса она кинулась к нему, чтобы помешать удару, и с легким стоном склонилась к ногам возлюбленного. Острый клинок глубоко вонзился в ее сердце.

С невыразимой мукой взглянул на нее Нерон.

— Актэ! Актэ! Что я сделал! — прошептал он, опускаясь на колени возле умирающей. — Неужели Рок осудил меня до последнего издыхания сеять несчастье и смерть?

— Мне не больно, — с блаженной улыбкой сказала она. — Что значил бы мир без тебя? Слишком долго уже... я жила в одиночестве... в безутешном одиночестве. Теперь же я буду с тобой... вечно...

Он еще раз притянул к дорогим устам.

Левой рукой взял он ее дрожащую руку, а правой незаметно вонзил себе кинжал в сердце.

За пиниевой изгородью уже бряцали мечи преторианцев. Наклонившийся над цезарем и тронувший его за плечо центурион увидел, что он еще дышит.

— Скорее перевязку сюда! — крикнул он солдатам.

Умиравший император приподнял голову.

— Поздно! — произнес он и упал на преданное ему существо, до последней минуты оставшееся с ним. Он ощутил последнее пожатие нежной руки. Еще раз прозвучали в его ушах давно знакомые, полные бесконечной любви, едва слышимые слова: «Да помилует нас Господь!»

И все было кончено.

Фаон взял свой плащ и благоговейно покрыл им умерших.